

Franz Sapp

**GEFANGEN IN
STALINGRAD**

1943 bis 1946

W. ENNSTHALER VERLAG, A-4402 STEYR

Франц Запп

СТАЛИНГРАДСКИЙ ПЛЕННИК

1943—1946

Санкт-Петербург
«Петербург — XXI век»
1998

Перевод с немецкого
Людмилы Шварц

Под редакцией
Владимира Фадеева

Запп Ф.

3 30 СТАЛИНГРАДСКИЙ ПЛЕННИК. - СПб., издательство
«Петербург - XXI век». 1998. - 288 стр., илл.

ISBN 5-88485-057-3

В дни Сталинградской битвы австрийский солдат Франц Запп попал в советский плен. О том, как это случилось, о годах, проведенных в лагерях для военнопленных, и о том, как он вновь попал на берега Волги через 50 лет, Ф. Запп рассказывает в этой книге.

63.3(0)62

ISBN 5-88485-057-3

© 1992 by Wilhelm Enns*haler, Steyr.

© Издательство «Петербург -
XXI век», 1998.

© Л. Шварц, перевод, 1998.

*Для Виктора Франкля
существует два сорта людей:
порядочные и непорядочные.
В ста, тжкои Росши нам
встреча.гись и те, и другие.*

Предисловие

В этой книге я рассказываю о жизни и смерти моих товарищей, об их участии, когда страшная бессмысленная война для нас уже отгремела и смерть наступала людей беззвучно. Телесных сил, подорванных невероятными тяготами и утратой всякой надежды, уже не хватало ни на какое сопротивление. Многие, очень многие угасали, подобно тлеющему фитильку догоревшей свечи. Сколько раз при пробуждении ото сна приходилось мне убеждаться в том, что справа и слева лежат мертвые тела. Чаще всего они умирали тихо и незаметно, потому что, изнуренные голодом, не способны были протестовать. Как мы потом узнали, русские в ту пору тоже терпели нужду и голод, а поле Сталинградской битвы превратилось в сплошные руины: Ни железных дорог, ни мостов, ни речного сообщения. Только метровый слой льда на Дону и Волге, по которому на санных повозках передвигались русские, пытаясь хоть как-то наладить снабжение для своих. Свалившиеся как снег на голову 90 000 немцев — остатки 9-й армии — были для них тяжелой обузой, лишними едоками, которых к тому же приходилось обеспечивать каким-никаким кровом, да еще и охранять. Лишь несколько тысяч из этих пленных сумели выжить и вернуться на родину. Разумеется, это была уже не та родина, по которой они тосковали.

Мне хотелось бы поведать не только о собственных переживаниях, но и о том, что испытали два моих австрийских товарища, в отличие от меня, попавшие в плен не при массовой сдаче. Один из них тяжелораненый был взят в ближнем бою, другой — целым и невредимым в составе разведгруппы под Сталинградом, оба - вне котла. Со стороны простых русских людей они тоже встретили больше челове-

ческого понимания, чем вражды и ненависти, которые проявлялись разве что, когда людей соответствующим образом настраивали перед каким-нибудь праздником и когда они становились агрессивными под влиянием алкоголя. В таких случаях лучше было не попадаться им на глаза. Война, начатая стараниями одного идиота и его слепыми и алчными прихвостнями, война, погубившая столько людей под Сталинградом, для многих с обеих воюющих сторон оказалась страшным испытанием, которое было под силу далеко не всем, так как губило самую душу, разрушало человека физически и морально. Только те, кто не падал духом ни при каких обстоятельствах, в самой безнадежной ситуации, кто здоровым рассудком и не угасшим инстинктом пытался найти опору, только они при некоторой доле удачи имели шанс выжить. Лишь нескольким тысячам удалось уцелеть и вернуться домой.

Предыстория сталинградской катастрофы

В гитлеровской армии господствовали старые прусские принципы: приказы не обсуждаются, но требуют слепого повиновения; младший по чину не думает, а лишь выражает мнение старшего. Потому и сам Гитлер, и в этом его сходство со Сталиным, объявив себя верховным главнокомандующим, жестоко третировал тех высших офицеров, которые осмеливались иметь собственную точку зрения.

Гитлеровские солдаты знали одну задачу: наступать, побеждать и сражаться до последнего патрона, чтобы затем под градом вражеских пуль пасть за отечество, обрекая себя на участь самоубийц. Вот почему в газетных сводках о поражении под Сталинградом ни словом не упоминались немецкие военнопленные, ведь их считали предателями. Родственников в тылу местное партийное руководство утешало тем, что пропавший без вести скорее покончит с собой, нежели погибнет от руки «недочеловеков».

С помощью оголтелой нацистской пропаганды Гитлер стал идиолом для многих немцев, особенно для армейской молодежи. Они были преданы и безоговорочно верили ему, когда под Сталинградом их вынуждали вести непостижимое для них наступление без флангового прикрытия и мириться с частыми перебоями в снабжении продовольствием и боеприпасами. Даже нехватка зимнего обмундирования не очень-то беспокоила их (подвезут, когда надо!), гораздо больше тревожила вялая реакция «фюрера» на их донесения о нарастании танковой мощи русских между Доном и Волгой при слабых позициях итальянцев и румын слева от нас, на плоском левобережье Дона (мы стояли на крутом правом берегу), так как Гитлер не выделил им тяжелой броневой артиллерии, считая их ненадежными союзниками.

Когда русские танки прорвались как раз на этом участке, мы получили непонятный приказ Гитлера: пробиваться не

на запад, где могли бы иметь некоторое преимущество, а отступать на восток и «окопаться» в Сталинграде. Кроме того, мы должны были взорвать наши тяжелые орудия, потому что у нас не было больше для них боеприпасов, а также — наши продовольственные склады, хотя каждый понимал, что в ближайшее время никакого продовольствия мы не получим. Для автотранспорта не хватало горюче-смазочных материалов, а лошадей еще раньше отправили на зимовку на Украину. Нас обещали вывести из окружения, уверяли, что до этого будут снабжать по воздуху. Но ничего не вышло. Вскоре начался настоящий голод. Русские очень быстро смогли переместить всю свою артиллерию на восток и разгромить пытавшиеся вызволить нас войска, так как русские точно знали, что мы беззащитны.

22 ноября 1942 года Верховный главнокомандующий Гитлер дал своим «непобедимым» остаткам 6-й армии «почетный» шанс умереть героической смертью за великую Германию. Это означало, что мы, плоховооруженные солдаты, должны были подставить себя под шквал огня, чтобы не попасть в плен под власть «нелюдей». Это был безумный приказ Гитлера, обрекающий на самоубийство более сотни тысяч психически надломленных и физически истощенных людей. Сколько было отчаявшихся и действительно покончивших жизнь самоубийством солдат и офицеров, трудно установить. Ну а те, что остались в живых, были ли они действительно предателями, которым грозил трибунал по возвращении на родину?

Постоянный голод и болезни все больше и больше ослабляли солдат сначала в котле, потом в плену, а голодная смерть избавляла их от мук. Только немногие остались в живых.

№3 гол

Испытание для выживших

Темной ночью 20 января 1943 года остатки роты связи 44-й пехотной дивизии укрылись в центре Сталинграда в подвале огромного здания НКВД. Мы слышали только отдельные выстрелы пушек и видели сквозь дым неясные вспышки огня. До этого мы взорвали нашу радиоаппаратуру вместе с автобусом связи «мерседес». Все понимали, что для нас скоро наступит конец битвы, речь шла только о том, переживем ли мы его, а если да, то как. Давно были поделены последние консервы из запасов нашей кухни. Каждый получил по 2 кг консервов, но было непонятно, что в какой банке находится. Я получил банку с жиром и банку со шпинатом. Хлеба давно уже не было, как впрочем и регулярного снабжения вообще. Я растянул свой запас на несколько дней и ел его, конечно, холодным, так как теплый жир я не смог бы перенести в таком количестве. Наш санитар раздал остатки медицинских материалов. Я наполнил свой пустой мешочек для хлеба различными перевязочными пакетами, повязками, салфетками, бинтами. Он дал мне довольно большой прозрачный пластиковый тюбик со светло-желтым содержимым, с надписью порусски, которую мы не смогли прочитать. Я открыл его и попробовал содержимое, выдавив каплю на ладонь. Это был какой-то крем, пахнувший лимоном и ланолином. Я нашел ему хорошее применение, так как пальцы ног у меня были сильно обморожены. Санитар сумел лишь вскрыть маленькими ножницами волдыри вокруг каждого пальца и удалить кожу вместе с ногтями. Естественно, мне хотелось получить как можно больше перевязочного материала, для перевязки оголенных до мяса, мокнувших пальцев. Тюбик со странным жирным содержимым пришелся очень кстати. У него была завинчивающаяся пробка, и я выдавливал содержимое на чистую повязку, чтобы она не слишком присыхала. Надеть сапоги было невозможно. Я набрал побольше тряпок, которыми для тепла обворачивал ноги. Сверху накладывал на каждую ногу немецкий, а затем английский упаковочные пакеты и все это свя-

звал шнурами. Стоял мороз, под ногами сухо скрипел снег, температура доходила до 30° ниже нуля. Но мои ноги были тепло упакованы, и через 6 недель пальцы излечились. Только по медленно отрастающим ногтям можно было определить, что они раньше сильно пострадали. Позднее один товарищ, который мог читать по-русски, сказал, что в тюбике, согласно надписи, была русская помада для волос. Не знаю, так это или нет, но ногам крем очень хорошо помог.

И так мы, человек двадцать выживших связистов, расположились в казавшемся нам теплым подвале здания, от которого остались лишь руины высотой в два-три метра. Вниз мы спустились по уцелевшей широкой лестнице; щели в кирпичной кладке свода, откуда высыпался цемент, позволяли видеть, что делается снаружи. В подвале было много помещений, но без электрического света. Когда рассвело и через подвальные окна без стекол пробился дневной свет, мы смогли понять, что находимся в подземных помещениях очень большого здания. Вокруг громоздились груды обломков, было холодно, как и во всяком подвале, но не так, как снаружи. С наступлением дня усилился грохот орудий, рокот пулеметов и резкие щелчки винтовочных выстрелов. Мы, остатки роты, примерно два десятка сильно истощенных, совершенно апатичных, в большинстве своем раненых и тяжело обмороженных, изголодавшихся людей сидели и лежали среди развалин в ожидании своего конца.

Но мне это казалось и концом ненавистного с самого начала войны и резко отвергаемого мной государственного режима. Для меня это была возможность отсчитывать жизнь заново, пусть сначала и в качестве военнопленного. Я знал предписание Женевской конвенции относительно военнопленных, раненых и больных. Я знал, что русские придерживались этой конвенции из соображений престижа. Мы не были бесправны. Но при немецких военных порядках во мне всегда жило невыносимое чувство бесправия. «Верность знамени» я, как коренной и убежденный австриец, не собирался хранить, тем более, что эта «верность» была жестоким принуждением со стороны государственной власти.

Мне было ясно, что сейчас главное — выжить, и выжить с наименьшими потерями. Я верил, что вернусь домой и буду жить на свободе. Я готовился встретить нелегкое будущее, зная, что жизнь — это не только взлеты, но и падения.

Офицеры и унтер-офицеры лежали не в нашем подвальном отсеке, а в другом, неподалеку. Но вот пришел иаш ротный командир и сказал, что он вступил в контакт с русскими по поводу нашей сдачи в плен. Все, кто на ногах, пойдут сейчас. Больные, раненые и не способные идти из-за

тяжелых обморожений должны оставаться здесь. За ними придут на следующий день и отведут в лазарет. Мне он дал совет оставаться из-за обмороженных ног. Затем пришли русские, мы их толком и не видели, и все, кто мог, пошли с офицерами наверх. Это произошло совершенно мирно. Почти целый день не было слышно ни единого выстрела. Мы с надеждой ждали следующего дня.

Но вечером снова началась сильная стрельба, и крики на улице все усиливались. Мы не знали, что это могло означать. Внезапно с десятков немецких солдат ворвалась к нам вниз по лестнице с еще дымящимися противотанковыми ружьями. Мы поняли, что это бронебойщики из противотанкового подразделения. Они кричали на нас и допытывались, что мы здесь делаем. Мы ответили, что здесь все, кто уцелел из роты связи, больные и раненые, остальные уже сдались, а нас завтра русские заберут в лазарет. Они снова закричали, обзывая нас предателями, которых надо расстреливать и вешать. Потом сели в лестничном пролете на широкие бетонные ступени и развели огонь. Мы увидели, что у каждого из них было по нескольку пакетов с хлебом и другим продовольствием, судя по надписи, это были русские пакеты. Солдаты достали еду. Теперь нам стало понятно, почему наверху была такая стрельба. Эти оголодавшие немцы напали на русских, чтобы захватить их продовольственные мешки. Наконец, они наелись и немного подобрали. Они сказали, что им тоже надоела война и что они тоже хотят капитулировать. Затем бронебойщики исчезли в ночной темноте. Наступила гробовая тишина, никто из нас не смел шевельнуться. Однако разведенный огонь продолжал гореть, время от времени ярко вспыхивая. Он не давал мне покоя, я встал и пошел посмотреть, не осталось ли чего-нибудь съестного. Согревшись у мерцающего огня, я начал поиски. Мы все были голодны, уже несколько дней ничего не ели. Наконец я нашел мешочки с каким-то дробленным зерном, из которого русские, как мы знали, варят кашу. Всего было примерно около 1 кг. Затем я нашел брикетик немецкого искусственного меда, которому особенно обрадовался, потому что он быстро восстанавливает силы. Искусственный мед я приберегу для питания на марше. Крупу отдал своим товарищам. Они тотчас же сварили из нее на огне теплый суп — когда еще представится случай отведать горячей пищи?

Сверху вдруг снова донесся шум: топот сапог, взволнованная немецкая речь, какой-то глухой удар, а затем чер^з щели в потолке закапала кровь, казалось, ей не будет конца. Один из нас пошел посмотреть, что случилось, и принес новость: там, наверху при свете факелов немецкие солдаты забили

верблюда. Они как раз начали разделять тушу, собираясь отнести мясо в свою часть. Но нам они ничего не дали. Через некоторое время наверху опять наступила тишина, огонь погас, оставив легкий запах костра. Мы спали беспокойно, в ожидании рассвета. Напрашивалась мысль, что из-за той вечерней стрельбы, связанной с нападением на русских, они поступят с нами, как с не сложившим оружия врагом. Не могли же они знать, да и не знали, что здесь произошло на самом деле, и что мы не нарушили перемирие.

31 января 1943 года: мы — в русском плену

Забрезжило бледное зимнее утро. Снова послышалась стрельба. Я проснулся одним из первых. И тут же понял, что, учитывая вчерашние события, надо сделать так, чтобы боевые действия русских причинили нам наименьший вред. Опасными для нас будут первые атаки русских, до того, как мы войдем с ними в личный контакт. Чтобы взять такой подвал, они будут бросать ручные гранаты в подвальные окна, думал я, чтобы подавить сопротивление всех его обитателей. Я разбудил солдат и сказал им, что мы должны поскорее отойти от окон, подальше от освещенных мест. Они теперь стали очень опасными для нашей жизни. Через оконные проемы русские могут забросать нас гранатами, поэтому надо отойти под защиту внутренних помещений. Идти к русским своим ходом — задача непростая, мы не были уверены, что сумеем дойти до места. Многие имели тяжелые обморожения, пулевые и осколочные ранения, у некоторых поднялась высокая температура. У двоих моих товарищей, которые раньше отвечали за исправность нашей радиоаппаратуры, ноги от мороза почернели до половины икр, так как они умышленно не снимали кожаных сапог и надеялись попасть с такими обморожениями в немецкий лазарет. Но их замысел не удался, потому что последний аэродром у нас отбили 24 января. Теперь они надеялись на лечение в русском лазарете. Когда они показали мне свои ноги, я пришел в ужас. Не знаю, что случилось с этими людьми, ибо дальше события развивались очень быстро.

Мы вдруг услышали топот сапог по каменным ступеням и громкие команды на русском языке. И вот русские уже перед нами, их автоматы направлены на нас. Неожиданная встреча произвела скорее хорошее впечатление, это были не жаждущие крови враги, как нам их описывали, а дисциплинирован-

ные солдаты,* по всей видимости — из гвардейской части. Они потребовали от нас только сдать оружие и часы. «Кто утаит и не сдаст, будет расстрелян,— сказал переводчик.— Хуже будет, если потом у кого-то из вас найдут пистолет». Многие сдали и свои наручные часы, к чему уже давно были готовы. Я свои первоклассные швейцарские карманные часы заблаговременно спрятал в нижнем белье, у меня было чувство, что они мне еще послужат. Так просто их не найдут, разве что при личном обыске. Свое фотоснаряжение: фотоаппарат «Кодак» — самая современная в то время миникамера, с фотоэлектровспышкой, с экспонометром, я считал ненужными на ближайшее время. Мне не хотелось только, чтобы все это попало в руки человека, не смыслящего в фототехнике. Я подошел к офицеру, отдал ему фотоснаряжение и показал, как с ним надо обращаться. Несмотря на языковые трудности, он понял меня, только вспышка была сущей диковинкой, функции которой, к моему сожалению, он не мог понять. Но он дружелюбно обошелся со мной. Для меня русские были скорее освободителями, чем врагами.

Сцена со сдачей оружия и часов закончилась быстро. Затем мы в первый раз услышали: «Давай, давай!». Это означало, что мы должны были быстро подняться по лестнице и выйти на улицу. Никто из русских нас не спросил, сможем ли мы сами идти. Был солнечный, но очень морозный день. Со всех сторон из руин и подвалов выходили группы пленных немецких солдат. Мы уныло ковыляли по безлюдным улицам, превратившимся в проходы среди развалин. В это же время, должно быть, сдался в плен и командующий нашей 6-й полевой армии генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Каждый пленный нес свой вещмешок, а некоторые еще и одеяло. Многие солдаты из-за обморожения ног не могли надеть сапоги и несли их перекинутыми через плечо. На эти сапоги набрасывались молодые русские женщины, которые прятались за углами развалин и улучили удобный момент, когда мы как раз поворачивали за угол, а сопровождающая нас охрана не могла их видеть. Эти нападения совершались столь внезапно и в столь благоприятных для этого ситуациях, что у меня сложилось впечатление, будто нападавшие понимали, что поступают противозаконно. Сначала они нацеливались на сапоги и срывали их с плеч, потом уж отнимали одеяла и рюкзаки. При этом часто падали вместе со своими жертвами. Меня они не тронули, хотя я тоже повесил через плечо свою обувь, но не солдатские сапоги — этот символ прусского милитаризма — а военные ботинки, которые я всегда носил. Ботинками они, видимо, не интересовались. Может, поэтому они не посягнули на мое одеяло и набитый

бинтами мешок. Свои обмороженные ноги я еще за день до плена перевязал свежими бинтами, смазанными кремом из русского тюбика, обложил для тепла тканью и зашнуровал. Ноги не замерзли, и я шел на удивление споро.

Сколько времени мы шли через разрушенный город, трудно сказать. Но, как нам показалось, это был бесконечно долгий путь. Мы вели себя как покорные овцы. Никто не пытался убежать. Идущие рядом с нами немногочисленные охранники не прилагали усилий к тому, чтобы как-то подтянуть нестройную толпу. Наконец мы вышли за городскую черту и оказались на большом пустыре. Он был обнесен забором, а в середине стоял огромный деревянный сарай. Все кругом утопало в снегу, было залито лучами яркого солнца. Потемневшие деревянные стены сарая показались родным пристанищем.

Сопровождавшие нас дисциплинированные гвардейские солдаты ушли, скорее всего, чтобы поесть, и передали нас другой, как было сказано, обозной части. Эта охрана куда меньше понравилась нам. Она не производила впечатления образцового воинства, даже в смысле униформы. Солдаты выглядели, как неряхи. Они построили нас перед сараем и стали заводить в него небольшими группами. Это показалось мне подозрительным. Я медленно отступил от ворот и незаметно обошел сарай. Строгий надзор за пленными из-за малого количества часовых был невозможен, к тому же их большая часть находилась в сарае, поэтому проделать маневр было нетрудно. Заглянув в дверь сарая с другой стороны, я понял, что поступил разумно. Пленные выходили из внутренней двери в совершенно растрепанном виде. Когда я спросил одного, в чем дело, он сказал, что все были полностью обысканы и обобраны. Имели ли русские на это право, я не знаю. Согласно Женевской конвенции по военнопленным это считалось злоупотреблением и было запрещено. Вероятно, у них было задание искать только оружие. Мне обыска удалось избежать, и я сохранил свои швейцарские часы. Наконец, вернулась наша охранная команда, и мы вновь перешли в ее руки. Переводчик сказал, что будем двигаться дальше. Кто может пройти еще 3—4 км, должен выступить вперед, остальные останутся здесь. Он предупредил, чтобы во время движения никто не отставал и не выходил из колонны, в противном случае не миновать расстрела. Бежать при глубоком снеге и крепчающем морозе (солнце исчезло за багровыми облаками) было бессмысленно. Я рассудил, что целесообразнее было пройти эти 3-4 км, несмотря на мои обмороженные ноги, чем оставаться на месте. Я хорошо понимал, что русские не в состоянии быстро перевести многих больных и раненых в лазарет, да еще в такую погоду.

Они должны были сначала позаботиться о своих собственных больных и раненых.

Из своего опыта я знал, что лучше двигаться в голове колонны, тут помогает общий настрой и ритм, можно влиять на скорость ходьбы, а поведение других не мешает. Этот переход потребовал от нас предельных усилий, а мы были физически и морально крайне слабы. Н путь наш составил не 3—4 км, а все тридцать и продолжался почти целую ночь. Началась пурга, а мы все шли в темноте по заснеженной железнодорожной насыпи. Некоторые не выдерживали такой нагрузки, отказывались от помощи товарищей, ложились на снег, иные падали и бились в нервном припадке, редко кто из них поднимался и шел дальше, многие остались там навсегда. Порой мы слышали короткие выстрелы, но апатично двигались дальше. Русские могли бы сэкономить патроны, ведь каждый, кто оставался лежать, был обречен на скорую смерть. Не знаю, что легче: смерть от пули или от холода. Мы потеряли чувство времени и не имели представления, как долго нам еще идти. Мне казалось, что из-за усталости я не смогу идти дальше, но потом я вспоминал об искусственном меде и откусывал кусочек. Это быстро подкрепляло силы, и я шагал дальше.

Была еще ночь, когда мы увидели вдаль свет и стали медленно приближаться к нему. Появилась надежда, что долгий путь закончился. Мы подошли к большим деревянным воротам, которые открыли русские часовые. Показался слабо освещенный фабричный двор с большими бетонными зданиями. Они были недостроены. Не было ни стекол на окнах, ни дверей, в пустые проемы летел снег. Но в помещении было теплее и не так ветрено, как снаружи, и все тонуло в каком-то едком дыму.

Мы были явно не первыми из пленных в недостроенном фабричном помещении. Кое-где виднелись доски опалубки, стены начинались не от пола, они держались на бетонных колоннах, между стенами и неровным полом оставался промежуток в пол-метра или в метр. Пленные, побывавшие здесь раньше нас, заполнили снегом эти щели, чтобы немного утеплить помещение. Мы уселись вокруг дымящих костров, чтобы согреться и растопить в котелках снег, так как другой воды не было. Дрова для огня приносили отовсюду, где находили, с галереи, которая вела вокруг всего помещения, отрывали опалубку со стен. Часовым это не нравилось, так как иногда на нас падали обломки стены, и они стреляли вверх, но пленные не давали сбить себя с толку и продолжали отрывать доски. Никто не пострадал. Возможно, выстрелы были предупреждающими. Те, кто искали топливо снаружи, находили

торчащие из снега столбы и раскачивали их, пока те не падали. Длинные бревна нечем было пилить, их пережигали по частям на огне костров, и тогда их уже можно было использовать в помещении. От дыма у многих покраснели глаза, зато мы весь день грелись у огня. Проблемы возникли с наступлением ночи. Надо было спать, а места не хватало. Огромное помещение не могло стать местом ночлега для такого множества пленных. Я не знаю, сколько тысяч человек туда набилось. Мы вынуждены были потушить костры и лечь спать на твердую, хорошо утоптанную, более или менее согретую огнем землю. На всех нас было несколько одеял, а ночью, особенно под утро, в помещении наступал особый холод. Я сказал своим товарищам, что мы сможем выдержать его лишь в том случае, если будем согревать друг друга теплом своих тел. Сначала надо устлать землю одеялами, чтобы немного смягчить холод от земли, затем лечь поближе друг к другу и положить все оставшиеся одеяла на себя так, чтобы из-под них не выглядывали ни ноги, ни руки, ни кончик носа, потому что при холоде все это можно обморозить. Товарищи последовали моему совету. Никто из нас не замерз и не задохнулся. Один раз, под утро, когда уже стало светло, я встал и сразу смог определить, где у кого из нас был рот или нос, потому что в этом месте на одеяле были пятна инея. На улице по-прежнему шел снег.

Один из моих хороших друзей,- он был на «гражданке» старшим учителем в Трагвайне — красивый парень, под два метра ростом, любитель природы и охоты, не смог себя заставить лечь в общую кучу. Он и еще двое легли спать рядом, но на расстоянии друг от друга. Утром все трое превратились в окоченевшие трупы. Трудно сказать, когда наступила смерть, вероятно, в первые часы сна. Это были не единственные жертвы мороза. Из помещения время от времени выносили мертвецов.

Вначале возникали проблемы с питьевой водой, приходилось топить снег. Это очень утомляло, потому что снег был рыхлым. По ночам порой стоял тридцатиградусный мороз. Но это еще не самое страшное. Попробуй найти во дворе чистый, не загаженный мочой снег, когда нет никаких санитарных сооружений. С опорожнением кишечника было меньше проблем. Мы ведь все давно уже ничего не ели. А когда начался снегопад, с водой стало полегче.

Целый день, как и накануне, мы почти не вылезали из облака едкого дыма, пуская в дело все, что может поддерживать огонь. Каждый подносил к огню свои котелок со снегом, чтобы потом попить горячей водички. Есть было нечего, но голода мы не чувствовали, его заглушала жажда. В помеще-

нии и вокруг/него царила деловитая суета, словно в муравейнике, но все обходилось без особого волнения и стычек. Опять целый день падал снег.

Когда стемнело, мы потушили огонь и легли спать тем же способом, что и вчера. Большинство тотчас заснуло от усталости. Но я вдруг почувствовал запах паленого, как будто горело одеяло. Тут я увидел, как в метре от меня вьется дымок, как раз там, где весь день горел костер. Однако лежащие рядом с этим местом ничего не заметили и спокойно спали, хотя, как мне показалось, к некоторым уже подобрался огонь. Я попытался разбудить их криком, но они меня не слышали. Я тихо вылез из-под одеяла и пошел к ним, осторожно переступая через спящих. Вновь попытался добудиться. И опять напрасно. Мне удалось затоптать тлеющий огонь. Воды для тушения пожара у нас не было. Я снова тихонько лег, когда запаха дыма уже не было. С тех пор каждый вечер, прежде чем положить одеяла на землю, я проверял, нет ли где хотя бы одного горячего уголька, а если одеяло лежало там, где до этого горел огонь, надо было убедиться, что от него не идет дым.

Так прошло много дней. Однажды нам сказали, что нас будут кормить. Верилось в это с трудом, но мы все же построились в очередь. В углу русские соорудили из бревен и досок раздаточный стол и выдали каждому из одного ведра по три ложечки пшеничной сечки. Мы тут же сварили из нее горячую русскую кашу, первую еду в плену. Она, конечно, была скудновата, но внушала надежду, что скоро будет лучше и трудности, возникшие на начальном этапе, будут преодолены. Теперь почти каждый день мы получали по три ложки крупы. Снег прекратился, в полдень пригревало февральское солнце, и война для нас закончилась. Правда, мы теперь были военнопленными. По ночам еще стояла стужа. К нашему положению мы уже привыкли.

15 февраля 1943 года: первая надежда на улучшение

В середине *февраля* выдался погожий солнечный день. Русские через переводчика спросили, кто из нас готов идти работать. Это обещало перевод в другой лагерь. У ворот ждали грузовики. Хотя обмороженные пальцы у меня на ногах еще не зажили, я вызвался ехать, надеясь, что в рабочем лагере лучше с ночлегом и кормежкой. Наше фабричное здание без крыши могло быть только краткосрочным приста-

нищем. Итак, меня, как и многих других, погрузили в кузов большого грузовика, и мы поехали в другой лагерь, в Бекетовку, поселок близ газового завода.

Это действительно уже было похоже на лагерь. Он состоял из множества длинных деревянных бараков. В центре находились административный и кухонный бараки, последний, впрочем, еще не действовал, строения разделялись ровными и прямыми дорогами, ведущими за пределы лагеря. Но он был обнесен не очень высокой изгородью из колючей проволоки. Создавалось впечатление, что в прошлом это был гражданский исправительно-трудовой лагерь, который быстро переоборудовали для нас, военнопленных. Здесь были большие ворота и деревянная будка для охраны. Русские солдаты в теплых меховых шапках, фуфайках, ватных брюках и валенках открыли ворота и впустили нас. Мы построились перед зданием администрации и были подробно, как принято в России, опрошены. На каждого из прибывших была заведена карточка, в которой указывалось: фамилия, имя, отчество, имя матери и ее девичья фамилия, имя и отчество отца, дата и место рождения, адрес, национальность, профессия и воинская часть. Эта процедура потом повторялась при переводе из лагеря в лагерь. Некоторые военнопленные посмеивались над этой, как им казалось, русской неорганизованностью. Не проще ли вместе с пленными передавать учетные карточки, а не делать все заново? Но русские были отнюдь не дураки, и позже мы это поняли. Все карточки попадали в НКВД, у которого было куда больше власти, чем у военных. Достаточно было сличить данные одного пленного по разным карточкам, чтобы выяснить, где правда, а где ложь. Трудно было запомнить за несколько лет, что ты говорил при первой и последующих регистрациях, если ты, конечно, не врал. Я знал некоторых товарищей, которые вернулись домой значительно позднее других, потому что не всегда давали правдивые сведения. Нередко они и сами знали, почему приходилось задерживаться, разумеется, порой не обходилось и без доносов своих же «друзей».

После регистрации нас распределили по баракам. Я попал в барак, где встретил многих сослуживцев по роте связи, которые пошли сдаваться в плен на день раньше меня. Среди них были мой командир отделения, который меня всегда третировал, и унтер-офицер канцелярии, с которым у меня были хорошие отношения. Офицеров здесь не было. Их разместили в офицерский лагерь.*

В бараках, часть которых была двухэтажными, стояли простые деревянные столы и скамьи, но не было никаких нар. Ложиться приходилось на голые доски пола, между

которыми проступал иней. В первые дни не давали никакой еды, также как и питьевой воды, не говоря уж о воде для умывания. Мы снова добывали воду из снега. Одежду мы не снимали, хотя в бараках было значительно теплее, чем в фабричном цеху без крыши. Маленький каменный очаг с железной плитой давал ровно столько тепла, чтобы мы не мерзли в нашей одежде. Топливо (дрова, солому, сухую траву и другое) мы должны были различными способами доставать сами. В конце концов кто-то оторвал доски от цоколя своего же барака, и теперь под полом свистел ветер. Отхожим местом служила яма с перекладной, немного в стороне от барakov.

В лагерь постоянно прибывали новые пленные. Они были самых разных национальностей: прежде всего, конечно, немцы и австрийцы, но были и румыны, поляки, чехи, словаки, хорваты, итальянцы, голландцы и даже украинцы. В лагере находилось примерно около 10—12 тысяч пленных. Люди постоянно умирали. Мертвых раздевали и укладывали двухметровыми штабелями по обе стороны дороги за бараками, ведущей в поле и огражденной колючей проволокой. Они лежали там смерзшиеся, покрытые снегом, у некоторых были вырваны куски плоти на икрах или ягодицах.

Я узнал, что в лагере можно купить у румынских цыган верблюжье мясо. Хотя точно установить, что они продавали, было трудно. Перед входом в кухонный барак лежали большие куски льда. Он был таким прозрачным, что можно было различить в нем замерзшие пищевые отходы: картофельные очистки, тонкие кусочки помидоров и т. п. Некоторые пленные занялись настоящим промыслом. Они часами упрямо счищали лед деревянной палочкой, чтобы добраться до чего-либо съедобного.

Большую часть времени мы лежали, экономя силы. Иногда выходили на свежий воздух, чтобы поддержать кровообращение. Один раз в день мы строились, нас пересчитывали.

Часто в бараке кто-нибудь доводил нас до безумия своими рассказами о хорошей пище дома до войны, смачно описывая любимые блюда и процесс их приготовления. Пекарь из Вены, например, подробно объяснял, как готовился линцевский торт из панировочных сухарей; венский мясник рассказывал, какими приправами сдабривается салями или окорок и как правильно резать шпик. Об изготовлении шампанского, для чего используется не лучшее вино, распространялся дегустатор из Гумпольшкирхена. Было много споров по поводу того, чей рецепт лучший. Я поделился своим «секретом» изготовления шампанского и узнал, что таким способом достигается самое высокое качество.

В основном от голода страдали те, кто прибыли в лагерь упитанными и имели достаточно пищи еще в окружении под Сталинградом. Одним из них был Лойсль из Граца, унтер-офицер из отдела снабжения. Он был прекрасным парнем, обожавшим свою жену, но мучительно страдал от голода. Весил он 95 кг при росте 1 м 75 см и невероятно быстро отощал. Его состояние стало быстро ухудшаться, он еле передвигал ноги, а под конец мог ходить, только опираясь на мою руку. Однажды Лойсль лег рядом со мной на пол и заснул. Вдруг я услышал, как он заговорил во сне, и лицо его сияло блаженной улыбкой. Проснувшись, он находился еще во власти грез и не мог сразу прийти в себя. Лишь через некоторое время он узнал меня и людей вокруг.

«Лойсль! Лойсль! — крикнул я. — Что с тобой? Почему ты такой странный?» — «Знаешь, — сказал он, — я был сейчас дома, у своей жены. Я думал, это она меня позвала. Она была так счастлива, смотрела на меня такими сияющими глазами, что я думал, она меня съест от любви. Только бы увидеть ее, только бы вернуться». К великому сожалению, он не вернулся домой. Лойсль умер 5 месяцев спустя, превратившись в дрожащий скелет, совершенно опустошенный морально. Я часто думал о том, каким он был чудесным человеком и насколько не по силам оказались ему экстремальные условия.

У меня все сложилось не так уж плохо. Я давно привык к голоданию, так как попал в «котел» после лечения от тяжелой дизентерии. Она была моим несчастьем и в то же время удачей. Вряд ли я вернулся бы домой относительно здоровым, если бы не тяжелые испытания, которые закалили и сформировали меня. Ведь линия жизни — это синусоида, она постоянно предъявляет жесткие требования к человеку, к его телу, интеллекту, к его душе, она учит справляться с неизбежными проблемами. Это вселило в меня уверенность, что, пройдя через ад, я сумею выдержать любые потрясения.

Порой мы целый день проводили в полудреме, не обменявшись ни словом. Каждый вспоминал только хорошее и только из прежней жизни. Настоящее было пока невеселым, а будущее таило в себе много загадок. А будет ли вообще у нас будущее, можем ли мы надеяться на лучшее, на свободу? Я тоже уходил мыслями в прошлое.

Наша теперешняя жизнь казалась мне испытательным сроком, который устанавливают для техники, чтобы определить прочность материала, например, стальных балок для моста или проволочного каната. Испытывается прочность на разрыв, давление, влияние атмосферы. Проверка материала необходима для того, чтобы рассчитать, какие нагрузки выдержит мост, башня, машина, канатная дорога в определен-

ый отрезок вбемени. Ведь неживой материал тоже стареет и сдает. Нагрузка имеет свои пределы, иначе не избежать катастрофы. Отсюда — строгие нормативы.

В плену беспощадному испытанию подвергался человеческий материал, его физическая стойкость, внутреннюю твердость, выявлялись его сильные и слабые стороны, которые порой только здесь и открывались человеку.

Но испытание выдержали не все, для многих оно оказалось трудным, непосильным. Умирили павшие духом, утратившие веру в себя. Иной был чудесным парнем, а испытаний не выдержал, а кто-то превратился в безоглядного эгоиста. Некоторые, испугавшись трудностей, погибали, другие, более сильные, выживали и в лучшие времена опять становились очень милыми людьми.

Что было в нашей прошлой жизни?

Мне с избытком хватало времени для критического осмысления моей прежней жизни. Я выходец из многодетной семьи. У меня были три брата и две сестры, т. е. семья наша состояла из восьми человек. Мой отец занимался политической деятельностью, являясь членом Христианско-Социалистической партии. Умер он очень рано, в неполных 42 года. Мне шел тогда 13 год, старшей сестре было немногим больше — 14 лет, а самому младшему брату исполнилось только 2 годика. Я вижу перед собой отца в больнице, его мучил жар от инфекции, которой он заразился во время паломничества в Рим. Круглый, как шар, врач, (кстати, и фамилия его была Круглер*) сказал матери, которая со слезами на глазах стояла у постели отца, что больной в тяжелом кризисе и что здесь ему вряд ли сумеют помочь: никто не знает, что это за болезнь. Температурная реакция — единственное в данном случае защитное средство, и отец сможет выздороветь, если только выдержит сердце. Но сердце у отца было очень ослаблено. Как почти все политики, он слишком много курил.

В течении трех лет я был членом бойскаутской организации, одним из основателей которой являлся мой отец. Там нам постоянно твердили, что курение вредно и курильщики лишь скрывают свою инфантильную неуверенность, что они никогда не смогут стать настоящими мужчинами, так как не в силах отказаться от курения, как маленький ребенок от соски. Они* почти обречены на слабохарактерность.

Kugler (нем.) — от слова Kugel - шар.

Отец умер на моих глазах. Для меня это было потрясением, которое невозможно забыть. Я никогда не курил, даже на фронте, хотя мы не испытывали недостатка в табаке. В плену вообще не было курева, там не только я не курил, там не курили даже самые заядлые любители этого зелья. Отец очень любил меня и часто брал с собой на политические собрания. Зачастую они проходили крайне бурно. Когда ситуация накалялась и собрание атаковали политические противники, приходилось даже удирать через окно. В нашей бедной, небольшой квартире собирались многие известные христианские политики. И я очень рано познакомился со многими социальными проблемами жизни простых людей.

После смерти отца мама стала получать небольшую пенсию и пособие на детей, шестерых полусирот. Старшая сестра пошла работать в больничную кассу, шефом которой был прежде мой отец, своим маленьким заработком она помогала выхаживать нас, малолетних, и поддерживать бабушку. Я и два брата закончили классическую гимназию и сдали экзамены на аттестат зрелости. Потом все трое были призваны в армию и попали на фронт в Россию примерно в одно и то же время. Средний брат, студент-медик, был унтер-офицером санитарных войск и погиб 10 января 1943 года при прорыве русских при Бабуркине под Сталинградом. Об этом я узнал от пленного товарища из его дивизии, который сам вскоре умер от ангины и голода. Младший же брат вернулся домой после того, как вышел из преисподней у озера Ильмень.

В гимназии у нас был очень хороший преподаватель религии, ставший позднее -профессором истории и ректором университета в Граце. Ему я обязан многим в своей жизни и прежде всего тем, что выжил на войне и в плену. Он воспитывал нас самостоятельно мыслящими людьми, способными действовать не по шаблону. Если что-то не получается, учил он, необходимо прежде всего критический анализ, надо все продумать до мелочей и только потом решать или судить. Он отнюдь не был доктринером и материал излагал не в форме катехизиса.

Я вырос спокойным, уравновешенным, и мне импонировали изречения древних римлян и греков. Например, «Что бы ты ни делал, думай о последствиях». Вот только призыв «Сладостно и почетно умереть за Отчизну!» не очень вдохновлял меня. Из истории я знал, что это изречение всегда использовалось сильными мира сего для удовлетворения честолюбия, достижения личной власти и для личного обогащения. Меня больше убеждали высказывания Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю, но так как большинство людей и этого не знает, то я знаю больше, чем другие». «Познай самого себя»,— гово-

рил он ученикам, то есть ищи свои слабости и борись с ними, тогда ты сможешь стать совершенным человеком.

Вспомнился мне и Диоген, который ходил по рыночной площади Афин с фонарем в ясный день и светил людям в лицо. Когда изумленные афиняне спрашивали, зачем он это делает, Диоген отвечал: «Ищу человека!» Он жил в бочке и на вопрос Александра Великого, предлагавшего исполнить любое желание философа, ответил: «Не заслоняй мне солнца!». Его единственной собственностью был деревянный сосуд, которым он черпал воду из источника, а когда Диоген увидел, как мальчик пьет воду из пригоршни, то отказался и от единственного сосуда. Это не лишило его жизнь гармонии и смысла.

Как не хватало нам тогда именно таких философов. Несчастливы те, кто требовал для себя больше, чем ему необходимо. Они не смогли противостоять испытаниям и обрекали себя на гибель. У греков приоритет принадлежал человеку, а не государству во главе с царем, тираном, диктатором. У многих народов человек был собственностью властелина или господина. Греки вели жестокие, но победоносные войны против порабощения персами.

Сильное впечатление произвела на меня мысль, высказанная в пьесе «Враг народа»: «Большинство никогда не бывает правым. Если правда настолько широка, что ее понимает большинство, то эта правда так разбавлена, что уже не является правдой». Вообще я всегда читал целеустремленно и осмысленно. Особенно меня поразила своей глубиной книга Лебона «Психология массы». В ней на примерах истории показывалось, что есть люди, которым из совокупности индивидов удается создать новый организм — «массу». Она следует совершенно другим законам, чем отдельные люди, хотя и состоит из них, и способна творить величайшие злодеяния. Так развязывались войны и разгорались кровавые революции. «Распни его! Кровь его на нас и на детях наших!» — свидетельствуют о безумии толпы евангелисты. А вот как реагировала масса на вопросы нацистского демагога Геббельса на митинге в Берлине: «Вы хотите тотальной войны?» — спрашивал он, и масса кричала — «Мы хотим тотальной войны!»; «Чего хотите: масла или пушек?» и все кричали — «Пушек!». Никто не осмелился крикнуть другое.

Один из моих соучеников учился в гимназии на средства Национал-социалистической партии. Через каждые два месяца он ездил в Мюнхен к Гитлеру. По возвращении мы его спрашивали: «Как там «дядюшка Адольф»?» Часто ему удавалось поговорить с ним, но иногда он отвечал, что секретарша не пустила его к Гитлеру, потому что у того был

припадок буйного помешательства. После окончания гимназии этот юноша стал редактором газеты «Ангрифф» в Берлине.

Мой экзамен на аттестат зрелости в 1930 году совпал по времени с началом экономического и финансового кризиса. После экзамена, несмотря на кризис, меня приняли на службу в банк, директором которого был друг моего отца. Я проработал в банке всего 1,5 года, так как профессия банковского служащего мне не нравилась. Я поступил учиться в Венский технический университет на факультет электротехники. Через год я перевелся, по совету старшекурсника, с которым подружился и который тоже изучал электротехнику, на геодезический факультет. Дело в том, что с дипломом электротехника можно было устроиться разве что чертежником на фабрике. Я никогда не жалел о своем выборе, это была моя профессия. Разумеется, приходилось совмещать учебу с работой.

В стране все больше заявлял о себе национал-социализм. Друг моей студенческой юности хотел привлечь меня в нацистскую партию. Я сказал, что сначала хотел бы изучить ее программу и узнать, чего она хочет. Он принес мне программу партии — «Майн Кампф» Адольфа Гитлера и книгу Розенберга. Я читал и приходил в ужас, знакомясь с их целями. Это была прямая подготовка 2-й мировой войны, программа порабощения людей, уничтожения евреев и дискриминации всех «неарийских» народов. Я стал убежденным противником национал-социализма. О чем и сказал однажды своему другу, поблагодарив его за информационный материал. В своей деятельности в академическом физкультурном союзе и среди студенчества я всегда вел жаркие дискуссии с фанатичными нацистами — иногда это были профессора и мои преподаватели — о программе нацистской партии и взглядах Гитлера, изложенных в «Майн Кампф». Мы не находили общего языка. Мои оппоненты только багровели от злости и упрекали меня в моей «незрелости». Я говорил им, что они предадут собственное государство, которое их же обеспечивает. Мне было ясно, что скоро начнется война. Я стал следить за событиями в России, потому что воспринял «Майн Кампф» как прямой призыв к войне против СССР.

Окончание учебы в Техническом университете и наш выпуск как раз совпали по времени со вторжением гитлеровской армии, с оккупацией и присоединением Австрии к Германии в марте 1938 года. Письменный госэкзамен я сдал еще до этого, устный - после, но при полномочиях прежней экзаменационной комиссии. Потом она была «очищена» от «ненацистов». После получения диплома я начал служить, как

и было давно намечено, в правительстве земли Верхняя Австрия заведующим отделом дорожного строительства.

2 мая 1941 года меня взяли в армию радистом, так как рекрутская комиссия обнаружила у меня музыкальный слух и литературные способности. В первую же ночь нахождения в Майдлингской казарме я увидел очень запомнившийся мне сон, который часто вспоминал во время войны и плена. Я видел себя со своим сыном - ему тогда было около годика — он шел рядом со мной по зеленому парку. Он был одет в синюю матроску, а за спиной у него был школьный портфель. Я тогда не подозревал, что предвидел свое будущее. Только через пять лет, когда я вернулся домой, мой сын действительно носил синюю матроску и вскоре пошел в школу.

Почему меня определили в радисты, а не в военную геодезию, я так и не знаю. Будучи на войне, я все время безуспешно стремился получить возможность заниматься геодезической съемкой, ведь я был дипломированным инженером-геодезистом. Мой коллега по учебе, закончивший вуз на год позже, попал в геодезию. Но ему не повезло, так как его инструктором были мясники и парикмахеры, плохо знавшие математику и часто допускавшие несусветные ошибки. Когда ему надоело переделывать их работу и он осмелился очень вежливо поправить своего инструктора, тот учинил ему страшный разнос и весьма осложнил дальнейшую жизнь.

Так что мне лучше было у радистов. Почти все мои товарищи по взводу связи имели аттестаты зрелости, а некоторые даже закончили институты. Наши инструкторы, за исключением одного, который закончил институт и сумел сохранить присущие ему обаяние и человечность, были тупые солдафоны, пытавшиеся сделать из нас прусских вояк. Я ничего не имел против уроженцев Пруссии, но чувствовал себя притесняемым инородцем из Австрии. Кроме того, я ненавидел любую бессмысленную команду, особенно исходящую от таких примитивных и тупых командиров. Муштра, культ единообразия и торжественные марши вызывали у меня ироническое отношение. В навязанной мне военной службе в чужой армии я не хотел становиться ни младшим командиром, ни тем более офицером. Военный инженер — это еще куда ни шло, я был бы тогда наполовину гражданским. Со всем иначе я привык относиться к австрийским военным. И все же я не делал ничего, что могло бы навредить моим товарищам.

Через три месяца усиленной подготовки, а немцы между тем уже вошли в Россию, нас послали на русский фронт под Киев, затем под Харьков и Сталинград. За все это время я ни разу, как и мои товарищи, не получил отпуска домой. Люди

в роте связи подобрались такие, что на фронте из-за этого возникали дополнительные трудности. Большая часть простых радистов - образованные люди, имевшие дипломы и аттестаты, а унтер-офицеры, вахмистры, штабс-вахмистры и офицеры были крайне неприятными субъектами. Наш командир отделения, вахмистр, прежде якобы работал в Вене электриком, потом лишился работы и завербовался в армию на пятнадцать лет. Как радисты при командире дивизии, нашем генерале, мы находились в лучших условиях, чем пехотинцы в своих землянках, траншеях и окопах. Наша радиоаппаратура располагалась в автобусе «мерседес». Мы пользовались алюминиевой посудой, полевыми столами и стульями. Один из радистов сервировал столы для еды. Когда все было готово, мы садились на свои места и ждали начальника радиоточки. Он садился за накрытый стол и громко выпускал газы так, что распространялась отвратительная вонь. Это было его пожеланием «приятного аппетита».

Меня он не любил и ко мне, как он выражался, «ученому», постоянно придирался, угодить ему было невозможно. Вероятно, я еще больше обострил его комплекс. Однажды он (снова хвалился «подвигами» в Париже, где какое-то время находилась рота связи, взхлеб рассказывал о том, как, возвращаясь в казарму в полночь, они стреляли по окнам мирных парижан, как изрешетили бочки в винных погребах, как вино полилось на пол, как повеселились в борделе, все по очереди и т. д. Я сказал, что они вели себя по-свински, что такие вещи делают французов еще более непримиримыми нашими врагами не в одном поколении.

Как-то раз мы вместе несли службу, и он снова стал издеваться надо мной, я сказал, что он поступает несправедливо, к тому же не я радист по профессии, а он. И нельзя требовать от меня того, чему он сам учился долгие годы. Меня призвали на службу, которая совершенно не соответствует моей подготовке. У него нет права издеваться надо мной, он не должен забывать, что война когда-нибудь закончится и для нас обоих начнется новая жизнь. Я-то когда-нибудь вернусь к своей работе дипломированного инженера, а у него нет никакой Профессии. Пусть радуется, если сможет устроиться у нас служащим или привратником. Он побелел, не знал, что ответить, а потом попытался тайком отделаться от меня. Но тут ему очень не повезло.

С другими вахмистрами всех степеней у меня тоже иногда возникали конфликты. Однажды немецкий вахмистр, который тоже не любил меня и постоянно придирался, крикнул мне при построении: «Эй, ты, полусолдат!». Я сказал рядом стоящему товарищу: «Такого оскорбления я не потерплю.

Я вообще чувствую себя не солдатом, а переодетым гражданским». Вскоре это получило огласку. Узнал об этом и немецкий вахмистр, он стал еще больше приставать ко мне.

Но потом произошло событие, которое сильно изменило мое положение в роте. Мое «солдатское усердие» было отмечено новым командиром роты, что стало поводом для повышения по службе. Пятнадцать месяцев я прослужил рядовым, из них двенадцать воевал на фронте, оставаясь рядовым радистом. Нежданно-негаданно до нас дошли слухи о том, что наши офицеры и младшие чины присваивали предназначенные нам продовольственные товары: шоколад, сухофрукты, водку, ликеры и т. д. и посылали все это домой или использовали сами. Вскоре вся верхушка роты была отстранена от должностей и направлена в резервную часть. Как мы потом узнали, там их всех повысили в звании. Только унтер-офицер по снабжению должен был на три недели задержаться на фронте, а затем уже отравиться в тыл, такое у него было наказание. Нам сменили командиров. Хорошее впечатление на меня произвел новый командир роты связи, капитан, выделявшийся культурной речью и хорошими манерами. По наивности я принял его за восточно-прусского дворянина, чуть ли не графа. Позже я узнал к своему разочарованию, что это далеко не так. На гражданке он работал контролером больничных касс. Новый старшина роты был до войны кондитером в Восточной Пруссии. Но все это не имеет отношения к моему «солдатскому усердию». Итак, к делу.

Я считал себя весьма недурным фотографом, у меня был фотоаппарат (как уже упоминалось) и мне приходилось часто фотографировать, разумеется, когда позволяли обстоятельства. Я даже проявлял пленку и делал контактные фотографии 24x36 при керосиновой лампе. Однажды меня увидел за делом наш унтер-офицер канцелярии, тоже австриец. У нас *были* одинаковые фотокамеры, с той лишь разницей, что у него не было кожаного футляра. Я посочувствовал земляку и решил сделать ему футляр, если он достанет русский подсумок для патронов. Он принес мне его, и я сделал футляр. Не хватало только гайки для крепления фотоаппарата. Я вырезал ее из дерева. Сумку покрыл красным лаком, потому что свиная кожа на футляре показалась мне малопривлекательной. Футляр с фотоаппаратом выглядел очень симпатичным. Унтер поблагодарил меня и был очень рад. Фотоаппарат в футляре попался на глаза командиру роты, и он спросил унтера, где тот взял такую штуку, не из дома же прислали, ведь кожи не хватало ни в тылу, ни на фронте. Унтер-офицер рассказал, как было дело. Так наш ротный узнал о моем существовании. У него тоже была такая же

фотокамера - распространенная в то время модель. Командир тоже захотел иметь футляр и попросил унтер-офицера переговорить со мной. Я согласился, получил достаточно материала и сделал ему футляр. Он удался еще лучше, потому что у меня уже был небольшой опыт формовки кожи. Кроме того, я заказал в полковой мастерской гайку из алюминия, пояснив, что это для командира роты. Футляр я покрыл коричневым лаком из той же мастерской и хотел передать его через унтера. Но тот сказал, что я должен вручить это командиру сам. Я принял самый образцовый вид и обратился к командиру роты. Он взял футляр с большой радостью и приветливо спросил, кто я по профессии: закройщик, шорник, сапожник или что-то в этом роде? Я ответил, что у меня совсем другая профессия, я дипломированный инженер-геодезист, специалист по геодезической съемке. Он спросил, как долго я служу рядовым? Я ответил, что уже шестнадцать месяцев, и тринадцать из них — на фронте. Он снова поинтересовался моим званием. Я повторил. «Что же вы натворили?» — «Ничего. Я выпускник университета». Он был крайне возмущен: «Я знаю, что в этой роте не все в порядке. Это же просто скандал! Но ничего, я позабочусь о порядке!»

Прежде всего, он издал приказ, согласно которому я уже месяц числился ефрейтором. Меня сразу зауважали. Это наделало много шума среди унтер-офицеров и офицеров. Никто больше не издевался надо мной. Наш командир отделения тоже оставил меня в покое. Он считал, что со мной лучше не связываться. Я стал ротным фотографом со всеми послаблениями, отсюда вытекающими. Командир хотел непременно сделать из меня офицера. Я признался, что хотел бы стать офицером по части военной геодезии, это же моя профессия, а таких специалистов днем с огнем не сыщешь. Однако я никого и никогда не просил об этом. Он посоветовал мне, чтобы я выписал копии аттестатов государственных экзаменов, после чего я должен буду закончить унтер-офицерские курсы и в течение трех месяцев управлять радиоточкой. Но осуществить эти планы нам не удалось.

Жаль, конечно, что все мои снимки и негативы, сделанные между Андреевкой и Сталинградом, вместе с фотоснаряжением пропали во время моего пленения в Сталинграде.

Еще в период нашего наступления в направлении Сталинграда, палящим знойным летом, мы вышли в голую степь вблизи Чира. Земля пересохла настолько, что о движении транспорта можно было издалека узнать по облаку пыли. А когда двигалась колонна, стояла сплошная Аыльная завеса. Начались перебои со снабжением, не хватало воды для кухни и для подразделений. Люди сильно потели и целый

день почти Ничего не пили. А по ночам становилось очень холодно. НаJ.ua дивизия уже несколько дней топталась на месте и движения вперед не предвиделось.

Все роптали и ругались. Надо было вырыть колодец, каких бы трудов это ни стоило. Но под плотным слоем пыли залегал только сухой белый мел. Правда, его легко копать, и не нужен крепезж. Возможно, внизу и был водоносный слой, но как до него добраться? Требовалась рудоискательная лоза. Но кто мог бы ее изготовить? Наконец, мы нашли вблизи ореховый куст и вырезали рогатку. Многие подержали ее в руках в ожидании желанного отклонения. Я тоже попробовал и сам не сразу заметил бы, как она неожиданно качнулась к земле, если бы не радостные крики товарищей. Но я уже понял, в чем дело, прошелся туда-сюда, и ветка покачивалась только в одном месте. Так мы определили, где надо копать. Пошли к фельдфебелю, ознакомили его с нашими результатами и попросили разрешения рыть колодец. Он был не очень уверен в успехе, но разрешил, назначив меня старшим. Мы тотчас принесли нужные инструменты: лопаты, скобы, железные ведра, носилки, лебедку и доски, чтобы предотвратить осыпи пыли при выемке грунта. Провкальвав несколько дней, мы заметили, что земля становилась все влажнее, и вот наконец в нашей яме появилась вода, еще очень мутная и не пригодная для питья. Мы, однако, обрадовались и пошли к фельдфебелю доложить о нашем успехе. Но он не разрешил копать дальше. По всей видимости, он не знал, что при рытье колодца сначала появляется мутная вода и что нужно углубиться по меньшей мере еще на метр, чтобы обеспечить достаточный уровень. Потом следует откачивать воду, пока она постепенно не станет совершенно чистой. Мы получили распоряжение рыть новый колодец. Искали лозой место и нашли его рядом. Стали рыть. Уже дошли до половины необходимой глубины, но совершенно неожиданно поступил приказ сняться с места и передислоцироваться. Жаль, конечно, что наши труды пропали впустую.

Мы вышли наконец к большой излучине Дона, там где Дон и Волгу разделяет всего восьмидесятикилометровая полоса и где на Волге находится Сталинград. На западном склоне меловых гор, обрывавшихся на востоке у берега Дона, нам предстояло соорудить зимние квартиры. Командир роты узнал от унтер-офицеров о наших поисках воды и сразу послал за мной.

Шла последняя неделя сентября 1942 года, днем еще было очень жарко, а по ночам холодно и до та^ой степени, что тучи мух засыпали в инее на стенах палатки и оживали лишь днем от солнечного тепла.

Командир роты сказал мне, что ему дали отпуск в связи с вступлением в брак. Он поручил мне руководство строительством жилья и инженерных сооружений, считая, что я больше всех подхожу для этого. В технических вопросах, решил он, я здесь незаменим, и надо как можно быстрее построить бункеры и укрытия, пока еще легко откалывать меловые глыбы. Он обещал дать в помощь русских военнопленных. Я согласился принять руководство строительством. Командир отдал соответствующий приказ и надолго уехал в свадебный отпуск. Для каждой радиоточки мы решили сделать бункер такой глубины, чтобы окно было не меньше метра в высоту и позволяло бы нести службу при свете дня; построить отдельный бункер для командира роты, 3-х комнатный бункер для кухни с сауной, бункеры для унтер-офицеров и отдельно для офицеров и укрытия для 7 грузовиков с въездной площадкой. Всего предстояло построить 16 бункеров и укрытий. У нас был только ручной инструмент, хотя и в достаточном количестве. Фельдфебель построил всю роту, зачитал приказ командира роты и сказал, мы должны очень спешить, что никакого свободного времени не будет, а также отменяется всякий послеобеденный досуг в субботу и в воскресенье. Затем он дал слово мне. Я сказал, что скоро зима и мы сами понимаем, что должны закончить как можно быстрее наши сооружения, это в наших интересах. Успех зависит от нашего усердия и организованности. Сначала надо как можно быстрее построить бункеры для себя, чтобы не жить больше в палатках и не мерзнуть. Нам нужен пока один грузовик и бригада для подвоза бревен, дверей, оконных рам со стеклом, печных труб, досок и т. п. из разрушенного Сталинграда. Продолжительность рабочего дня будет зависеть от темпов строительства. Я обещал, что при хороших результатах возможен послеобеденный отдых в субботу и воскресенье.

Строительство шло быстрыми темпами, успех был удивительным. Вся рота работала с утра и до вечера. Даже офицеры и унтер-офицеры спрашивали меня, чем могли бы помочь. Были вырыты 3 бункера площадью 4х6 метров. В меловой скале возникла целая каменоломня, при этом мы убедились, что мел нельзя взрывать, так как он рассыпается и становится непригодным для строительства. Потом стали доставлять стройматериалы из Сталинграда.

Настала первая суббота с начала строительства, и фельдфебель вновь напомнил о своем солдафонском нраве. Он объявил, что будем работать всю субботу и воскресенье. Все работали целую неделю очень интенсивно и нуждались в отдыхе. Я боялся, что солдаты, если не дать им отдохнуть, не будут больше так напрягаться. Они напомнили мне о

моем обещании, что при соответствующих результатах в субботу можно \S отдохнуть. Я пошел к фельдфебелю и как ответственный за строительные работы сказал ему, что сомневаюсь в дальнейшем продвижении дела, если он оставит в силе свое распоряжение. Люди добились большего, чем, как я знаю по опыту, могли бы сделать рабочие на гражданке. Я говорю об этом потому, что в прошлом не раз руководил соответствующими работами. Люди должны отдохнуть. Я напомнил о распоряжении командира роты, чтобы никто не смел мне перечить в технических вопросах. Он согласился с этим доводом и приказал роте построиться, сказал несколько дежурных фраз касательно службы и распустил нас на отдых. Все были довольны.

В понедельник продолжали работать с большим рвением. При этом нельзя было забывать и о непрерывной работе связи. Радиogramмы поступали довольно редко, но их требовалось записать в виде буквенного текста и расшифровывать с помощью ежедневно меняющегося кода. Поскольку мы стояли на месте, наша рота проложила достаточно телефонных линий. Стены первых трех бункеров из меловых блоков, вырубленных в каменоломне вручную зубилами и ломami, возводили так, чтобы получались ровные поверхности. Удивительно, как быстро люди освоили кладку. Глину и песок привозили из Сталинграда. В бункер, уходящий концом в толщу склона, ставились промежуточные опоры, на которые клали несущую балку, так чтобы длина пролета не превышала двух метров. Сверху укладывались балки и доски крыши. На них насыпался вынутый грунт, все щели густо замазывались, как при строительстве казачьих домов, крыши которых обрастали травой. Потолок покрывали белой жестью от больших консервных банок. С торца устанавливалась двойная оконная рама шириной в один метр, рядом — дверь с небольшим тамбуром. Среди наших товарищей был один венец, работавший до войны мастером по теплотехнике и вентиляции, его звали Зонненбург. Он помог устроить в бункерах вентиляционную систему, которая обеспечивала постоянный приток свежего воздуха и хорошую вытяжку. Кроме того, мы построили из кирпичей двухкамерные печи, а в задней части из досок и реек — трехэтажные кровати, столы и скамьи.

Тем временем прибыло пятьдесят русских военнопленных, которые значительно облегчили нам тяжелую работу. Мы смогли быстро закончить другие бункеры и начали строить большой гараж. Эти работы выполняли только русские военнопленные. Дома мне приходилось руководить строительством дорог силами нескольких сотен военнопленных. Я знал, что от военнопленных можно ожидать удовлетвори-

тельных достижений только тогда, когда они получают достаточно пищи - особенно мясной — и курева. Поговорив со снабженцами, я узнал, что на складе им всегда предлагали мешки гречки и проса, которые никто не хотел брать. Это была как раз та еда, к которой привыкли русские. Я приказал доставить как можно больше мешков. Проблему с мясом также смогли решить: еще были лошади, которых нужно было забивать из-за чесотки. Ветеринары мне сказали, что это мясо не вредит здоровью, но для питания немецких солдат его использовать не разрешается. Позднее, во время отступления к Сталинграду и в котле, мы ели с голодухи замерзших кляч, которых вырывали из-под снега: пропускали мясо через большую мясорубку и делали из фарша «кёнигсбергские биточки». И ничего, никто не заболел. Достать курево мне тоже не составило большого труда. На радиоточках нашлось немало сигарет и табака, которые были не по вкусу немцам. Мы постоянно получали табачные изделия, среди них и такие, которые курильщикам не нравились, например, короткие сигареты и трубочный табак. Образовались целые залежи. Я собрал все курево и отдал пленным, которым оно понравилось именно своей крепостью. В результате мы имели надежную рабочую силу, которая иногда трудилась и без моего присмотра. Утром с дюжиной крепких мужчин я шел в прибрежную рощу и показывал им, какие деревья нужно срубить на стройматериалы. Нам нужны были прочные опоры и несущие балки для гаража. У пленных были с собой топоры, пилы, еда и курево, у меня же не было даже оружия. Вначале их сопровождал конвой, а потом в этом отпала необходимость. Вечером я их забирал. Они ждали меня у костра и пекли картошку. Мы верили и нравились друг другу: пленные мне, а я пленным. Постепенно мы научились немного понимать друг друга.

Я часто слышал вопрос: «Почему?», а потом сокрушенно-покорное — «Ничего». Зачем все это? Почему война? Почему мы должны быть друг другу врагами? И ответ: Ничего! Мы ничего не можем с этим поделать. Это не в нашей власти. Это судьба.

Все шло настолько хорошо, насколько это было возможно в тех обстоятельствах. Но вот беда, у меня выпала пломба из коренного зуба и началась сильная зубная боль. Со мной такое случалось редко, но как бы там ни было, пришлось ехать к нашему военному стоматологу. Он находился недалеко от нас, в казачьей станице. Нас оказалось несколько друзей по несчастью, томившихся, как водится, в ожидании приема. Был хороший, еще жаркий осенний день, хотя по ночам уже сильно холодало. Я видел вокруг море садов и

огород с помидорными кустами, на которых висели красивые красные плоды. На земле после дождя сверкала большая лужа, края которой почернели от слетевшихся мух. К нам подошла старушка в платке и с корзиной, наполненной помидорами. Она поставила корзину на землю, взяла несколько помидоров и протянула их мне с какими-то добрыми словами. Я взял плоды, поблагодарил ее и съел пару штук, даже не помыв их, а просто протерев платком, хотя дома совсем обходился без помидоров, потому что терпеть не мог их запаха. Старушка же была очень довольна.

Затем подошла наша очередь к врачу. Мы, десять человек, сразу построились, приготовившись к уколам. Когда укол сделали последнему из нас, первому уже вытащили больной зуб, даже не задумавшись над тем, можно ли его было сохранить путем пломбирования, и не спросив, подействовал укол или нет. На меня он, во всяком случае, подействовал нескоро. Полый коренной зуб при удалении раскрошился, и у меня сильно пошла кровь. Врач вынужден был снова и снова вытаскивать осколки. Укол стал действовать только тогда, когда операция была закончена. Впрочем, зуб я терял впервые, если не считать выпавший когда-то зуб мудрости. В нашем роду у всех мужчин были хорошие зубы — это наследственная черта. Кстати, врач удаливший мне зуб, позднее, при отступлении к Сталинграду, получил сильное ранение. Осколком гранаты снесло нижнюю челюсть. По всей вероятности, он умер от этого, потому что тогда не было хирургов, специализирующихся на челюстных операциях. Боль я превозмог, но визит к зубному врачу имел для меня и другие последствия.

Я поначалу снова горячо взялся за дело, и все шло, как и было задумано. Мы уже закончили, несколько бункеров и, несмотря на тесноту, временно поселились в них, а ночи становились все холоднее. Мы приступили к строительству последних бункеров. Прошла неделя, и у меня вдруг начался сильный кровавый понос. Сначала это не очень меня встревожило, потому что у меня был геморрой. Но потом кровотечение необычайно усилилось, и у меня поднялась температура. Несколько дней я пролежал в санчасти, в единственном нашем доме, где находилась и канцелярия. Из окон дома я смотрел на каменоломню, слышал первые взрывы и видел летящие обломки породы, хотя я запретил взрывать меловые скалы. Они дробились от взрыва и становились непригодными в качестве стройматериала. Товарищи, посещавшие меня, жаловались, что все идет теперь наперекосяк. Офицеры и унтер-офицеры взяли на себя командование строительством, каждый норовил распорядиться по-своему. Они не знали, что делать дальше. Я-то видел только взрывы, а сколько еще глу-

постей было наделано. Даже фельдфебель, которому ручная работа в каменоломне казалась слишком медленной, вынужден был признать мою правоту. Взрывы превращали меловые глыбы в щебень и пыль. Теперь понадобится неделя, а то и больше, чтобы вновь привести каменоломню в рабочее состояние и добывать нормальные каменные блоки, конечно же, вручную, по моему методу. Все это мне пришлось выслушать, хотя у меня была температура, полное расстройство кишечника и я без конца бегал в туалет.

Дежурный врач приказал отвезти меня в расположенный неподалеку полевой лазарет вместе со всеми моими вещами, ранцем и винтовкой. Он подозревал у меня дизентерию. Лазарет располагался в одноэтажных казачьих домах с побеленными саманными стенами. Слегка наклонные дощатые крыши были покрыты плотным слоем глины толщиной в 20 см. На глине росла трава, защищавшая ее от пересыхания. Пол в домах был слегка влажный, гладко намазанный глиной. Наш дом состоял из одной большой комнаты с деревянными опорами, к которым крепились перегородки из досок, образующие как бы коридор посередине. По обеим его сторонам тянулся толстый настил из соломы, на которой лежали одеяла из грубой ткани. Это были наши «госпитальные кровати». Большинство солдат болело гепатитом, малярией или, как я, дизентерией. Раненых было мало. Надо отметить, что люди чаще умирали от заболеваний печени, чем от дизентерии. Мне было очень плохо, почти две недели я не мог есть и потерял много крови. Мой врач, доктор Дибольд, тоже из Линца, сказал, что не может обеспечить никакой щадящей диеты, не было даже сухариков из белого хлеба, ели только черный, который жарили на огне, сжигая верблюжий навоз за неимением иного топлива. Я становился все слабее и попросил врача дать мне просто нормальную пищу, хуже стать не могло. Мне дали то, что и всем: говядину с фасолью. Это произвело неожиданное действие. Понос и кровотечение тут же прекратились, у меня появился аппетит, я начал поправляться, встал на ноги. Вскоре меня выписали из лазарета с сопроводительным письмом о необходимости предоставления отпуска на родине.

К роте меня подвез грузовик, высадиться пришлось в трехстах метрах от наших бункеров, так как подъездной путь был еще не готов. Все мое имущество лежало у ног, я был слишком слаб, чтобы донести его в расположение роты. Я взял только оружие и сумку с патронами и с трудом дотащился до бункера. Со второго захода я принес с товарищем остальные вещи. Он рассказал мне, что происходило во время моего отсутствия.

Строительство очень замедлилось, дело почти не продвигалось, хотя работали с утра до вечера без перерыва, даже в темноте при свете керосиновых ламп. Стены, возведенные без меня, оказались слишком тонкими, а температура ночью достигала минус 15°, и они промерзали по ночам. Военнопленные умирали один за другим, их кладбище там внизу постоянно разрасталось. Командовал пленными неопытный берлинский лейтенант, которому исполнился всего 21 год. Под его началом они работали на пределе сил, а питались скудно. Пленные мерли, как мухи. Строительство гаража тоже почти не продвинулось.

Я сразу пошел к лейтенанту и стал упрекать его в плохой организации работы и в недопустимом отношении к пленным, которых он довел до истощения. Он утверждал, что они мало работают. Я ответил, что при таком питании, никто не сможет долго работать. «Если эти «готтентоты» не выдержат,— сказал он,— найдутся другие, сейчас русских пленных много». Я назвал его образ действий позорным и бесчеловечным и заявил, что с этого момента снова беру на себя порученное мне дело, в том числе и заботу о пленных. Этот лейтенант, кстати, умер ужасной смертью несколько недель спустя, точнее, в середине января 1943 года, когда русские отбросили нас от окраин в центр города, в наше последнее убежище. Как мне рассказали, он стоял на подножке автомашины и, размахивая руками, подавал команды своим людям. Его увидел экипаж наступающего русского танка, который метким выстрелом уничтожил его вместе с машиной и солдатами.

Мне удалось оживить строительные работы. Я распорядился снести слишком тонкие стены и подогревать воду для раствора. Стены возводили из хорошо обтесанных камней, с тонкими швами, успевая закончить ежедневную работу задолго до ночных холодов. Физически я был очень слаб, требовалась особая диета, я с нетерпением ждал обещанного отпуска, который вполне заслужил за двадцать месяцев войны, в том числе шестнадцать на фронте. Но для выздоравливающих после тяжелой дизентерии в роте необходимого питания не было. Со снабжением становилось все тяжелее. Однако пшено и гречка для русских пленных еще были, оставались и запасы махорки.

Вскоре поступил приказ об отпуске для десяти человек из роты. Я был первым претендентом на отпуск на основании врачебного заключения и по той причине, что за время войны я ни разу не пользовался отпуском. Но мои товарищи очень просили меня остаться до завершения строительства бункеров. У них были справедливые опасения, что если я уеду, строительство не будет закончено к сроку. Кое-кто доказывал,

что лучше ехать в отпуск в следующий раз и Рождество встретить дома, тем более что в декабре у меня день рождения. Итак, я остался. Вместо меня в отпуск поехал солдат из Ибса. Все тогдашние отпускники больше не вернулись в Россию. Они были направлены в Италию и, насколько я знаю, снова вернулись домой. Это решение стоило мне всех тягот окружения, четырех лет плена и более чем пятилетней разлуки с родиной. В течение трех лет и трех месяцев я считался пропавшим без вести, местный партийный фюрер объявил, что я покончил жизнь самоубийством, а коллеги по работе числили меня среди погибших. Всего этого я, конечно, не мог предположить, когда принимал решение остаться для завершения строительства. Я не знал также, как вел себя за моей спиной командир радиоточки, немецкий обер-вахмистр.

Бункеры были готовы к намеченному сроку. Строительство гаража и сауны заканчивалось. Все уже заняли свои бункеры, когда из своего долгого свадебного отпуска вернулся ротный командир. Он был поражен делом наших рук и даже не мог поверить, что для него построен отдельный бункер. Он сразу же поинтересовался размещением людей и, обойдя все строения, остался очень доволен.

Он незамедлительно начал готовить меня в унтер-офицеры. Я должен был заниматься строевой и боевой подготовкой и учиться командовать. Некоторые прусские команды как-то не ложились на язык, больше всех: «Смирно!». В Австрии еще со времен монархии подавали команду «Внимание!», а при повороте: «Кругом!» и т. д. Это не резало слух и понималось всеми разноплеменными солдатами монархии, даже если они не знали немецкого языка. Между тем пришли мои свидетельства о государственных экзаменах, которые жена выслала в оригинале. Она не успела сделать копии — ксерокса тогда не было — но заказала их на случай, если архив Технического университета разрушат во время войны. Однако особого подъема я не испытывал и не очень-то рвался в отпуск, будто предвидел беду.

Дела на фронте приняли неожиданный оборот. Становилось все холоднее, ведь был уже ноябрь, и наших лошадей отправили на зимовку на Украину. Объем радиосвязи все возрастал: информация сторожевых постов, самолетов-разведчиков, наши донесения в штаб командования армией. Поступали все новые сведения о передвижениях русских танков на другом берегу Дона и Волги. Издалека, со стороны Сталинграда, гремели взрывы, но город еще не попал в руки немцев. На\$ больше всего беспокоили русские танки на нашем левом фланге, где оборонялись румыны, от которых мы и узнали, что у них не было достаточного количества про-

тивотанкового* оружия и что там берег Дона был пологим. Река, конечно^, представляла собой серьезную преграду. Мы тоже ожидали противотанкового подкрепления артиллерии, но его все не было. Иногда прилетали пикирующие бомбардировщики, они сбрасывали там свои бомбы, но большого вреда не наносили.

И тем не менее возникало предчувствие ужасной беды. Правда, непосредственного нападения мы не опасались, так как наша дивизия оборонялась на высоком обрывистом берегу, имела солидный боевой опыт, а русские нас не беспокоили. Румыны находились совсем в других условиях. По всей видимости, немецкое командование им не доверяло и не давало оружия.

25 ноября мы приняли радиogramму: русские танки провались и пытаются окружить нас. Мы сразу, наперед, получили денежное довольствие и ждали приказа отступить на запад. Над нами постоянно летал наш самолет-разведчик и радировал на командный пункт о местонахождении русских танков и возрастании их числа. Берлинский лейтенант, который так постыдно обходился с «готтентотами», целый день торчал на радиоточке, не снимая наушников, и растерянно слушал передаваемые прямым текстом сообщения разведчика. Его нервы были на пределе.

Днем мы слушали новости, где и на какую глубину провались русские, а вечером на нашей радиоволне слушали наводящую ужас русскую пропаганду: «Сталинград — это смерть, никто не выйдет отсюда живым. Спасайтесь, переходите к нам, имея при себе сопроводительный листок, который мы постоянно сбрасываем на ваши позиции. Вы будете дружески приняты нами и не станете больше мерзнуть и страдать от голода, вы будете свободны, как и мы — те, кто перешел раньше вас».

Ночью, в двенадцать часов, мы слушали по белградскому радио песню «Лили Марлен» — «Перед казармой, у^больших ворот...», а затем, несмотря на запрет, ловили английскую станцию, передававшую новости на немецком языке. Нам сообщали о войне и положении на фронтах, о жизни дома, но ни слова — о преследованиях евреев, о концлагерях, о массовом уничтожении людей. Сегодня это кажется мне очень странным: либо англичане ничего не знали, хотя имели агентурную сеть, либо не считали факты существенными с военной точки зрения. Все происходившее вызывало у нас тревогу и дурные предчувствия. Наконец, по радио мы приняли п^Тйказ по 6-й армии, но не тот, которого ждали, а совсем другой: отступить не на запад, чтобы выйти из окружения, а на восток, к Сталинграду, и занять там круговую

оборону. Прорыв на запад мы считали более разумным, потому что русские вклинились пока только танками, которые из-за трудностей в снабжении горючим были недостаточно мобильны, а пехота еще не подросла.

Прошел слух, что командующий нашей армией слетал на самолете к Гитлеру и предложил план прорыва на запад, как наиболее правильный и разумный. Но Гитлер отклонил это предложение, заявив: «Оттуда, куда ступил сапог немецкого солдата, отступления быть не может. Солдатам нужны генералы, вселяющие уверенность, а не пораженчество». Мы упрекали Паулюса в том, что у него не хватило личного мужества противопоставить себя, военного специалиста, дилетанту, страдающему манией величия. Паулюс был всего лишь прусским военным и наверняка не читал «Майн Кампф». Он сдался в плен, и ему удалось вернуться домой. Русские обходились с ним так, как он этого заслуживал. Он пожертвовал нашими жизнями, не рискуя своей.

На восток мы должны были идти через Дон по мосту у Калача, отступив к Сталинграду, там окопаться и сидеть до тех пор пока, не будем освобождены резервной армией с Кавказа. Наши тяжелые орудия пришлось взорвать, потому что для них не было боеприпасов, как и не самые нужные грузовики — в целях экономии бензина. Снабжение якобы обеспечат по воздуху, самолетами Ю-52. Нас обещали «вызволить».

С тяжелым сердцем мы спешно покинули наши так хорошо оборудованные теплые бункеры и на автобусах с работающими станциями спустились по узкому крутому съезду вниз, к Дону, где примкнули к колонне перед мостом у Калача, приготовившись к переправе. Эту ночь я никогда не забуду. Внизу перекачивались темные волны, вдали вспышками взрывов озарялся Сталинград, земля содрогалась, как при раскатах грома, а вокруг царил нервная суета. Потом загрохотало совсем близко — начали взрывать наши тяжелые 220-миллиметровые орудия. Все это порождало ощущение незащитности. Если русские и в самом деле атакуют, нас можно взять голыми руками. Мы предчувствовали гибель нашей армии, да и всей гитлеровской Германии.

Я вдруг заметил, что мы стоим у мельницы. Я взял с собой несколько солдат посмотреть, нет ли там чего-нибудь съестного. Мы обнаружили 2 мешка ржаной муки, из которой выпекается русский черный хлеб, и несколько канистр с черноватой сладкой и вязкой жидкостью. Позднее мы узнали, что это была патока, остаток при производстве сахара. Все это мы захватили с собой. Но командир нашего отделения не разрешил перегружать автобус. Тогда мы нашли небольшой прицеп, загрузили его и присоединили к автобусу.

Насколько «правильно мы поступили, выяснилось позже, когда оскудели продовольственные запасы. При отходе на восток мы потеряли склады, отход происходил столь стремительно, а наши хозяйственники исполняли все с таким педантизмом, что даже не пытались очистить склады и распределить довольствие по войскам, а поспешили подготовить их к взрыву. Таким образом, наше продовольствие и наша зимняя одежда превратились в пепел. У нас же осталось только кое-что из обмундирования и буквально крохи съестного. Мы пытались успокоить себя тем, что нас обязательно выручат. Если же не удастся, то это будет началом конца захватнической войны, тем, что мы заслужили. Во время всего наступления на Сталинград мы не могли отогнать страшную мысль о том, что лишены фланговых прикрытий. Пытались утешиться надеждой, что все необходимое будут доставлять самолеты Ю-52, ведь до сих пор на них удавалось переправлять на родину больных и раненых. Вначале жизнь хоть как-то облегчали автобусы, которые до некоторой степени защищали нас от мороза, и горячее питание, пусть и минимальное, а также сушеные овощи и консервы. Мы не шли, а ехали, хотя машины продвигались по снегу очень медленно, но горячее подходило к концу. Поначалу русские не тревожили нас, не было воздушных налетов, и мы редко попадали под артобстрелы. Русские двинули все силы на запад. Первое время мы со своими машинами располагались в поле, затем перебазировались в ущелье, лессовую впадину двадцатиметровой глубины. Это единственное во всей округе ущелье реки Царицы, которое доходит до Волги, куда впадает эта река. Там мы оставались до 10 января 1943 года. Верхняя часть обрыва представляла собой почти вертикальную десятиметровую стену, переходящую в примерно пятиметровый склоц, образованный из выветрившегося лёсса, а дно напоминало желоб местами до десяти метров шириною. Здесь стояли тесным рядком наши машины. Некоторые из них, например, полевая кухня, примыкали к наиболее опасной стороне впадины. Но об этом не задумывались. Меня же это беспокоило, я предчувствовал беду. Я считал, что русские не оставят нас в покое, что нам нужно приготовиться к бомбежкам и артиллерийским ударам. К тому же становилось все холоднее, а жить приходилось в машинах. Надо было строить инженерные сооружения. Вспомнились лекции по геологии профессора Стинни, который объяснял, что лёсс очень воздухопроницаем и не так сыпуч. Я вспомнил, что и у нас, в Линце, многие винный погреба устроены в лёссе. Все это натолкнуло меня на мысль, что крутая стена из лёсса очень подходит для строительства пещеры для нашего

радиоотделения. Ее надо было вырыть в том откосе, со стороны которого следовало ждать огня, вход сделать не прямым, а зигзагообразным, чтобы не могли влететь осколки, а по высоте — до верхнего края лёссового щебня. В этом случае не только снаряды и мины, но и авиабомбы не смогут стать для нас угрозой. Необходимо было также учесть, что мы все время отправляли и принимали радиogramмы. Русские определенно запеленговали все наши действующие радиостанции.

Мне удалось убедить своих товарищей в необходимости строительства жилой пещеры. Однако для такой утомительной работы наше питание уже было недостаточным. Вот тут-то и пригодились два мешка ржаной муки и канистра со сладкой патокой. Вначале у нас еще не было опыта использования ржаной муки, кроме как для каши. Затем один из товарищей, отправляя нужду, нашел в старой газете «Кроненцайтунг» статью, в которой рассказывалось, как из муки готовить разную выпечку. К Рождеству мы даже испекли кексы, подсластив их патокой, из-за чего они стали еще чернее и вкуснее.

Мы сразу приступили к строительству, стали рыть низкие проходы, расширив их затем до большой пещеры с полусферическим потолком, получилось помещение 5х5 м и трехметровой высоты. Вдоль стен внизу сделали скамьи шириной около метра для сидения и ночлега. Работа продвигалась сравнительно быстро, поскольку лёсс был немного влажным и легко выгребался. Вскоре мы закончили работу и въехали в пещеру. Наш командир не вмешивался в работу, только несколько раз упрекнул нас в трусости, так как нас подгонял страх.

Тем временем постоянно шли радиogramмы из резервной армии, идущей к нам на выручку с Кавказского фронта. У нас установилась даже непосредственная связь по радио с ее головным отрядом, который был уже в 30 км от нас. Затем армия остановилась, вернее, ее остановили русские. Они сняли с нашего фронта почти всю артиллерию и танки и направили против резервной армии. Против нас осталось только несколько установок сталинских «Катюш», «сталинских органов», которые все время давали о себе знать. Это были небольшие ракеты на рельсовой раме, они выпускались одна за другой. Они были не очень опасны, когда вели огонь по отдельности, поскольку разброс снарядов не превышал 150 м. После попадания первых ракет надо было укрыться и считать выстрелы, потому что количество ракет было всегда одинаковым, а для установки нового боезаряда требовалось время. Разумеется, огонь нескольких таких установок доставлял большие неприятности.

На нашем участке русские имели только один «сталинский орган», время от времени он давал о себе знать. После нашего отхода с хорошо оборудованных позиций мы лишились многих удобств, и возникла проблема со стиркой. Я решил хотя бы прополаскивать свое белье у колодца, находившегося в полукилометре от нашего ущелья на открытой местности. Территория, где мы располагались, обстреливалась «сталинским органом», а мороз иногда достигал 25° ниже нуля и, конечно, заниматься стиркой было рискованно. Мои товарищи отговаривали меня, считая, что из-за мороза ничего не получится. Я обещал им доказать обратное, взял свое ведро с замоченным бельем и, надев теплые вязаные перчатки, осторожно пошел к колодцу. Там я надел еще и резиновые перчатки и погрузил белье в воду. Ткань и резиновые перчатки хрустели от мороза. Но белье быстро оттаивало от тепловатой воды, которую приходилось доставать с десятиметровой глубины деревянной бадьей при помощи ворота. Я быстро полоскал и тут же выкручивал белье по несколько раз.

Колодец был единственным источником воды на большой территории. Сюда беспрерывно приходили солдаты из других воинских частей. И вдруг я увидел до боли знакомое лицо. Передо мной стоял родной брат Петер, который был младше меня на 8 лет и перед войной начал изучать медицину. Сначала мы не помнили себя от радости, а потом как-то сникли, осознав ситуацию нашей встречи. Я знал только, что он был призван в армию немного раньше меня и благодаря высокому росту попал в гвардию, охранявшую главный штаб немецких войск в Югославии, а потом его куда-то перевели. Он сказал, что ему разрешат продолжать учебу лишь после того, как он побывает на фронте. Служба в охране не засчитывалась и не давала права на продолжение учебы. Почти одновременно со мной он был послан на войну в Россию в качестве унтер-офицера медицинской службы. Наши пути проходили почти рядом, он находился в 297-й, а я в 44-й дивизии. Его дивизия поддерживала непрерывную радиосвязь с нашей через нашу радиостанцию, а мы ничего друг о друге не знали. Наши родственники знали только его почтовый номер, но не знали местопребывания. В отпуске он тоже не был. Мои домашние всегда знали о моем местонахождении, потому что я с женой договорился о коде, при помощи которого всегда информировал ее о географической широте и долготе и названии местности. Поскольку наша фронтовая почта проходила строгую цензуру, писать открытым текстом было бесполезно, все вычеркивалось или замазывалось черной краской. О моем коде никто не догадывал-

ся, хотя он был очень простым. Мы поговорили о положении на фронте. Мой брат рассказал, что командир их дивизии улетел самолетом, якобы формировать новую дивизию. Сам он не знает, что станет с ним и с остатками 297-й дивизии. Я видел, что Петер - в глубокой депрессии, и пытался как-то ободрить его. Но тут вдруг заиграл «сталинский орган», о котором мы почти забыли, разрывы снарядов все больше приближались к нам, нужно было срочно уходить в укрытие. Мы успели лишь пообещать друг другу почаще встречаться и поддерживать связь по радио. Но судьба распорядилась иначе. Мы больше так и не увиделись. Уже находясь в плену, я случайно встретил солдата из разбитой 297-й пехотной дивизии, который воевал вместе с братом во время прорыва русских у Бабурино 10 января 1943 года. Сам солдат участвовал в ближнем бою и был пленен русскими. Мой брат, по его словам, скорее всего погиб. Мать, узнав по моем возвращении из плена о вероятной смерти Петера, не хотела этому верить вплоть до самой своей смерти, а умерла она, когда ей было за девяносто. Кстати, той же военной зимой ей сообщили, что пропал без вести наш самый младший брат, призванный в армию и тоже ставший радистом в частях, дислоцированных у озера Ильмень. Это было очень тяжелое время для нашей матери, очень любившей всех шестерых детей, хотя мы доставляли ей много хлопот. Трудно даже представить, как она мучилась, когда узнала той зимой, что три ее сына пропали без вести на фронте.

Хочу добавить, что солдат, который сообщил мне о гибели брата Петера, был санитаром при нем и вскоре умер в лагере для военнопленных от ангины, истощения и депрессии. У многих пленных депрессия парализовала их стремление к выживанию. Циничным безразличием к человеку, моральным преступлением мы считали тот факт, что наше военное руководство ничего не делало, чтобы научить своих солдат умению выживать в критической ситуации. Нас учили только наступать и побеждать, а в безвыходном положении повелевалось умереть, покончить с собой, но ни в коем случае не сдаваться в плен, ибо так приказывал фанатичный, кликушествовавший фюрер, схоронившийся вдали от выстрелов в своем безопасном бункере. Его принцип гласил: «Там, куда ступил сапог немецкого солдата, нет места никому другому!» Я, как и многие австрийцы, видел в этом завиральную идею одержимого манией величия безумца.

Я никогда не одобрял решения спорных вопросов военными средствами и повторения мировой бойни. Вторая мировая война произошла по вине отвергнутого нашими отцами «австрийца», который отказался от военной службы в

Австрии, но 'ощущал себя «истинным немцем» и стал «фюрером» Германии, потому что нашел там достаточное количество единомышленников. Моя задача на войне заключалась в том, чтобы выжить, но не за счет других, мои надежды были связаны с нашим поражением. Я не принимал всерьез военной присяги, которая навязывалась силой и угрозами. Я безмолствовал в хоре присягающих и никогда не считал себя связанным присягой. Мы, австрийцы, стали жертвами оккупации. Какой можно было ожидать от нас верности, если нам не разрешали даже эмигрировать и отказывали в оформлении паспорта?

События быстро сменяли друг друга, страшный конец немумолимо приближался. Приходили все более печальные известия о резервной армии. Ее положение становилось все хуже. Она пятилась и несла потери из-за ожесточенного сопротивления русских, которые бросили против нее крупные силы. Наступило безнадежное и далеко не веселое Рождество. Единственной праздничной роскошью были черные кексы из ржаной муки с патокой. С питанием дело обстояло совсем плохо, так как снабжение по воздуху было затруднено из-за налетов русской авиации на аэродром. Иногда нам бросали «продовольственные бомбы», которые не всегда попадали туда, где в них больше всего нуждались. Они доставались тем частям, на чей участок падали. Получалось так, что в отдельных подразделениях не было особого недостатка в продуктах и там привычно праздновали Рождество. Были даже подразделения, которым не пришлось взрывать свои продовольственные склады. Наши же, западные части, отходя по приказу через Дон на восток, потеряли свои склады и ничего не получили от тамошних частей. Особенно ощущалась нехватка мяса. Но мы нашли способ помочь самим себе. В поле перед русскими позициями виднелись какие-то заснеженные бугорки. Мы решили, что это — занесенные снегом трупы лошадей. Дождавшись затишья, мы скрытно подползли к одному из бугров и на самом деле нашли там убитую лошадь. Мы отрубили кусок конины и быстро поползли обратно. Потом размораживали добычу в кипящей воде, пропускали через мясорубку, лепили «кёнигсбергские биточки» и варили их в кипятке. От чего сдохла лошадь, мы не задумывались, вероятно, от осколка снаряда. Это был праздничный, Рождественский обед, как оказалось, безопасный для здоровья. На кухне нам предложили только сухие овощи.

Была и такая проблема. В наших автобусах почти не оставалось горючего. Если бы по какой-либо причине нам пришлось сняться с места, то уехали бы мы недалеко. Тут проявились «организаторские способности» нашего берлинского

лейтенанта. Он каким-то образом узнал, что ранним утром следующего дня в ближней, хотя и чужой, части будут выдавать горючее, конечно, только для своих. Он приказал мне взять с собой две пустые канистры и пойти с ним. Мы затесались в очередь. Лейтенант все время стоял рядом со мной, а когда подошел наш черед, стал сам заполнять наши канистры. Солдаты не смели помешать офицеру. Понятно, что он нервничал, и струя из шланга угодила в мои сапоги, пальцы обеих ног намокли. Они почти сразу же замерзли и потеряли чувствительность, так как мороз был под 30°. Я тут же сказал, что мне нужно немедленно согреть ноги иначе будет тяжелое обморожение. Он крикнул: «Убирайся! Плевал я на твои ноги! Тащи бензин в роту!». На негнущихся, онемевших ногах я пошел с бензином к нашим позициям. Я забрался в машину с радиостанцией. Там, в тепле, пальцы ног оттаяли. У меня начались адские боли, один за другим сходили ногти на всех десяти пальцах, вздувались большие пузыри. Это было обморожение 2-й степени. Санитар снял ногти и обрезал ножницами кожу вокруг пальцев. Больно не было, так как кожа уже отмерла и утратила чувствительность. Затем на пальцы наложили толстые повязки, и я, конечно, уже мог надеть сапоги. Вскоре началось нагноение. Командир роты отдал приказ, согласно которому я как больной, должен оставаться в машине с радиостанцией и освобожден от всякой иной службы. Это было не только особой любезностью, но и большой поблажкой, так как обморожение ног уже не являлось причиной для освобождения от караульной службы, поскольку обморожение из-за нехватки одежды стало повседневным явлением.

Настало 10 января 1943 года. Русские уже отбросили резервную армию. Теперь они собрали все силы, чтобы покончить с нашей армией. В мгновение ока потеряли мы последний аэродром. Происходили жуткие сцены. Как раз в то время, когда в Ю-52, двигатели которых уже работали, погружали раненых и больных, к взлетной полосе прорвались русские солдаты. Самолеты пошли на взлет, экипажи не считались с людьми, которые хватались за шасси и другие выступающие части самолета, лишь бы улететь. Спустя какое-то время, совершенно окоченев, они падали на землю.

Утром 10 января на наш участок обрушился сильный артиллерийский огонь. Русские стреляли из всех калибров орудий почти всю первую половину дня. Мы сидели в нашей пещере, имея над собой многометровый слой лёсса. Мы слышали разрывы снарядов и мин, но почти ни Крупицы породы не упало на нас со сводчатого потолка. Наш командир подтрунивал над нашей трусостью, потому что мы не осмелива-

лись выходит[^] из пещеры к автобусу с радиостанцией. Он показал свою /«храбрость» и вышел. Рядом с ним взорвался снаряд. Один задел командира. На его счастье осколок лишь разорвал галифе выше колена. Капитан вернулся с бледным лицом и больше не говорил о трусости. Но взрыв оказался не так безобиден. Один осколок попал в лоб старшему повару. Тот сразу погиб. Пострадала и часть техники. Тотчас после этого поступило известие, что сбоку от нас прорвались русские. Мы сразу получили приказ сниматься и отходить в город. Вечером мы уже подошли к окраине города. Мне повезло: из-за обмороженных ног я ехал на передвижной радиостанции. Но в окно я видел, как слева и справа солдаты в изнеможении падали в глубокий снег, они не могли идти дальше и оставались лежать. Помощи больше не было. Армия распалась.

Ночь мы провели в автобусе связи. Над нами пролетел русский самолет, сбросив несколько бомб. Осколки прошили радиостанцию, несколько из них задели мне плечо, а один ударил в лобную кость, но, вероятно, плашмя и на излете. Видимо, я родился под счастливой звездой. Я сам извлек осколки и продезинфицировал легкие раны. На следующий день русские танки подошли к нам совсем близко и открыли огонь по машинам. У нас были большие потери в людях и технике. Как я уже упоминал, нашего лейтенанта-берлинца тоже разорвал танковый снаряд. Для нашей части это было последним сражением.

Ужасные сцены

Мы лежали в бараке почти без всякой надежды получить хоть какую-то пищу. Однако утром, скорее всего, это было 24 февраля, поступило сообщение, что мы должны приготовиться к приему пищи. Эта новость нас воодушевила и мы, полные надежды, в течение многих часов ждали команды, пока не сморил сон. Только поздно ночью пришло распоряжение, чтобы мы послали на кухню — одного от каждых десяти человек, с пятью котелками, каждый котелок рассчитан на двоих. Такой порядок сохранялся в этом лагере и позднее. Мы быстро отправили наших людей на кухню. Была темная ночь, только кухня достаточно освещалась, да кое-где — дорога, чтобы можно было дойти, особо не спотыкаясь. По бокам от дороги в закоулках между бараками стояла сплошная темнота. Получив пищу, наши* люди поспешили обратно к барaku, неся в обеих руках полные котелки с едой. Неожиданно на них напали вынырнувшие из темноты люди

(вероятно, это были румынские цыгане) и попытались отобрать еду. Наши отбивались, при этом часть еды пропала. Они стали звать на помощь. Несколько человек, еще достаточно крепких, выбежали из барака, захватив с собой деревянные дубинки, они прогнали грабителей, и мы впервые получили горячую пищу — по половине литра перловой каши, которую ели с благоговением. На кухне сказали, что теперь все будет регулярно получать пищу. Однако точного времени кормежки не было, иногда ее ждали весь день, так что регулярность была относительной - 2 раза в 3 дня. С доставщиками еды теперь посылали сопровождающую команду с дубинками, даже днем, чтобы уберечь от грабителей и не растерять в сутолоке драгоценную снедь.

Как уже упоминалось, у меня были великолепные швейцарские часы, которые мне удалось сохранить во время личного досмотра при взятии в плен. Я гордился ими, как единственным своим имуществом, регулярно тайком заводил их и не хотел ни за что расставаться с ними, хотя знал, что охранники интересовались хорошими часами, поскольку часы русского производства были низкого качества и слишком дорого стоили. Я берег часы, потому что собирался совершить побег, а их можно использовать как компас. Этому я научился у бойскаутов. Чтобы определить, где юг, нужно положить часы горизонтально и часовую стрелку направить на солнце, тогда срединная линия между часовой стрелкой и цифрой 12 покажет направление на юг. Большой точности это не гарантировало, но и таким способом я мог бы сориентировать свою карту России.

Мои раздумья неожиданно прервались. Меня разыскал какой-то упитанный немец в форме. Оказалось, он знает, что у меня есть очень хорошие швейцарские часы. Откуда, не сообщил. Далее он перешел к делу: есть один русский офицер в большом чине, он ищет такие часы и мог бы хорошо заплатить хлебом и другими продуктами. Немец попросил показать часы и назвать цену. Русский офицер, по его словам, человек честный и надежный, можно не сомневаться, что он выполнит уговор и не отберет часы силой. Я показал часы, немец остался доволен. Затем он пришел с русским офицером, который произвел приятное впечатление, и я согласился на обмен, потребовав 10 кг хлеба и полкило сахара. Для меня это было куда как много, потому что от длительного голодания я совсем обессилел. Для часов высшего качества цена, как я потом узнал, самая подходящая. Мы договорились, что он может прийти во второй половине дня в 4 часа. Я обдумал свои действия и заключил, что при таких обстоятельствах не могу поступить по-другому, потому что при

следующем обыске часы у меня могут отобрать, а так хоть хлеб получу, в котором очень нуждался.

Правильность решения скоро подтвердилась. Как только немецкий переводчик и русский офицер ушли восвояси, явился другой русский, которого интересовали часы. Этот не понравился мне, произвел впечатление жесткого, не вызывающего доверия человека. На голове у него был остроконечный шлем, как у императора Вильгельма в свое время, и держался он как большой начальник. Я сердцем чувствовал, что его следовало опасаться: он может просто отнять часы, а вместо хлеба дать мне пинка. Я не сказал, что уже обещал вещь другому, и назначил более высокую цену. Он обещал все принести, и мы договорились встретиться в 5 часов во второй половине следующего дня.

Мне пришлось поволноваться: надо было вовремя совершить обмен и быстро исчезнуть из барака до прихода второго русского. Первый русский пришел вовремя, принес 10 килограммовых караваев хлеба, но, к сожалению, без сахара, которого он достать не смог. Я отдал часы, хотя сделать это мне было нелегко.

Теперь я имел много хлеба, но не знал, куда его спрятать. Тут Лойслей из Граца предложил набить им свой авиационный рюкзак и использовать как подушку. Он не ходил на построения из-за слабости, а в его честности и преданности я не сомневался. Сам он не взял бы даже маленького кусочка. Разумеется, я всякий раз делился с ним, но всегда приходилось настаивать, чтобы он взял кусок. Он говорил, что хлеб — плата за мои часы и хлеб поможет мне вернуться домой, что он знает цену хлебу и никогда не сможет отблагодарить меня за него. Я обещал когда-нибудь прийти к нему в гости на кофе с ореховым кексом. Это было тогда для нас пределом мечтаний.

А пока меня волновали другие вещи. Я не знал, как лучше поступить со вторым претендентом на мои часы, которому я не доверял, но не смел отказать, это могло обернуться неприятностями. А встретиться мы договорились через час. Нужно было немедленно скрыться в другом бараке и находиться там несколько часов, что я и сделал. Как мне потом сказали, русский приходил с несколькими караваями хлеба, но их было гораздо меньше, чем он обещал. Узнав, что я уже продал часы другому офицеру и больше не живу в этом бараке, русский просто взбесился. Вернулся я уже с наступлением темноты и в первый раз отведал драгоценной снеди, конечно же, вместе с ее хранителем Лойслем и незаметно для остальных. Хлеб укрепил меня не только физически, хотя мне было ясно, что этого запаса надолго не хватит.

Спасал ли он от настоящего голода? Возможно, и спасал в первые недели, вернее дни, а потом мы были вынуждены очень экономно расходовать силы. Приходилось жить за счет ранее накопленных калорий, за счет остатков жирового запаса. У меня он был весьма скудный, так как в плен я попал, еще не оправившись от тяжелой дизентерии. Потребность в белках, особенно для сердечной деятельности, кое-как удовлетворялась за счет мышц. Интересно, что толстые люди были менее выносливы, чем нормальные или худые. Мы постепенно тощали. Нормальное кровообращение требовало ежедневного движения, но тут надо было соблюдать меру, чтобы не тратилось слишком много калорий.

На следующий день, когда мы, как обычно, сидели в полудремотном состоянии, унтер-офицер Пфлегер, которому я как-то изготовил футляр для фотоаппарата, сказал мне: «Не торчать бы тебе сейчас в этом грязном бараке, если бы тебя не предал этот подлец, этот Иуда!». И он показал рукой на моего прежнего командира радиостанции. Для меня это явилось полной неожиданностью, я сперва не понял его и ответил, что русские так или иначе окружили бы нас, брошенных на произвол судьбы нашим командованием, и мы все равно оказались бы в плену. Многих из наших уже нет в живых. Пфлегер согласился со мной, но сказал, что у меня особый случай: я мог бы пойти в отпуск, если бы не уступил свою очередь другому и не остался, чтобы закончить строительство бункера для зимовки. «Я мог бы уехать домой на Рождество, но мне просто не повезло», — ответил я. Он сказал, что сомневается, правильно ли я поступил, если бы знал, что этот негодяй меня предал и из малодушия дал худой отзыв обо мне. Командир роты хотел сделать меня командиром отделения радиосвязи, а затем послать в инженерную офицерскую школу. Для этого надо было знать мнение командира радиоточки о том, готов ли я руководить работой на ней. Вот тогда тот тип и сделал мне пакость. Поэтому направление меня в инженерную школу постоянно откладывалось. Он сделал это из шкурнических соображений и неприязни ко мне, так как знал, что командир роты его не выносит и при первом удобном случае отправит радистом в пехотное подразделение. Этого он опасался больше всего, потому что там пришлось бы понюхать пороху. Как и многие кадровые военные, он был трусом и жил по принципу: «Быть солдатом хорошо, но только в казарме, а на фронт — лучше не соваться».

Все взоры были обращены на нашего бывшего командира отделения. Сначала он побелел, как покойник, затем покраснел, попытался что-то сказать, наверное, оправдаться, но не смог. Он только трясся, видя всеобщее негодование. Вероят-

но, совесть все же проняла его. Он впал в состояние шока, опустился на колени в углу барака и начал молиться, не замечая никого вокруг. Затем разделся, сделал под себя и лег в собственные нечистоты.

На следующий день пришли русские из состава руководства лагеря и потребовали, чтобы здоровые перебрались в другой барак, а больные остались здесь. Санитары должны их отправить в лазарет. Нам же вход в барак воспрещался. Такие переселения происходили часто, русские стремились избежать эпидемий, и это им удавалось, хотя контингент все равно уменьшался, почти ежедневно кто-нибудь умирал.

Через некоторое время знакомый санитар, чистивший наш прежний барак, рассказал мне, что в углу нашли совершенно голого мертвеца, лежавшего в собственных нечистотах. Его ужасная смерть преследовала меня во сне в течении многих лет. Хотя мы не любили друг друга, я никогда не желал ему плохого. В 1946 году, по возвращении домой, я известил о смерти его родственников. Ко мне пришли его отец и мать, простые старые люди, они хотели узнать подробности смерти и захоронения. Естественно, я не сказал им всю правду, хотелось хоть как-то успокоить их. Покойников в лагере закапывали только тогда, когда уже появлялся запах, и делали это не из пиетета, а по санитарно-гигиеническим требованиям.

В школе я запомнил латинские слова — «*Duke et decorum est pro patria mori!*»), но кроме этого патриотического призыва, запомнилось и прощальное напутствие спартанских женщин, провожавших своих мужей на войну: «Возвращайся со щитом как победитель или мертвым на щите, но никогда не возвращайся без него!» Имелось в виду то, что при бегстве тяжелый щит обычно бросали. Мы же были для правящего режима нашей страны пораженцами, отказавшимися убить самих себя, как этого ожидали от нас нацистские партийные стратеги. Для русских же мы были лишними ртами, так как у них самих не хватало еды. Однако вскоре они начали понимать, что мы можем работать, тем более, что среди нас имеется много нужных в России специалистов и, в сущности, было бы непозволительным расточительством не использовать их, а позволять сидеть без работы в ожидании смерти. Прошло время, пока у нас не появились реальные шансы остаться в живых.

В нашем вновь занятом бараке люди продолжали умирать, ведь питание было минимальным. Иногда, проснувшись утром, я обнаруживал ^ядом с собой мертвеца или сразу двух. Это были люди, с которыми я еще вечером разговаривал и единственное, чем они страдали это — голод. У них начинался понос, и они умирали.

В нашем бараке жил высокий мосластый немец, в прошлом якобы коммунист, пострадавший при гитлеровском режиме и неоднократно сидевший за убеждения. Его призвали в армию и признали годным к строевой службе, хотя у него было и осталось до сих пор гнойное воспаление уха. Здесь, в плену, русские не признали его коммунистом, сочтя изменником, потому что он воевал в гитлеровской армии. Если бы он был настоящим коммунистом, сказали ему, то ушел бы в партизаны и воевал бы против фашистов. Этого он никак не мог перенести, надломился психически и стал быстро терять силы. Однажды он тихо зашел: «Братья — к солнцу, к свободе! Братья, вы видите свет? Над прошлым уже восходит солнце грядущих лет!» Голос его постепенно становился все громче и сильнее, потом начал слабеть, прерываться и смолк совсем. Больше он не шевелился. Он умер.

Рядом со мной лежал молодой парень из Ульма, ему было всего девятнадцать лет. Он соорудил себе из досок подобие гроба и сказал мне, что это его смертное ложе.

Он лег в этот ящик и не хотел больше вставать. Это предвещало быструю смерть. Я внушал ему, что он молод и должен пожалеть хотя бы родителей, что надо собрать все силы, чтобы пережить это тяжелое время. Но он не хотел меня слушать и продолжал лежать. Тогда, вооружась палкой, я насильно поднимал его на ноги. В конце концов он образумился и оставил свое «смертное ложе». Потом его перевели в другой лагерь, и значительно позже я случайно узнал, что тот паренек выжил, он здоров и настроен на возвращение домой. Это известие меня очень обрадовало.

Наш лагерь находился вблизи газового завода у подножья гряды холмов. Почти каждый день припекало солнце, и снег стал таять. В конце марта весна вступила в свои права. Однажды мы услышали со стороны холмов знакомый грохот, казалось, фронт опять приближается. Над нами даже пролетел немецкий самолет, сбросив несколько бомб. Мы не знали, что происходит, появилась слабая надежда на освобождение. Грохот продолжался не один день. Потом мы узнали, в чем дело. Среди нас подбирали добровольцев для захоронения покойников. За эту работу русские им обещали по полкотелка немудреного супа. Для ослабевших это была тяжелая работа, о чем я предупредил товарищей, но голод заставлял многих соглашаться. Некоторые из них вечером не вернулись в барак. Работа эта требовала много сил, которых у людей уже не было. Умерших хоронили тут же. Выяснилось, что на холме близ Котлубани русские саперы производили взрывы, оставлявшие глубокие воронки, в которые мы свозили штабеля трупов из нашего лагеря, так как становилось

все теплее, *трупы* начали разлагаться и тлетворный запах усиливался. Несколько недель спустя мне представилась возможность увидеть эти воронки. Но об этом позже.

Антисанитария превращалась в новую серьезную проблему. Мы имели только бельё и форменную одежду. У нас не было мыла, да и вообще возможности мыться. Жили все вместе и в тесном помещении. Питьевую воду вынуждены были получать из снега, что требовало немало сил и топлива. Поэтому вода была слишком драгоценна, чтобы использовать ее для стирки и мытья. У нас появились вши и соответственно — расчески, и не было средств борьбы с паразитами.

Но вот пришла и настоящая беда, которой мы опасались еще раньше. У меня вдруг резко повысилась температура, на теле выступила сыпь. Сыпной тиф — довольно обычная в России эпидемия, особенно в военное время. В армии нам не делали прививки от этой болезни, только немногие прошли вакцинацию. До плена нам лишь запрещали посещать русские дома и особенно ночевать в них. Это строго соблюдалось при наступлении, почти не соблюдалось при отступлении к Сталинграду и совсем не соблюдалось в плену. Две недели я пролежал с температурой выше 40° — у нас сохранился термометр, и мы могли измерять температуру. Большую часть времени я метался в бреду. Медицинского обслуживания не было. Единственный, кто ухаживал за мной — верная душа, мой друг Лойсль из Граца, он сохранял мой хлеб и заботился о том, чтобы, приходя в сознание, я съедал хотя бы кусочек. Еда казалась мне противной, но каждый раз Лойсль давал хлеб в разных формах: то свежим, то подсушенным, то в виде похлебки. Он старался делать все, чтобы я не обессилел окончательно. Его я тоже заставлял поест, ибо он скорее умер бы, чем взял бы кусочек хлеба без моего ведома. Он ухаживал за мной, не боясь заразиться тифом. Надо отметить, что никто не отнимал у нас хлеб и все уважали мою собственность. Только однажды, когда Лойсль положил рядом с собой горбушку и на миг отвернулся, она мгновенно исчезла, ее просто украли.

С кухни в это время стала реже поступать пища, самое большее, на что можно было рассчитывать, это — весьма негустой суп. Потихоньку температура у меня стала снижаться, и я мало-помалу приходил в себя. Кризис миновал. Я опять почувствовал зуд от укусов вшей и с испугом увидел, что кожа сплошь покрыта красными пятнами, а когда я гладил ее рукой, то казалось, что она покрыта крупным песком, словно я лежал на морском пляже, на самом деле она была обсыпана вшами и гнидами. У меня был взятый еще из дома темно-синий свитер, который связала мне жена. Он

был полон вшей и даже изменил цвет. Я был в отчаянии, потому что не знал, каким способом избавиться от насекомых. Знакомый врач посоветовал снять белье и свитер и на одну неделю повесить их на стену, тогда вши и гниды погибнут от холода и недостатка пищи. Я последовал его совету, и через неделю на пол напало столько мертвых насекомых, что их можно было собирать ложкой, но несмотря на это свитер все еще сохранял «крапинку» из-за множества застрявших в ткани мертвых насекомых. Я, конечно, стряхивал их, но уже не мог себе представить, что когда-нибудь наступит жизнь без вшей. Однако такая жизнь наступила, и даже в плену, правда, не скоро, через несколько месяцев.

Когда я первый раз встал на ноги, меня шатало от слабости, но воля к жизни не была сломлена. В голове шумело, словно я находился рядом с большим водопадом, по телу все время пробегал озноб, дрожали руки и ноги. Кроме того, к моему ужасу, я не мог написать ни одной буквы, выполнить элементарные арифметические действия, не говоря уже о решении простейшей задачи. А ведь математика была когда-то моей специальностью. Полный тревоги, я посоветовался с врачом нашего лагеря. Он обследовал меня и сказал, что от длительного голода сердце стало слабым, как у маленького ребенка, но оно здоровое. Я не должен слишком утомляться и наносить себе вред, но надо постепенно укреплять организм очень осторожной тренировкой. Другие симптомы опасений не внушают, после сыпного тифа это обычное состояние. Мозг постепенно обретет прежнюю работоспособность, нужно только будет постоянно его тренировать. Для этого как раз очень подходит математика. Я последовал его рекомендациям. Позже у меня появился еще один товарищ, профессор математики, мы с наслаждением вспоминали высшую математику. Подставкой для письма служил железный лист от ржавой двери уборной.

Во время моей болезни весеннее солнце растопило весь снег, и земля покрылась нежной зеленью — травой и степными растениями, которых мы раньше не знали. Это была восхитительная южная растительность. По всей территории лагеря можно было видеть пленных, сидящих на корточках и собирающих молодую зелень, она еще не подросла, и требовалось несколько часов, чтобы набрать полную кружку. Нам казалось, что в качестве пищи она действует благотворно, хотя вкусной ее не назовешь. Тут русские обнаружили наше странное занятие и запретили собирать зелень, опасаясь, что мы заболеем. Запрет строго соблюдался. Но произошло нечто противоположное тому, чего они хотели. Смертность не уменьшалась, а быстро росла. При этом отмечалась характер-

ная опухлость, «голодная» отечность. Тогда русские признали, что ошиблись, и создали из пленных специальные команды, которые под присмотром, даже вне лагеря, собирали молодую зелень не только для себя, но и для других. Состояние здоровья у нас опять стало улучшаться. Умирили уже не от недостатка витаминов, а только от голода. Питание ведь попрежнему было недостаточным. Руководство лагеря и русские врачи стремились к тому, чтобы пленные больше не умирали, потому что мы были для них важным резервом рабочей силы с нужными им специалистами. Но им приходилось преодолевать очень большие трудности, необходимо было накормить не только нас, но и собственное голодающее население.

Русские пытались вновь осуществить некоторые санитарные мероприятия. Руководителем каждого барака назначили одного из пленных немецких врачей. Они должны были заботиться о чистоте и порядке, о заболевших, о распределении еды и вывозе мертвых. Им поручалось ежедневно сообщать количество требуемых порций баланды. Умерших, конечно, числили едоками до момента захоронения. А умирали днем и ночью в каждом бараке. Но врачи голодали наряду со всеми.

Однако, поскольку они были как бы начальниками, то имели некоторое преимущество. Они отвечали за вывоз и захоронение трупов, но после каждого умершего оставалось кое-что из вещей. Изредка попадались золотые или платиновые кольца, некоторые даже — с бриллиантами. По слухам, врачи брали это себе, чтобы обменять на еду и курево. Его отсутствие было для курящих, наверное, самой тяжелой проблемой. За него отдавали самые ценные вещи. Все это переходило из рук в руки, как и мои швейцарские часы. Правда, наши немецкие врачи утверждали, что русские обязали собирать и сдавать на склад все ценные вещи покойников. Это было вполне вероятно, но никто врачам не верил, хотя, может быть, они говорили правду или полуправду.

От снега и талой воды не осталось и следа. Днем из-за сильного тепла увеличивалась потребность в питьевой воде, а доставать ее становилось все труднее, потому что водопровода не было. Воду привозили с Волги в больших бочках на телегах, в которые запрягали верблюдов. Я не поверил своим глазам, когда впервые в жизни увидел лохматого светлокоричневого верблюда, волокущего телегу. Вначале я услышал своеобразный, как бы детский крик, и подумал, что это кричит грудной ребенок. Откуда он здесь? И вдруг я увидел кричащего верблюда. Волжская вода была немного зеленоватой по цвету и солоноватой на вкус, и ее, естественно, нельзя было пить некипяченой. Врачи постоянно твердили, что воду надо кипятить, но при недостатке топлива это было

почти неосуществимо. Теперь несколько слов о санитарных, вернее, антисанитарных условиях в бараках. По приглашению товарищей и по собственной инициативе я посетил несколько барачков, и всегда первым делом я широко распахивал в них двери и окна, чтобы проветрить помещение и наполнить его светом, а потом уж беседовал с пленными. Они всегда радовались моему приходу, говорили, что я приношу им солнце и надежду. Поначалу они с апатичным видом лежали на своих нарах, но потом благодарно принимали воду, которую я им приносил, предупреждая, что ее можно использовать только для мытья, а если пить, то лишь кипяченой. Однако только единицы утруждали себя кипячением. Мне рассказали, что среди пленных немало таких, кто свою посуду использовал поочередно как для еды, так и в качестве ночного горшка, даже не помыв ее. Они говорили, что как ни старайся, все равно один конец. Многие из них сами себе укорачивали жизнь, хотя знали, что непосредственной причиной смерти чаще бывает не голод, а почти всегда сильный понос. Известно ведь, что и пожилые люди умирают не от старческой слабости, а чаще всего — от заболевания, которое их организм не может преодолеть.

Каждый день у нас умирали товарищи, и для их погребения назначались специальные команды, которые грузили трупы на машины, а затем везли их к холмам у Бекетовки, чтобы там похоронить. Однажды, в конце апреля 1943 года, меня тоже послали на погрузку трупов. В открытую грузовую автомашину мы уложили около тридцати догола раздетых мертвецов, которых сверху закрыли брезентом. Сами мы сели у заднего борта на край брезента и свесили ноги. Потом мы проехали через ворота лагеря и двинулись через Бекетовку на вершину холма. На улице было много людей. От ветра приезде часть брезента откинулась, и трупы лежали открытыми. Увидев это, местные жители с криками в ужасе бросились врассыпную. Наконец мы добрались до холмов. Там я увидел громадную яму длиной около 50, шириной примерно 10 и глубиной до 4 метров. Вынутая земля была насыпана вокруг в виде большого вала. Дно ямы было сплошь покрыто голыми трупами. Машина подъехала к краю ямы, мы открыли задний борт, и трупы посыпались в яму, словно щебенка. Эту сцену мне никогда не забыть. Кроваво-красное солнце заходило в завесу едкого дыма от костров, в которых сжигалась грязная форма мертвецов.

Почему? Ничего! Эти так частѳ слышанные мною от русских слова застряли в голове. Зачем это все? Почему им пришлось умереть столь жалкой смертью? Ничего! Нельзя ничего сделать, все бессильны против «вождей», которые в

своим слепым фанатизмом сотворили все это, а сами остались в безопасности. «Dulce et decorum est pro patria mori!» Это же преступление перед человечеством. Что осталось от человеческого достоинства? Вернувшись из плена домой, я многим семьям принес печальные известия о смерти их близких, и все меня спрашивали, как и где их похоронили. Я никогда не говорил им правду. На холмах близ Бекетовки и Котлубани лежат в братской могиле, как мне говорили, 35 000 погибших в плену. Огромную яму вырыли взрывами саперы. Сначала мы принимали грохот этих взрывов за артиллерийский огонь приближающегося фронта и лелеяли надежду на скорое освобождение, пока не узнали настоящую правду.

Тем временем наступил май. В степи вокруг ограждения из колючей проволоки росла зелень и кое-где кусты бузины, а дальше все было покрыто сухой прошлогодней травой. Когда шел дождь и дул степной ветер, мы ощущали своеобразный терпкий запах. От тех, кто выходил за территорию лагеря, мы узнали, что сухая трава — это полынь. Они ее приносили нам, и мы заваривали из нее чай, чтобы вода приобретала хоть какой-то вкус.

Пальцы на ногах у меня давно зажили, ногти отросли, хотя восстановились не полностью, особенно на больших пальцах. Я мог опять носить обувь, вшей со времени болезни заметно поубавилось; уже не было необходимости надевать на себя всю имевшуюся одежду. Последствия тифа я еще не совсем преодолел, писать и читать уже мог хорошо, но еще не прекратилась характерная дрожь. Питания не хватало, и оно было по-прежнему плохим. Хоть как-то насытиться удавалось тогда, когда мы сами могли распределять еще и порции, предназначенные для умерших в последнюю ночь.

Лойсл, который так верно сторожил мой хлеб и ухаживал за мной во время болезни, напоминал теперь дрожащий скелет, тряся, как древний старик, и находился в подавленном состоянии. Все мы страдали депрессией. Положение казалось почти безнадежным. Мы ничего не знали о том, что происходит в мире и на такой уже далекой от нас войне. Заняться было нечем, да и сил ни на что не хватало. Иногда русские искали добровольцев для легких работ. Желающим вручали кирки и лопаты, а за работу давали половину котелка супа. Я их отговаривал, так как суп был исключительно беден калориями, а работа могла окончательно подорвать здоровье. Некоторые послушались меня, а кое-кто из-за голода соглашался. Поздним вечером они вернулись едва живыми, а двое совсем не пришли. Они умерли.

Хочу рассказать и об одном забавном случае. Мы даже смеялись, что редко с нами случалось. Это было за две не-

дели до 1 мая 1943 года, когда русские решили по традиции украсить к празднику площадку у входа в комендатуру цветочной клумбой. Земля там была утоптана до такой степени, что лопата ее не брала. В таких случаях использовался лом с острием в виде широкого зубила. В качестве рабочей силы отрядили полтора десятка пленных итальянцев. Надзор за ними сначала осуществлял часовой. Нужно было разрыхлить около десяти квадратных метров почвы. Надзиратель показал, как надо работать ломом, и вручил инструмент первому из пленных. Тот был столь неловок, что русский отнял у него лом и передал другому. Этот прикинулся таким же неумехой, тогда наступал черед следующего — с тем же успехом. Так лом переходил из рук в руки, а результат был нулевой. Постовому надоело смотреть на эту бестолковщину, и он ушел. Следом исчезли и итальянцы. Только лом одиноко торчал в твердой земле. Затем охранник вернулся и принялся искать своих итальянцев, ругая их на чем свет стоит. Я стоял невдалеке и слышал, как ругались итальянцы: «Стульте, примитиво, акультуре, индуйгенте, нон цивилизаторе популо руско». На следующий день продолжалось то же самое, только теперь под присмотром женщины-часового. Она почти непрерывно кричала на пленных, переходя порой на визг, не позволяя итальянцам отлучаться хоть на минуту и боясь, что те снова исчезнут. Для работы был единственный лом на всех, с которым никто не хотел иметь дела. Так продолжалось пять дней, а работу так и не закончили. Однажды итальянцы исчезли совсем. Прошел слух, что всех их доставили в отдельный лагерь с целью формирования итальянского легиона для борьбы с фашизмом.

Неудачная попытка бегства

Условия жизни в лагере становились для нас все более невыносимыми. Мы часто говорили, что недалек тот день, когда умрет последний из нас. Единственным шансом выжить казался побег. Мы узнали, что фронт проходил примерно в 200 км от нас, у Ростова, а колосья на полях еще полны зерен. Мы видели, что ограждение из колючей проволоки легко преодолимо, потому что оно состояло всего из пяти натянутых друг над другом нитей колючей проволоки. Нужно было только лечь на спину, поднять нижнюю проволоку и пролезть. Правда, снаружи были русские часовые, поэтому нужно было дожидаться темной ночи, и хорошо бы, чтобы с дождем. Я решил, что пока меня не настигла голодная смерть, лучше пойти на риск. Двигаться, конечно, только

ночью, избегая селений и дорог с большим движением. Ориентироваться по звездам. Пищей могли бы служить хлебные зерна, если их растирать, а затем варить. Конечно, план был далеко не безупречен: мои физические и умственные силы после сыпного тифа еще не полностью восстановились, но надо было что-то предпринимать. Чтобы выжить, я, как говорится, хватался за соломинку. Правда, достичь цели не удалось, но все же моя последующая жизнь пошла по-иному.

Я нашел двух надежных и более молодых товарищей, которые думали так же, как и я. У одного даже был маленький компас. Удалось раздобыть и карту. Мы ждали благоприятного случая. Он наступил 15 мая 1943 года. Было новолуние, густые облака делали ночь еще более темной, изредка сверкали молнии, поднялся ветер и собирался дождь. Под вечер мы накоротке встретились и договорились уходить в полночь. Место, где мы могли пролезть под ограждением, было давно определено. Около полуночи, отлучившись в уборную, я осторожно подкрался к ограждению и хотел было пролезть. В этот момент я услышал сзади русские и немецкие слова, крики, лай собак. Вокруг меня все вдруг осветилось. Я стоял у ограждения и не двигался, быстро приближались чьи-то шаги и собачий лай. На меня набросилась овчарка, она схватила меня зубами за руку, но не укусила. Затем подоспели русские охранники, мне досталось прикладом пониже спины, правда, не очень больно — и меня повели к барaku. Вскоре мы столкнулись с другим патрулем, который вел моих товарищей. От них я узнал, что произошло. Один из них ночью украл обувь у своего соседа, потому что его собственная для побега не годилась. Сосед вдруг проснулся, чтобы сходить по нужде, но, не найдя своих ботинок, поднял шум, на который сбежались русские охранники. Вот тогда они и обнаружили наше отсутствие, включили все освещение и, захватив собак, пошли искать нас. Тех двоих они схватили сразу, меня нашли последним. Так наша попытка к бегству потерпела полное крушение в самом его начале из-за неосторожности одного участника.

Конечно, мы не знали, какие последствия имело бы наше бегство, если бы оно удалось. На фронт никто из нас не хотел, хотелось избежать только пассивного сползания к смерти. А шансы были не такие уж плохие, как мне позже объяснил другой беглец, которого тоже схватили только потому, что он был слишком неосторожным. Он рассказал, что за пределами лагеря было достаточно еды, везде были необработанные поля с зерновыми. Это, кстати, подтверждал и его совсем не дистрофический облик. Пешком он не шел, а ехал на поезде, тайком забираясь в грузовые вагоны. Таким спо-

собом через несколько дней он почти достиг фронта в районе Ростова. Почти все у него складывалось удачно, и он рискнул доехать до конца железнодорожной ветки перед фронтом. Но тут его обнаружили и привезли к нам. Он не мог простить себе свою оплошность.

Нас, троих участников побега, отвели в помещение какого-то барака, отделенного от лагеря высоким, сетчатым забором. Нам грозило наказание. В сущности, я ощущал не столько беспокойство, сколько любопытство: дома я кое-что читал о русской юстиции и знал, что строго карались только политические преступления, что самое лучшее — это все признавать, говорить лишь правду и каяться в содеянном. Но то, что попытка к бегству могла бы улучшить жизнь в плену и облегчить ее в дальнейшем, мне и в голову не приходило. Мой рискованный шаг был продиктован скорее инстинктом, нежели логикой, но я в этом не раскаиваюсь. В нашей темной камере кроме нас троих сидели еще несколько человек: тот, который почти доехал до Ростова по железной дороге, пара каких-то молчунов и русский, воевавший в армии Власова на стороне немцев за свободу Украины. На следующий день нас поочередно вызывали на допрос, первым — русского. Он долго не возвращался. Вернувшись, он не проронил ни слова, угрюмо усевшись в стороне от всех. Мы же размышляли о том, что его ожидает, кто-то утверждал, будто он сам сказал, что его сошлют в Сибирь.

Потом вызвали меня. Охранник повел меня по узкому проходу с высокими решетчатыми стенами в соседний барак. Светило яркое солнце. Когда мы были примерно на середине двадцатиметрового прохода, он велел мне идти вперед и направил на меня пистолет, будто собираясь стрелять. Возможно, он хотел как следует напугать меня. Я знал, что стрелять охранник имеет право лишь при насильственных действиях заключенного с целью освобождения или при попытке к бегству. И то и другое было бы бессмысленным, поэтому я махнул ему рукой, чтобы он убрал пистолет. Сбитый с толку охранник опустил пистолет и повел меня в барак.

Мы пришли в какую-то комнату. Там сидел пожилой человек, который приветливо обратился ко мне на немецком языке и сказал, что он еврей и раньше некоторое время жил в Вене. Затем он повел меня в соседнее помещение, там меня ждал офицер, — как он сказал — из государственной полиции (НКВД), которая при Сталине была всемогущей организацией не только на гражданке, но и в армии, ей же подчинялись лагеря военнопленных. Он сразу, как принято, потребовал назвать фамилию, имя, государство, место жительства, имена отца и матери. Спрашивал он по-русски че-

рез переводчика. Я отвечал правдиво на каждый вопрос. Затем он спросил, каковы были мои намерения. Я сказал — бежать, потому что уже два года не был дома, а в лагере можно умереть с голоду. Тогда он закричал на меня, что я фашист, рвущийся на фронт, чтобы воевать против Советского Союза. Ответ мой был прост: я не фашист, а австриец, на нас напали немцы при Гитлере, а остальные бросили нас на произвол судьбы, даже Сталин заключил с Гитлером дружественный пакт. Так как я отрицательно отношусь к службе в немецкой армии и даже отказывался от службы, я не пожелал стать офицером вермахта и являюсь только ефрейтором, несмотря на высшее образование. Переводчик — тот человек в штатском — очень быстро перевел, и я почувствовал, что он ко мне расположен. Офицер все записал, а потом строгим тоном спросил: «Если вы не хотели служить, то почему все же пошли в армию?» Я ответил, что за отказ от службы в армии меня могли бы расстрелять, пришлось идти служить. «На войне тоже убивают», — возразил он. Я ответил, что знал многих людей, которые участвовали в первой мировой войне и вернулись домой, правда, некоторые — инвалидами. Шанс вернуться домой есть и на войне, а если откажешься от воинской службы, то определенно расстреляют или повесят, кажется, так происходит и в России. Офицер усердно все записывал, вероятно, для него было большой новостью, что в Германии расстреливают за отказ идти служить в армию. Затем он вдруг повысил голос: «Сколько русских ты застрелил?» — «Ни одного, — ответил я, — так как был радистом и стрелять не входило в мои обязанности». Мысль о стрельбе, по-видимому, его не оставляла. Он заявил, что при предпринятой попытке к бегству я мог быть застрелен. Я сказал, что голодная смерть в лагере страшнее. По Женевской конвенции военнопленный имеет право на побег и часовому разрешается стрелять на поражение только в том случае, если пленный продолжает бежать после соответствующего оклика или оказывает сопротивление при задержании. Но ни того, ни другого я не делал, и он определенно об этом знает. На это офицер ответил, что Советский Союз не присоединился к Женевской конвенции, но соблюдает ее. Однако могло случиться и так, что русский охранник меня застрелил бы, сказав потом, что я ему не подчинился. Это прозвучало как вопрос и показалось мне такой бессмыслицей, что я задумался над ответом, а переводчик как-то странно посмотрел на меня. Я подумал, что на такой дурацкий вопрос можно дать только дурацкий ответ, и сказал: «Так русский часовой не поступит». Переводчик не удержался от улыбки. А русский офицер вдруг посветлел лицом, видимо, потому, что у

меня было такое хорошее мнение о русских солдатах. Он все писал и писал. Перед ним на столе лежало все, что было отобрано у меня при пленении, в том числе полдюжины семейных фотографий. Он спросил, кто на них изображен? Я ответил - жена и сын. Фотографию, где была видна часть квартиры, он забрал себе на память вместе с моим обручальным кольцом. Затем он взял мои аттестаты государственных экзаменов и спросил, кто я по профессии. Я ответил, что я - дипломированный инженер-геодезист, специалист по дорожному строительству. Оставшиеся фотографии и оба аттестата он мне вернул, сказав, что я могу их сохранить. Я это понял в самом буквальном смысле и даже привез их с собой на родину. Часто охранники пытались отнять их, но я не позволял. В таких случаях я поднимал большой крик и говорил, что капитан НКВД разрешил мне оставить это у себя, что я пожалуюсь в НКВД. Моего знания русского языка уже хватало для таких заявлений. После этого каждый из охранников с испугом возвращал мне мои документы.

Один начальник караула, по профессии — профессор математики, с которым я уже подружился, сказал мне двумя годами позже: «Прием неплохой, но вы должны были сдать все вещи на хранение в комендатуру, а при отъезде потребовать их обратно».

И вот последовал приговор. Но перед этим русский еще раз меня спросил, не собираюсь ли я опять бежать. Конечно, я ответил «нет» и почувствовал, что мне повезло. Он сказал, что верит мне, но наказание должно последовать в виде двухнедельного ареста, хоть это и самое минимальное наказание. Офицер обещал позаботиться о том, чтобы я вскоре получил работу в соответствии с образованием и чтобы в дальнейшем у меня не возникали глупые мысли о побеге. Советский Союз заинтересован в том, чтобы после войны мы вернулись домой целыми и здоровыми и могли рассказать, что в Советском Союзе тоже живут люди, а не звери, только социальная система другая. Позже я имел с этим офицером НКВД частые контакты. Он всегда был приветлив со мной.

Он велел отвести меня обратно в камеру. Две недели я должен был оставаться в двойном плену. Не приходилось рассчитывать даже на обычную лагерную еду, нам давали только то, что оставалось от большого лагеря, об этом заботился персонал кухни. Это были хорваты, такие же пленные, как и мы. О них могу сказать только хорошее. Дружные, порядочные, чистоплотные, человечные, они были солидарны с нами, арестованными. В штрафном бараке я не голодал. Наоборот, немного пришел в себя и стал надеяться, что русский на самом деле сдержит свое обещание и позаботится о

подходящей работе. Только тот, кто побывал в безвыходном положении, знает, что значит обретение надежды. После двух недель ареста я снова вышел на воздух, увидел солнце. Но меня не вернули в ту часть лагеря, где я был раньше, а направили в другую, которая была отделена двухметровым проволочным ограждением. Я мог разговаривать со своими прежними товарищами через колючую проволоку. Мне было больно видеть, что за две недели они стали еще более истощенными. Лойсль, пошатываясь, подошел к ограде, он сожалел, что я не взял его с собой при попытке к бегству. Я сказал, что это было бы бессмысленным, потому что и мне не удалось бежать. Я понял, что никто из моих товарищей не сможет долго продержаться.

В лагере со мной заговорил один немец. Он сказал, что зовут его Бернхард Вестер, он из Эссена, по специальности электромонтер. Я сообщил о своей профессиональной подготовке и рассказал о своем наказании и надежде найти работу по специальности. Он посоветовал быть поосторожнее: русские могут дать мне кирку или лопату и заставят работать, как проклятого. Он поделился собственным опытом: «Положи в карман отвертку и скажи, что ты электрик». У меня возникли опасения: а вдруг обвинят в саботаже, если сделаю что-нибудь не так. Он только сказал: «Русские — отсталый народ, то, что они умеют, ты и подавно сумеешь». Он не смог меня переубедить, хотя с детства я чинил дома все электроприборы, а по физике был лучшим учеником в классе. Кстати, Бернхард из Эссена сыграл позднее определенную роль в моей жизни. Я узнал потом, что на родине он продавал в магазине лампочки и электротовары и хотел меня использовать, чтобы получше устроиться. Он умел жить, но часто поступал непорядочно.

Еда в нашей части лагеря была не такая плохая, как в той, другой, отделенной сетчатым забором, но и не такая хорошая, как в штрафном бараке. У меня теперь возникло чувство, что я могу еще некоторое время продержаться. Каждый день ярко сияло солнце, вшей я непрерывно ловил и давил, и их становилось все меньше. Русские объявили войну нашим волосам, где бы они ни росли, так как вши вдруг начинали гнездиться даже в бровях. Но я всегда брился собственной безопасной бритвой, лезвия правил на брючном ремне. Еда стала регулярной, поварами были те же хорваты. Они и суп раздавали честно, из громадного котла по одному черпаку, при этом опускали его поглубже, и порции получались погуще. Полные жадного ожидания, следили мы за поваром, насколько глубоко тот погрузит черпак, предназначенный кому-то из нас. Степень погрузки объясняли

личной симпатией или антипатией. На ужин давали кусочек хлеба и кружку чая (чаще всего просто кипятка).

Появилась и вода для мытья. Я быстро научился умываться по-русски, из кружки. Набирал полный рот воды и, складывая губы трубочкой, понемногу выпрыскивал ее на ладони, сначала намыливал руки и лицо, а затем смывал мыло водой из пригоршней. Если смоешь не до конца, снова набираешь воды в рот и споласкиваешь. На большее обычно воды не хватало. Вода годилась для питья, и ее приходилось особенно экономить. Стирали белье очень редко, потому что не было то воды, то мыла, а иногда - и того, и другого.

Умирили в нашем лагере очень редко. У меня сложилось впечатление, что в этой части лагеря находились самые крепкие и здоровые пленные, которых можно использовать для работы.

Чувствовал я себя неплохо. Крыша над головой, немного еды, относительно тепло. Над нами не издевались, а война для нас как бы закончилась. Родина, родственники были уже далеко, в другом мире, мы жили своей жизнью. Мне опять пришел на ум греческий философ Диоген, живший 2300 лет тому назад, который учил, что предпосылкой счастья является отсутствие потребностей. Я не чувствовал себя несчастным. Это бросилось в глаза офицеру нашего барака. Он заговорил со мной и сказал, что я единственный из пленных, кто имеет почти радостный вид. Я изложил ему свои мысли о Диогене и сказал, что рассматриваю теперешнее положение, как естественную часть моей жизни. Жизнь имеет не только подъемы, но и спады, я думаю, что низшую точку уже прошел. Видимо, в том и состоит смысл жизни, что она постоянно изменяется и ставит перед нами все новые задачи; а также дает возможность их решать. Я сказал ему, что в плену мы сдавали экзамен на прочность и смогли показать, что физически и психологически выдержали их. Без оптимизма таких испытаний не перенести. Я знаю, что невзгоды неизбежны, но готов вовремя встретить их. Он посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом и сказал, что завидует моему отношению к жизни.

Однажды, примерно в середине июля 1943 года, мы построились и нас снова начали регистрировать. Заводилась новая картотека. Низкорослый немец из Рейнской области - его звали Августин — под присмотром русского офицера задавал все те же анкетные вопросы, в том числе и о национальности. Я сказал: австриец. Он поправил: «Теперь ты немец, как все остальные». Так он и записал в мою карточку, о чем я узнал значительно позже. Эта неточность стоила мне после окончания войны лишнего года пребывания в плену.

Приблизительно через две недели нам приказали построятся с вещами. Сказали, что нас переведут в другой лагерь, где мы сможем работать. Мы будем идти пешком, так как лагерь находится недалеко, всего в нескольких километрах. Вызывали поименно, и мы становились друг за другом. Это случилось так неожиданно, что мы не смогли попрощаться с товарищами из соседнего лагеря. Образовалась колонна примерно из трехсот человек, и у каждого был перекинут через плечо вещевой мешок с посудой, одеяло и шинель. Мы двигались по горячей проселочной дороге, над нами висело сплошное облако пыли, но это был уже совсем не такой переход, как ледяной зимой, когда мы сдались в плен. Мы шагали на восток. Через несколько километров на склоне горы показалось несколько каменных домов и деревянных бараков, потом мы заметили входные ворота, караульную будку, а когда подошли ближе, то увидели высокую ограду из колючей проволоки. Ворота открылись. Мы вошли в лагерь «Красноармейск № 108/1», который относился к лагерю «Бекетовка № 108».

В трудовом лагере «Красноармейск 108/1»

По прибытии в лагерь каждого из нас тщательно осмотрели. Охранник увидел оставленные мне вещи: аттестаты государственных экзаменов, семейное фото, зубную щетку, бритвенный прибор вместе с кисточкой и лезвиями. Он сразу все это забрал у меня, но я потребовал переводчика и громко возмутился. Я опять сослался на капитана НКВД, который разрешил мне оставить все эти вещи при себе и никому не отдавать их. В противном случае буду жаловаться капитану НКВД. Охранник струхнул и возвратил вещи.

Мы построились в новом лагере, и нас пересчитали. Все были на месте. Затем нас стали вызывать поименно и распределять по двум деревянным баракам. В бараке было несколько комнат с дверями, выходящими в длинный коридор. В помещениях находились двухъярусные нары, чтобы залезть на верхние, у стоек имелись специальные перекладки. При распределении по баракам и комнатам между австрийцами и немцами различия не проводили. Я познакомился с горняком из Штирии Зеппом Лейтенбауэром. Мы разместились рядом на верхнем ярусе нар и позже стали настоящими друзьями. Нам разрешили взять только по одному одеялу, а мы думали уже о грядущей зиме. Спали на мешках, набитых сеном. Севернее лагеря находилось большое количество зданий и ба-

раков, в которых были расквартированы офицеры, охранная команда и обслуживающий персонал. В этом жилом квартале были и магазины. Вдали, к югу от лагеря, виднелись здания Красноармейска с цехами бывшей судостроительной верфи, где сейчас, во время войны, ремонтировались русские танки и другая техника. На западе были видны руины разрушенных при бомбежке зданий, а также несколько уцелевших многоэтажных жилых домов, таких как у нас дома. Лагерь располагался, как уже упоминалось, на склоне холма, а юго-западнее от него была степь, подходившая и к холму Котлу бани, где были захоронены многочисленные трупы умерших немецких солдат. В лагере находились немцы из всех районов Германии, небольшое число австрийцев - около 120 человек — и много румын, которые жили в отдельном бараке во главе со старостой, пробивным румынским цыганом.

Мы оказались в настоящем рабочем лагере. Каждый день начинался с построения на «поверку». Затем нас пересчитывали по баракам, обычно утром и вечером, день начинался с пробудки и шел по строгому распорядку. Распорядок и регулярное питание положительно сказывались на состоянии пленных, правда, в неравном положении находились те, кто работал на заводе, и те, кто оставался в лагере. Работающие получали в день, как и русские, по 1 кг хлеба. Он состоял на 100% из ржаной муки, а тесто было такое жидкое, что его можно было печь только в формах. Его доставляли совсем свежим, еще горячим и старались как можно скорее раздать, чтобы от испарения он не терял много веса. Хлеб был клейким, как замазка. Многие, в том числе и русские, не могли его есть в таком виде. Они поступали, как утки или беззубые старики, — сначала размачивали его, а потом ели полученную из хлеба кашу. Хлеб и каша из крупы (пшеница или гречка) и муки были главным источником питания русских. Самой большой трудностью для них всегда было обеспечение хотя бы минимума необходимого белка. Поэтому у них имелся большой рыболовецкий промысел. В пищу шла самая разнообразная рыба. Наш белковый рацион почти целиком состоял из рыбы: 70 г соленой селедки, немного речной рыбы, изредка — соленая килька. На первых порах вновь прибывшие рыбы не получали, нам давали только 400 г хлеба, суп и четверть литра пшенной каши. Для здоровых людей — маловато, но все же больше, чем мы получали до сих пор.

В один из первых дней, к вечеру, нас послали на медицинский осмотр. Мы разделись догола и медленно проходили мимо медицинской комиссии, состоявшей из двух врачей и двух врачей. Все мы были ходячими скелетами. Только немногие получили категорию А — трудоспособен, большинство как и

я — категорию «дистрофик 1-ой степени», что означало недостаточное питание, вернее, истощение. Существовала еще группа — «дистрофики II-ой степени», к ним относились люди, истощенные до крайности, по мнению комиссии - безнадежно больные. Никто из нас не хотел быть таким, несмотря на все пережитое, никто не терял волю к жизни, правда, некоторые начали сомневаться, сумеют ли они вернуться домой. Эти сомнения чаще всего приводили к смерти. Трудно сказать, как возникали сомнения: то ли от предчувствия близкой гибели, то ли от потери последних сил. Я считаю, что для выживания в этих условиях решающее значение имеет сильное волевое начало. Я думаю также, что нет ничего более ценного и прекрасного, чем жизнь, поэтому нужно делать все, чтобы не угасло пламя жизни, даже если оно едва теплится. Отчаявшиеся часто спрашивали меня, верю ли я, что вернусь домой. Я убежденно отвечал: я - да, но о вас не могу этого сказать. Все чаще я вспоминал свой сон со 2-го на 3-е мая 1941 года в казарме Мейдлинга о том, как я вернулся домой и рядом со мной шел мой сын (ему тогда было 10 месяцев) в синем матросском костюме и со школьным ранцем за спиной. Это означало при буквальном истолковании, что я вернусь домой в 1946 году, к началу занятий в школе. Конечно, срок был очень большой, но все равно эта мысль давала мне веру. Только один раз я пережил настоящую депрессию. Тогда мой друг из Бургенланда, который производил впечатление сильного человека, сказал: «Как же ты выглядишь? Стыдно быть таким размазней!» Достаточно было этой моральной оплеухи, чтобы моя депрессия исчезла. Но сам он не вернулся домой. Через несколько недель я узнал, что он умер от инфекционной болезни. Подробности выяснить не удалось.

Как уже говорилось, наш лагерь был настоящим рабочим лагерем и ежедневно все, кто мог, разделенные по бригадам, под охраной красноармейцев шли на работу, большинство — на фабрику. Но имелись и другие места работы. Бригадиром всегда назначался пленный, который говорил по-русски или на каком-нибудь родственном с русским языке, например: чешском, польском или хорватском. У австрийцев это были чаще всего бургенландцы, которые знали хорватский, или жители Богемского леса, знавшие чешский. Нам самим почти не выпадала возможность учить русский, так как мы не общались с русскими, а учебников не было.

Все пленные «рабочие» получали в день 1 кг хлеба, а на завтрак — рыбный суп. Весь персонал кухни состоял тогда из румынских цыган, которые вообще в лагере играли доминирующую роль. Они жили в отдельном бараке, а старостой у них был очень понырливый тип. Работавшие на кухне

цыгане мало считались с гигиеной и не очень-то старались. Стоявшую в больших деревянных бочках консервированную в растительном масле рыбу они просто высыпали в горячую воду вместе с головами и внутренностями, не чистили ее. Все, в том числе чешуя, кости, пузыри, превращалось в горькое от желчи варево. Вскоре у пленных «рабочих» возникло такое отвращение к этому очень богатому белками и очень важному для здоровья супу, что они просто не могли его есть, хотя это был единственный источник белков. Супом «рабочие» охотно делились, несколько раз я тоже его брал. Вкус его был ужасным и горьким, как желчь. Несмотря на голод, я тоже вынужден был от него отказаться. Из-за этого работающие лишались ценной пищи, к тому же утром им выдавали сразу всю дневную порцию хлеба. В бараке они оставить его не могли, брали с собой на работу, чтобы поест в обед, потому что обед на работе им не полагался. А присматривать за хлебом не всегда удавалось, и если у кого-то крали хлеб свои же, вечером он оставался голодным. На ужин давали только несладкий чай, а когда он кончался, то — просто горячую воду. Кстати, чай у русских был очень хороший, говорили, якобы из Ташкента; к сожалению, он был дефицитом и часто отсутствовал.

Дистрофики, в том числе и я, не работали. Мы были лишены и рыбного супа, а получали другой, и не кило хлеба, а только 400 г, но зато регулярно. После наших неоднократных жалоб русские в конце концов поняли, что повара мало смыслят в своем деле, и тогда их заменили хорватами. Мы сразу же это почувствовали, стало чисто и опрятно. Хлеб начали выдавать дважды в день, утром и вечером, появилась каша из пшена или муки, суп из капусты, помидоры; давали кусочек соленой рыбы, чаще всего — селедки.

Спустя три-четыре недели нас построили для какой-то внеочередной переключки, при этом присутствовали незнакомые русские: мужчина и женщина. Нас, как обычно, пересчитали, затем русский, стоящий рядом с комендантом, спросил по-немецки: есть ли среди нас электрики? Потом командовал: «Электрики, три шага вперед!» Тут Бернхард из Эссена, который стоял рядом со мной, вышел вперед и повернувшись ко мне сказал: «Ты ведь тоже электрик! Почему не выходишь вперед?» Это произошло совершенно неожиданно. Как мне поступить? Если бы я сказал, что я не электрик, русские не поверили бы и могли бы подумать, что я не хочу работать, а к этому они относились сурово. Но если я как электрик что-нибудь напортачу, то меня обвинят в саботаже. Однако я подумал, что всякий мужчина — в какой-то мере домашний электротехник. А я раньше изучал электро-

технику и вообще умел многое делать руками. I ал что я вышел вперед,* несмотря на все сомнения. Мы стали вдруг «большими специалистами», лагерными электриками. Но пока у нас не было никакого электричества, а имелись лишь примитивные керосиновые лампы.

Спустя примерно две недели, в начале сентября 1943 года, когда я уже начал думать, что про нас забыли, после утреннего построения мы вдруг услышали громкую команду: «Электрики, живо к будке!» Мы спустились к воротам, там стояла грузовая автомашина с откинутым задним бортом. Русский роздал нам старые пассатижи. Бернхард с довольным видом пощелкал ими и сказал: «Наконец-то у нас толковый инструмент». Мы залезли в кузов автомашины, куда затем закинули пару железных «кошек», и поехали. Куда лежит наш путь и что мы должны будем делать, нам никто не сказал.

Железные «кошки» тревожили меня, так как, имея некоторую фантазию, можно было легко представить, что это примитивные приспособления, служащие для влезания на столбы. Я сказал Бернхарду, что по его милости я, кажется, влип, так как еще никогда не видел «кошек» и не умею ими пользоваться. Он успокоил меня тем, что при необходимости влезть на столб он этим займется сам, дело для него привычное.

Мы ехали на восток. В пути часто встречались селения с маленькими домишками; грузовик остановился, в кузов садились русские с пустыми корзинами и мешками, чтобы добраться до определенного населенного пункта. Наконец, мы снова остались одни, и вскоре машина остановилась в открытом поле. Местность была равнинная с чередой маленьких озер, редкими деревьями и уходящим вдаль рядом высоченных А-образных опор, с которых свисали толстые провода. Это были уничтоженные войной линии высокого напряжения. Мы прыгнули с машины и долго топтались на месте в ожидании распоряжений. Тут среди жнивья я увидел небольшую тыкву. Я подумал, что ее оставили за ненадобностью, и поднял ее. Мы уже давно не видели овощей и фруктов, к тому же голод есть голод. Вдруг я увидел, как с громким криком к нам бежит русская женщина. Из-за маленькой тыквы она науськала на меня охранника. Тот подошел, выругался, отобрал тыкву и дал мне пару оплеух. Они, кстати, были единственными за все время плена.

Потом пришел водитель и объяснил, что нужно делать: подняться на столбы и снять свисающие провода. «Вот тебе результат твоей мудрости,— сказал я Бернхарду.— Полезай наверх, ты у нас настоящий электрик, я же о себе этого не говорил». Не очень уверенно Бернхард ответил: «Я поднимусь, оставайся внизу!» Мы подошли к А-образной опоре и

посмотрели вверх. Она состояла из громадных деревянных столбов, которые внизу были так толсты, что даже наши большие «кошки» едва могли их обхватить, и показалась нам такой высокой, что я не мог себе представить, как на нее забраться. Но русский бросил нам под ноги «кошки», настойчиво поторапливая: «Давай! Давай!» Бернхард взял «кошки», прикрепил их к обуви и, зажав в руке пассатижи, приблизился к столбу. С железяками на ногах, которые казались выросшими на полметра и готовыми сцепиться друг с другом большими пальцами ног, он имел жалкий вид. Глядя на него, трудно было поверить, что Бернхард раньше часто поднимался с «кошками» на столбы. Наверняка с такой задачей он еще не сталкивался. Русский охранник давился от смеха и только покрикивал: «Давай! Давай!» Наконец Бернхарду удалось-таки доковылять до вертикального столба, вернее, до его бетонного подножия. Нам пришлось его подсадить. Потом он начал медленно подниматься. Достигнув изоляторов, он начал откручивать куски проволоки, крепившей толстые провода, и бросал проволоку вниз. После чего спустился к нам и сказал мне: «Теперь ты полезай, ты ведь тоже электрик!»

Я не мог и не хотел отказываться. После того как я увидел, что нужно делать и как подниматься, мне не хотелось быть посмешищем, поэтому я сначала подошел к столбу и только потом прикрепил кошки к ботинкам. Меня подняли на бетонное основание. Я попытался пошире захватить столб кошками, чтобы крючья лучше держали. Это удалось сделать ловчее, чем я ожидал. Я стал медленно подниматься, пока не добрался до изоляторов. Прежде чем начать открепление оставшихся проводов, я немного передохнул. Свежий ветерок приятно обдувал тело. Мне открылся простор равнины, на которой до самого горизонта тянулась цепь маленьких озер с кустами и деревьями по берегам, среди них особенно выделялось одно большое — Цаца-озеро. Здесь, наверное, когда-то проходило старое русло Волги. Наконец я все закончил и спустился на землю. Русский велел нам намотать толстые провода из оцинкованной стальной проволоки на 1,5-метровую катушку, а затем подождать его возвращения с машиной. Мы закончили работу и присели на мягкую траву. Для чего русским эти катушки, мы понятия не имели. Медленно заходило солнце, наступали сумерки, наконец вернулась наша грузовая машина, в ней сидели люди с мешками и бочками. Русские сами подняли катушку в машину, так как у нас уже не хватало сил.

За^ем к нам подошел водитель автомашины и с помощью жестов поинтересовался, ели ли мы что-нибудь? Мы поняли его и жестаи же ответили. Тогда он принес большой бидон

молока, налил/ по половине котелка каждому, дал по куску хлеба и по нескольку вареных раков. В кузове мы примостились на одном из мешков, грузовик повез нас обратно. С нами ехало много русских, которые выходили вместе со своим багажом там, где по их просьбе притормаживал водитель. Стемнело. Мы спокойно принялись за еду: ели хлеб и раков — их я ел впервые в жизни — и прихлебывали из котелков, но не молоко, как мы подумали вначале, а первосортные сливки. Тут пришлось себя ограничить: мы боялись расстройства желудка.

Поздно вечером мы вернулись в барак. Что это был за день? Мы примирились с нашей судьбой. Вообще в этом лагере я чувствовал себя лучше еще и потому, что он располагался не на равнине, а на склоне холма. Когда я бывал в верхней части лагеря и смотрел на восток, то колючей проволоки не было видно, и мне порой казалось, что я в родных местах. У нас местность гористая, а равнин очень мало, и здесь они иногда действовали на меня угнетающе.

На следующий день, едва мы успели покончить с остатками вчерашнего угощения, раздалась команда: «Давай электриков! Электрики, на выход!» Нас отправили в западную часть лагеря, где находилась большая площадка. Там уже лежали наши вчерашние катушки с проводом. Русский велел нам размотать одну катушку, а затем соединить между собой куски провода. Теперь мы поняли, что нашей задачей было обеспечить лагерь электричеством. Примерно в ста метрах западнее находилась сложенная из красного кирпича трансформаторная будка, которая обеспечивала током все окрестности. Если вначале нашим единственным инструментом были пассатижи, то теперь нам дали молоток, зубило, отвертки и страховочный пояс из почти оголенного медного провода. Никакой арматуры нам не дали, потому что ее просто не было, нам предстояло искать ее самим. За лагерем, западнее каменных зданий, было несколько больших воронок и громадные кучи строительного мусора от разрушенных зданий. Нам пришлось их обшарить в поисках электроарматуры. Мы снова и снова находили различные детали и приспособления, чаще всего — поврежденные, а затем из пригодных частей собирали патроны или выключатели. Это была кропотливая работа. В течение нескольких месяцев мы смогли постепенно обеспечить электричеством кухню, все бараки и два кирпичных здания. Необходимые электролампочки, по поручению русских, были украдены нашими товарищами на фабрике. За каждую электролампу они получали по килограмму хлеба. Вообще на все, что выносилось с фабрики, например, напильники, существовал своего рода хлебный тариф.

Прежде всего мы должны были провести воздушную электролинию от трансформатора до лагеря и при этом использовать ранее врытый столб. Присоединительные изоляторы в трансформаторе имелись. Мы получили ключ от трансформаторной будки. Так я впервые увидел трансформатор изнутри, думаю, что и для нашего «специалиста» Бернхарда это тоже было первым знакомством. Я увидел большие катушки, входные контакты сверху, а на другой стороне многочисленные отводы. На щите в верхней части трансформатора располагались длинные фарфоровые предохранители, которые почти все были «перебинтованы» сравнительно тонкой медной проволокой. Как я узнал из надписи, подводящая линия имела напряжение 15 000 вольт. Предо мной лежал щит с несколькими отводами и более короткими предохранителями; они выглядели, как красивые фарфоровые ручки, воткнутые обоими концами в медные клеммы. Внутри они были полыми. Если бы там проходил предохранительный провод, можно было бы смело вытаскивать предохранители, чтобы разомкнуть одну линию 380-вольтовой сети, но все они были лишь снаружи предохранены неизолированной медной проволокой. Так как у нас не было соответствующего инструмента, каждый раз, когда я хотел выключить линию, мне приходилось орудовать рукояткой молотка. Приходилось чинить и предохранители. Тогда в целях собственной безопасности я пользовался фарфоровыми болванками, засовывая в них провод подходящего сечения. Часто я вынужден был чинить предохранители при свете свечи, потому что короткие замыкания случались постоянно. Когда я ближе познакомился с привычками русских при обращении с электричеством,— а наши люди быстро усвоили эти привычки,— меня никакое короткое замыкание больше не удивляло. Хочу привести лишь несколько интересных примеров.

Почти во всех домах и бараках не было целых исправных предохранителей. Все они были чинены-перечинены, при этом так неумело и такой толстой проволокой, что линии часто дымились. Нередко предохранителем служил просто гвоздь. Это имело свой резон. Во многих мастерских с потолка свисали два провода с оголенными концами — для прикуривания. В случае необходимости оба провода быстро сближались, возникала искра, что и нужно было курильщикам. Если провода разделял слишком небольшой промежуток, они плавилась, и надо было моментально развести их, иначе сгорела бы проводка. Такой метод прикуривания был возможен только с гвоздем в роли предохранителя.

С другим методом я познакомился на заводе, когда работал в слесарной мастерской. Там обычно включали большой

точильный (диск, к. нему прижимали стальной прут, давали ему раскалиться и от него прикуривали. От этого на диске образовалась глубокая канавка. Прут всегда лежал рядом, под рукой.

Все это объяснялось тем, что и русские, и пленные курили много, а спичек не было. Курили крепкую русскую махорку, т. е. самосад, насыпали щепоть табака на обрывок «Правды» и скручивали ее, склеивая слюной. Тут возникал вопрос, где взять огонька? Спички и бензиновые зажигалки были редкостью, а зажигалкам не доставало кремней. За один кремень лагерным спекулянтам платили килограмм хлеба! Существовали и самодельные зажигалки с настоящими кремневыми камешками, в дело шли куски напильника, трубки из гильз и клочки марли. Должен сказать, что их употребление требовало ловкости, да и с деталями было туговато, но зато обходились без тока и бензина. Вот как это делалось.

Кремневый камешек, который при старании можно было найти в песке, необходимо зажать между указательным и большим пальцами левой руки. Гильзу с продетым через нее кусочком марли, один конец которой предварительно обуглен и подсушен, необходимо держать остальными тремя пальцами той же руки. При этом узкий конец гильзы должен быть направлен вверх, а обугленный конец марли немного выступать, почти касаясь кремня. Кусочком стального напильника ударяют по кремню, высекая искру. После нескольких ударов искра попадает на обугленную часть марли. Затем нужно несколько раз энергично взмахнуть гильзой, пока не затлеет весь кончик марли. От него можно прикурить несколько папирос. Если необходимо остановить тление, марлевый фитиль втягивают внутрь гильзы, и тление прекращается. Необходимо следить, чтобы вновь обугленная часть фитиля сохранилась. Разводить костер от раскаленного провода умели только румынские цыгане. Они брали сухие стружки и очень умело складывали несколько штук вместе, доводили их до тления, затем дули на них, пока те не загорались. Мы, в том числе и я, пытались проделать то же самое, но у нас ничего не получалось. Я думаю, что цыгане сами изобрели этот способ и никому его не передавали. В этом они превосходили всех.

Немцы придумали свой способ разводить настоящий огонь. На заводе они занимались ремонтом танков, в которых иногда находили боеприпасы, в том числе, гранаты с запалами. Они извлекали запалы, которые выглядели как недоваренные макароны и легко сгибались. Если такую «макаронину» поднести к тлеющему фитилю, она ярко вспыхнет и будет гореть в течение нескольких секунд. Вскоре каждый, у кого была зажигалка, стал носить в кармане маленький пакет запалов.

Конечно, это было строго запрещено, но мы не давали себя поймать.

Больше всего тока потреблял самодельный кипятильник. Он состоял из двух жестяных деталей, одна из которых находилась внутри другой, но обе крепились изолированно на расстоянии примерно 8 мм. Нередко для этого использовались патроны для лампочек. Жестянки соединялись проводами с сетью и погружались в ведро с водой. Вода сразу начинала бурлить и быстро закипала. Нельзя было трогать воду или ведро, так как все было под током, а также разводиться поблизости огонь, так как мог произойти взрыв. Мы высчитали по времени, что расход энергии для кипячения ведра воды равняется примерно 16 квт. Неудивительно, что от такого напряжения часть проводки дымилась. Нельзя было забывать, что наш лагерь был электрофицирован с помощью стальных проводов от высоковольтных линий. Были вечера, когда электролампочки горели слабым красноватым светом под напряжением в ПО вольт вместо положенных 220. Однажды вечером меня вызвали в офицерский клуб, там очень слабо горел свет. Все уже собрались на праздник, но из-за плохого освещения не было праздничного настроения. Я сказал, чтобы взамен лампочек на 220 вольт вкрутили лампочки на ПО вольт. Замену осуществили быстро, и свет стал ярким. Я предупредил, чтобы потом снова меняли лампочки, иначе на следующий день, когда будет нормальное напряжение, все они перегорят. Меня горячо поблагодарили за хороший свет.

Приобретение электролампочек всегда было проблемой. Иногда, если не было обычных, брали автомобильные на 6 ватт, их соединяли последовательно до напряжения 220 вольт, это 36 штук, а при ПО вольт — 18 штук. Так мы сооружали красивые люстры, которые давали хороший свет, да еще и достаточно тепла. Конечно, и расход тока был велик, на 36 штук 6-ваттных лампочек уходило 0,22 квт, но были лампочки намного сильнее.

Хочу рассказать об одном случае, который произошел еще тогда, когда мы сооружали воздушную линию. Я слишком много говорил о преимуществе электричества, однако уже на первом столбе, стоящем недалеко от трансформатора, случилась авария. Столб стоял у куста бузины на краю сада. Я хотел сначала проверить его на устойчивость, ибо его устанавливали не мы, но Бернхард счел это большой тратой времени и решил сходу залезть на него. Поднимался он довольно лихо, но когда был уже наверху, я с ужасом увидел, что столб начинает клониться. Через несколько секунд он рухнул вместе с Бернхардом. К счастью, столб упал на не-

большой бушр, смягчивший удар, Бернхард сделал красивый переворот в/ воздухе, а затем мягко приземлился на дымящуюся паром кучу компоста, целый и невредимый. «Это могло плохо кончиться», - сказал я. Бледный как полотно, совсем оробевший, он согласился со мной.

Вскоре он еще раз отличился подобным образом. Поскольку мы начали работы по оборудованию барачков и должны были постоянно проверять состояние проводки, он соорудил себе контрольную лампу: к патрону присоединялись два изолированных провода с оголенными концами. Этими концами он при каждом подходящем и неподходящем случае прикасался к различным предметам, находившимися под напряжением. Сопровождавшего нас охранника это невероятно забавляло: лампочка вдруг начинала сверкать, а Бернхарду это тоже доставляло детскую радость.

Нам опять пришлось ковыряться в трансформаторной будке. Контрольная лампа при этом была совсем лишней, но Бернхард поднес ее к выходной клемме напряжения. Я крикнул: «Только не прикасайся к верхним клеммам! Там 15 000 вольт!» Но было поздно. Он уже сунул туда свою контрольную лампу. Сверкнула яркая вспышка, раздался треск, и Бернхард вместе со своей лампой вылетел через открытую дверь трансформаторной будки к ужасу стоявшего там охранника. Однако Бернхард не пострадал, только провода лампы висели как жалкие обрывки, но они даже не сгорели. Для меня было загадкой, как изоляция из сравнительно тонкой просмоленной резиновой ленты выдержала такое напряжение. «Дурак, ты мог бы погибнуть!» — вырвалось у меня. Бернхард был обескуражен.

Постоянно возникали трудности с арматурой как наружной, так и внутренней проводки, в меньшей мере - с выключателями и патронами, которые мы находили в разрушенных зданиях и воронках. Особенно нам досталось, когда в конце октября 1943 года мы получили задание обеспечить светом швейную мастерскую, которая изготавливала обмундирование. Внутренние работы мы закончили быстро, а вот с подводящей линией были трудности, отсутствовал провод. Для фазовой линии его было достаточно, но не хватало для нулевой проводки. Тут нам пришла в голову идея вместо нулевой проводки использовать штекер заземления у барака. Свет горел нормально.

Врачом лагеря у нас была немолодая женщина, доктор Клинкгаус, еврейка, в чине майора. Она жила со своим, сыном вне лагеря в частном доме, где время от времени требовался ремонт электропроводки. Бернхард быстро подружился с ее сыном, которому было двадцать лет, и они вместе почти

опустошили ее продовольственную кладовую, пока я ремонтировал проводку, а хозяйка отсутствовала. Она говорила по-немецки, хотя и не слишком хорошо. Она узнала, что я австриец, а сама она, как оказалось, училась в Венском университете, и это расположило ее ко мне. Ей я обязан тем, что меня никогда не переводили в другой лагерь. Она также каждый раз благодарила, когда мы — а чаще только я — работали у нее и давала что-нибудь поесть. Бернхарда она не любила, вероятно, узнала о его проделках от сына, а может быть, сын все свалил на него одного.

По этому поводу я хотел бы отметить, что со мной как военнопленным особенно хорошо обращались евреи, например, переводчик при допросе после моей неудавшейся попытки к бегству, руководитель НКВД в лагере капитан Клейнеман, на которого я ссылался, если были затруднения с охранниками, что случалось несколько раз. Я всегда настаивал на своем при превышении ими своих полномочий. Я хорошо знал права военнопленного, которые были вывешены на большой доске, указывал на них и говорил, что обращусь с жалобой к капитану Клейнеману.

Чем больше проходило времени, тем хуже становилось состояние нашего здоровья. Хоть мы и получали хлеб, супы и жидкую пшенку, мы никогда не видели жиров, растительного масла, свежих овощей, фруктов. Все это сказывалось на здоровье. Люди постоянно умирали, на столе в морге накапливались трупы. При этом русские запрещали вскрытие, а вину за смерть чаще всего возлагали на немецких врачей. Я был ошеломлен, когда увидел знакомого немецкого врача в то время, когда он анатомировал труп. Он сообщил, что должен писать оправдательный документ, так как опять умер пленный. Причину его смерти русские не поймут или не захотят понять. У него на теле не было и следа жира, а организму всегда необходимо иметь хоть немного жира вокруг нервных путей, которые изолируются его тонким слоем. Если жира больше нет, то наступает смерть.

Недостаток жира каждый из нас чувствовал инстинктивно и пробовал найти замену. Так, кто-то подумал о машинном масле, с которым постоянно работал на фабрике. Но в нем были минеральные вещества, которые делали его отвратительным на вкус, кое-кто считал его сильно ядовитым. Масло долго вываривали, при этом наверху возникала сернисто-желтая пена, которую снимали полностью. Другое масло было темное, как лесной мед. Его намазывали на хлеб и ели без удовольствия, будто это было подсолнечное масло. Я тоже попробовал, но немного, так как знал, что наши желудки не могут переварить минеральное масло, что в медицине его

применяют против запора. Масло было на вкус неплохое, отвращения не вызывало. Один профессиональный электрик, работавший на фабрике, говорил мне, что в трансформаторах есть костное масло для охлаждения. Когда у нас снова появилась работа в трансформаторной, мы взяли котелок этого масла, по когда попробовали, то пришлось сразу выплюнуть. Оно так ужасно пахло прогорклым жиром, что невозможно было взять его в рот. Вываривание ничуть не изменило ужасного вкуса, масло оказалось несъедобным. А о том, что оно ядовито, я узнал много лет спустя.

От недостатка витаминов я страдал меньше, чем другие. При ремонтных работах в квартирах гражданских лиц я часто получал горсть махорки. Будучи некурящим, я продавал ее курильщикам за рубли. Хлеб и другое продовольствие я никогда не брал, и хотя курящие могли отдать за махорку последний кусок хлеба, я этим никогда не пользовался. В дальнейшем я даже продавал полученный табак, полагающийся нам по норме. Тариф везде был один — стакан махорки на черном рынке стоил 8—10 рублей. По этой цене продавал и я. Те, кто работал на заводе, получали по 50 рублей в месяц, нам же в лагере ничего не платили. На рынке килограмм хлеба стоил 30 рублей, а по продовольственным карточкам — 95 копеек. За деньги, вырученные от продажи махорки, знакомый австриец, бригадир, приносил мне лук, чеснок, редьку, а позже, в 1944 году — редиску, яйца и др. Лук и чеснок были относительно дешевы. Вместо фруктов у русских были только огурцы, помидоры, дыни и тыква, однажды мне подарили кислые яблоки. Вероятно, фруктовые деревья не выдерживали сталинградский климат: летом до 40° жары, а зимой — до 40° мороза.

Пленных поразила новая напасть. Все чаще встречались люди, бросающиеся в глаза какой-то нездоровой полнотой и неестественной бледностью. У них были заплавленные глаза, опухшие ноги и вздутый живот. Если на припухлость нажимать пальцем, то ямка от нажима оставалась часами, а иногда и днями. Особенно опасными становились укусы вшей, тогда вокруг укуса на отечном месте образовывалось расплывающееся черное пятно, кожа мертвела, начиналась флегмона. У меня тоже, хотя в меньшей степени, чем у других, от водянки и укусов вшей появились такие маленькие черные пятна, но я стал есть побольше чеснока, и они быстро исчезли. Кое-кто умирал, когда переполнявшая организм жидкость до предела отягощала и без того ослабленное сердце или флегмоны отравляли весь организм. У каждого из нас от недостаточного питания сердце работало так вяло, что почки были уже не в состоянии выполнять функции выделения. За целый день ни

одного позыва,— это в основном относилось к больным,— но когда люди ложились спать, не проходило и часа или двух, когда не приходилось бы вскакивать по нужде в уборную, находившуюся в ста метрах от барака, бегали иногда до двенадцати раз за ночь. Представьте себе, каково было зимой, когда ночью морозы достигали 40°, а специальные наряды следили за тем, чтобы никто не оставался вне барака. Иногда облегчались, не успев добежать до отхожего места, и, не останавливаясь, возвращались в барак. Некоторым удавалось раздобыть достаточно большую консервную банку, которую они использовали в качестве ночного горшка. Зимними ночами содержимое часто превращалось в лед. Не было ни одной спокойной ночи, хотя после очередного возвращения из уборной мы тут же засыпали от изнеможения.

Но не всем в лагере приходилось так тяжело. Прежде всего, имеется в виду кухонный персонал: вначале были румынские цыгане, затем хорваты, потом их сменили немцы со своим шефом. Он был из Саксонии и, по моей оценке, весил около 130 кг. Ходил он медленно, вразвалку и любил прихвастнуть. Другие тоже выглядели неплохо, хотя и не были такими тучными. Затем надо назвать бригадиров на фабрике, в мастерских и др. Они производили впечатление нормально упитанных мужчин, умели столкнуться с русскими и ходили с охранниками на базар за покупками. Более или менее сытно жил медперсонал двух лазаретных барачков. Раздавая еду больным, «кормильцы», конечно же, не забывали и себя. Еще в Библии, в Ветхом завете, говорится: «Не заграждай рта волу, когда он молотит». Они держали больных в узде, и если кто хоть пикнет, сразу же доносили русской врачихе, которая ведала лазаретом.

Я сам уличил кое-кого из них в нечестности, когда повторно лежал в лазарете по поводу тяжелого поноса и аллергии, вызванной пшеном, как следствия перенесенной в армии дизентерии. У меня была пониженная кислотность, и только в 1944 году врач выписал мне соляную кислоту. Я ее принимал в водном растворе — несколько капель на кружку — после еды. По вкусу это напоминало уксус и немного отдавало серой. Скорее всего, она не была химически чистой. В то время я ходил работать на фабрику и однажды взял маленькую бутылочку соляной кислоты, но охранник отобрал ее у меня, решив, наверное, что это водка. Думаю, ему вскоре пришлось убедиться, что это была концентрированная соляная кислота.

Заметной особью был капо немецкого каменного барака Шерлайн из Фюрта под Нюрнбергом. Настоящий бык, сильный, упитанный, с громким командным голосом, типичный

службист. В здании жили пленные, которые ежедневно работали на заводе. Капо установил режим личной диктатуры. За малейший проступок виновный заключался в подвальный карцер. Пищу Шерлайн получал и раздавал сам. Из килограмма хлеба, который полагался работающему на заводе, он давал ему только 250 г, остальное оставлял себе. Каждое утро можно было видеть, как он с двумя ведрами шагает на кухню за хлебом для своих арестантов. Это был мерзейший тип. Можно определенно утверждать, что власть портит почти каждого, особенно если ею пользуются бесконтрольно. Но я думаю, что гнуснее всего использовать власть против совершенно незащитных людей, которые не в состоянии сопротивляться и подвергаются постоянной опасности.

Наступила поздняя осень 1943 года, становилось все холоднее. Мы не имели никакого представления о том, что происходит в мире и особенно — на родине. Но вот русские начали давать нам информацию. Несколько раз в неделю нас собирали и сообщали оперативные сводки. Нам говорили, где проходит линия фронта, где идет ожесточенная война, сколько сбито немецких самолетов, о потерях русских, конечно, не сообщалось. Докладывал обычно молодой чернявый русский переводчик, говоривший с легким еврейским акцентом. Иногда он неверно произносил некоторые немецкие слова, например, вместо «флюгцойг» (самолет) всегда говорил «флигцойг» (мухолет) и очень возмущался, когда мы прыскали от смеха. Но мы, конечно, смеялись не потому, что не верили его словам, а только из-за неверного произношения слова. Мне было жаль его. Эта инстинктивная жалость еще более усилилась, когда, подключая его репродуктор к радиосети, я увидел, как аскетично он жил. Его командировали к нам только для сообщения официальных известий, потому что он говорил по-немецки. Он оказался приятным парнем.

Однажды, помнится, в конце ноября, он сообщил нам, что СССР сделал заявление, получившее название «Московской декларации», в которой в частности говорилось, что одной из военных целей Советского Союза является восстановление независимой Австрии как свободного государства в прежних границах, так как она была первой страной, ставшей жертвой нацистской агрессии. Правительства Англии, США и СССР не чувствуют себя связанными никакими переменами, которые произошли в Австрии в 1938 году и в последующие годы. При решении вопроса о том, как поступить с Австрией в будущем, все будет зависеть от поведения австрийского народа во время войны. Австрийский народ несет ответственность за свои действия. Это непременно будет учитываться. «Московская декларация» дала нам новую

надежду на самостоятельный путь страны при поражении нацистов в войне. Эта надежда стала искрой нового национального чувства, углубила наше австрийское самосознание.

При наступлении по России мы чувствовали, что гражданское население относилось к нам без всякой вражды, и мы с ним мирно общались. Украинцы даже мечтали о собственной самостоятельности. В этой связи мне прежде всего вспоминается Харьков. Когда там стояли фронтовые части, обстановка была спокойной, но с приходом нацистской гвардии — «золотых фазанов», как мы называли этих карателей за их сверкающую золотом форму, все изменилось, они стали обращаться с украинцами, как с колониальным народом. Геринг хвастливо говорил о бескрайних пшеничных полях Украины, о том, что отныне Германская империя — это уже не «народ без пространства». Когда весной 1942 года я опять прибыл в Харьков после упорных зимних боев на Донце, я повсюду видел повешенных на фонарных столбах людей, видимо, партизан. Картина была жуткая. А нас «золотые фазаны» третировали за то, что наша полевая форма была недостаточно красивой, и козыряли мы не так молодежато, как они привыкли. На фронт мы вернулись ожесточенными. На обратном пути наш поезд напоролся на мину, и у одного из вагонов была разрушена ходовая часть; железнодорожники быстро ее отремонтировали, и мы двинулись дальше.

Мы, австрийцы были разочарованы точно так же, как и украинцы, нас угнетала судьба нашей страны. До прихода нацистов австрийцы были за присоединение к Германии и восхищались деловитостью немцев. Мы, наследники великой Австро-Венгрии, измельчали и пали духом. Нам казалось, что маленькое государство не жизнеспособно и должно присоединиться к Германии — нашему большому и сильному брату, конечно, на основах равноправия и свободы. Но вышло иначе. Нас оккупировало милитаристское государство, низведшее Австрию до статуса колониальной страны. Мечта о большом Германском государстве растаяла, как дым, а с нею и надежда вновь обрести свободу. «Московская декларация» возвращала австрийцам эту надежду. Конечно, война еще не закончилась, но долго продолжаться она уже не могла. Я сам был твердо убежден, что в 1946 году вернусь домой.

На следующий день после прибытия в Харьков я как-то встретил знакомого из Верхней Австрии, он чистил свою винтовку. Именно это мне бросилось в глаза, так как нам, радистам, винтовка практически никогда не требовалась. Я спросил, почему он чистит оружие, ведь это делается или после стрельбы, или для осмотра. Он сказал, что только что стрелял и делает это часто. Я поинтересовался, зачем ему это пона-

добилось, поскольку сам не любил ни стрелять, ни чистить. Правда, у меня была трофейная русская винтовка, но из нее я старался не стрелять, а если и приходилось, то по русским самолетам, пикирующим на наши позиции. Он сообщил, что сегодня, как и раньше, по поручению полевой жандармерии расстреливал пленных партизан. Я сказал, что расстреливать пленных, да еще сдавшихся, лишь потому, что они защищают свою страну, просто чудовищно. Он не согласился и ответил, что его это не волнует, что эти варвары уже причинили много зла нашим людям. То, что они стали партизанами вследствие нашего вторжения и наших зверств, он не хотел понимать. Думаю, он был типичным душегубом и психопатом, как и его сестра, о которой он неоднократно рассказывал. Каждый раз, когда стучали в квартиру, она отвечала: «Никого нет дома, а я полоумная!» Но в военное время каждому режиму необходимы такие люди, которые способны стать живодерами, жестокими надзирателями в концлагерях, и которые с радостью исполняют все самые варварские приказы.

Однажды нас спросили, кто хочет вступить в австрийский легион для освобождения Австрии. Вызвались многие. И я тоже. Создавался также итальянский легион, а польский уже существовал. Этому легиону русские уделяли особое внимание. Затем долгое время о польском легионе ничего не было слышно. Потом мы узнали, что он был направлен в Персию для охраны границы с территорией, занятой англичанами. В первый же день поляки со всем вооружением перебежали к англичанам. Это был конец всех легионов. Мы, безусловно, поступили бы так же, потому что не хотели воевать ни за кого, а тем более за нацистов, мы просто хотели жить свободно. Для нас было вполне достаточно пережитого до сих пор.

Была середина декабря 1943 года, стояли двадцатиградусные морозы. За мной пришли с поручением исправить телефонную линию. Надо было влезть на телефонный столб, но зацепиться за него кошками не удавалось, так как смола, пропитавшая столб, замерзла и отвердела, как камень. На руках у меня были только старые перчатки со множеством дыр, и я еле удерживал ледяные пассатижи, чтобы исправить повреждение. Вблизи находились жилые дома, в одном из них был русский магазин, там стояла большая очередь. Люди проходили близко от столба, на котором я работал, и поднимали на меня глаза. Наконец, я все-таки закончил работу и с трудом спустился вниз. Мои пальцы совсем не сгибались. Тут ко мне подошла старая женщина из очереди, с искренним сочувствием жала мои руки, стала их согревать и сказала по-русски: «Холодно, зима, замерз, худо!» Она сняла

свои серые вязаные перчатки из овечьей шерсти и отдала их мне. Я натянул перчатки, еще теплые от ее рук, и хотел отдать ей свои, дырявые, которые она могла бы починить. Но она жестами предложила надеть их поверх ее перчаток, — так будет теплее. Я ее очень благодарил, потом она встала в свою очередь.

Такое проявление человечности по отношению к военнопленным, к врагам, в нацистской Германии не допускалось. В подобной ситуации среди стоявших в очереди нашлись бы фанатики, которых это привело бы в негодование. Но у русских этого не происходило. Вероятно, у этой женщины был сын на войне и, глядя на меня, она вспомнила его. Я находил ее поступок прекрасным доказательством того, что и война, и активная пропаганда не всегда делают из людей бесчувственных автоматов или злодеев.

Я всегда вспоминаю Новый завет и вопрос к Христу: «А кто ближний мой?», особенно рассказ о милосердном самаритянине и мужчине, который шел из Иерусалима в Иерихон и на которого напали разбойники. Они ограбили его и, избив до крови, оставили лежать. Человек из Самарии, не принадлежавший к еврейскому племени и даже презираемый им, позаботился о попавшем в беду еврее и принял на себя расходы по излечению и уходу за ним. Этот пример озарял мою жизнь и помогал черпать новые силы в испытаниях, согревая меня подлинно человеческим теплом.

Зима становилась все суровее, шел снег и дул холодный ветер. Меня опять вызвали: на кухне не горел свет, не работала подводная линия. Вначале я не мог определить неисправность, пройдя к столбу, я увидел, что провод был целым. Бросилось в глаза лишь то, что воздушная линия состояла из алюминиевого провода, а к кухне вел провод из меди. Из уроков физики я знал, что на месте контакта между двумя разными металлами при попадании воды может возникнуть каталитический ток, в результате чего возможно отложение соли, которая действует как изолятор между разными металлами. И действительно, между воздушной линией из алюминия и медным отводом на месте соединения образовался белый налет. Я его соскоблил и заменил медный подвод к кухне на алюминиевый, после чего снова появился ток.

Когда я опять вернулся в барак, у меня возникли безумные боли в спине при каждом вздохе, как будто что-то скребло внутри. Я пошел к врачу. Он прослушал меня и установил острый плеврит, назначив постельный режим в лазарете, так как температура поднялась до 39°. Я пошел в лазарет. В постели было легче, хотя из-за постоянных болей я почти не мог дышать. Лечения не было никакого, пища была плохая,

а старший в лазарете, высокий немец-санитар, настоящий раскормленный бык, обращался с больными грубо и без всякого сочувствия. Стоило кому-то из больных только рот раскрыть, как его тут же резко обрывали. Медицинское руководство осуществляла русская женщина-врач, рыжая и веснушчатая. Она полностью поддерживала главного санитара. У нас создалось впечатление, что они состояли в интимной связи. В лазарете было много тяжелобольных, но почти никому не помогали. Все роптали, но никто не осмеливался поговорить с персоналом начистоту. Тут я сказал этому быку, что дела в лазарете из рук вон, что он такой же военнопленный, как и все мы, и не пристало ему так по-хамски относиться к больным, надо хоть что-то делать для нас. Он расвирипел и донес на меня рыжей врачихе. Несмотря на мой жар, она выписала меня как здорового, и меня выкинули из лазарета.

Помимо всего прочего, я начал ощущать сильную боль в правом большом пальце, который ужасающе быстро опухал. При осмотре обнаружилось ранка от укола проволокой, снаружи она зажила, а внутри шло нагноение. Я, конечно, понял, что причиной была моя производственная травма.

Я уже писал о наших электротехнических материалах. Для внутренних проводов, а часто не только для них, служил немецкий полевой кабель, которым военные телефонисты прокладывали телефонные линии. Снаружи он был покрыт просмоленной текстильной пленкой, облегающей резиновую трубку со стальными проводами, внутри которых шла медная жила, (позднее замененная алюминиевой) в качестве проводника. Наши старые пассатижи не могли перекусить сталь, для этого они были слишком тупые. Чаще всего приходилось многократно сгибать и разгибать проволоку, куда она не ломалась. Это утомительное и неудобное занятие часто приводило к тому, что я колол себе какой-нибудь палец, особенно доставалось большому. Обычно эти уколы заживали сравнительно быстро, но на этот раз я, видимо, проколол надкостницу и внес инфекцию. Снаружи раны не было видно, а очаг находился внутри, боль пульсировала и все усиливалась, из-за чего я почти не мог спать. На пальце образовалась наливавшаяся чернотой опухоль. Я пробовал вскрыть ее лезвием бритвы, но сделать достаточно глубокого надреза не удалось. Состояние ухудшалось так быстро, что я был готов отрубить себе палец, если бы было чем. Я пошел к штатному врачу, тот сказал, что не может меня оперировать, так как у него нет никаких средств наркоза и дезинфекции. Я настаивал на операции, убеждая его в том, что из-за сильной боли мне уже все безразлично, ведь палец давно заражен и дезинфекция необязательна.* Но он меня ото-

слал. Это был врач, который всегда говорил, что дома он владеет частным санаторием. Мне он всегда был несимпатичен. Я считал его доносчиком. Во всяком случае, с тех пор я дал себе зарок никогда не обращаться в частный санаторий, где тебя мог подстеречь вот такой лекарь.

Я вспомнил, что незадолго до этого познакомился с доктором Хацлем, молодым венским врачом, который в лагере не использовался по специальности. Я обратился к нему со своей нуждой и рассказал ему, что случилось. Он лежал с острой простудой на своих нарах. Мне он сказал, что не может больше смотреть на мою опухоль и велел идти в амбулаторию и ждать его там. Я опять поплелся в амбулаторию, сказал врачу, что сейчас подойдет его молодой коллега и вскрыет мне палец. Но врач рассвирепел и выгнал меня. Мне пришлось ждать на лютом морозе, а у меня все еще был плеврит. Но Хацль появился быстро, он завел меня в амбулаторию и без наркоза надрезал темный бугорок на большом пальце. Брызнуло темным гноем, затем вышел плоско-округлый кусочек кости, концевая фаланга большого пальца была разъедена инфекцией. Крестообразного сечения я вообще не почувствовал, но по мере освобождения от гноя ощущал только облегчение. Палец перевязали. Теперь предстояло обратиться к другому врачу, который имел право выдать мне больничный лист. Он сказал, что рад мне помочь и дать больничный лист по поводу больного пальца, чего не смог бы сделать по поводу плеврита, так как русская врачиха меня выписала.

Наступило нерадостное, первое в плену Рождество. Никто не праздновал. Для русских, в том числе работающих на заводе, это были обычные будни. Ведь русские празднуют Рождество, когда мы отмечаем Богоявление, то есть 7 января. На сей раз Рождества мы не почувствовали. Физически и психически мы дошли до предела: не хватало сил противостоять постоянному холоду и недоеданию. Наступил Новый год, кстати, русские отмечают его вместе с нами. Что же он принесет? Палец мой заживать не собирался, бинты и вата все время мокли. При каждой перевязке выходил гной. Для лечения врач имел только одно средство — желтую маслянистую жидкость, называемую рибазол.

/944 пл

Жизнеспасительное чудо

Где-то числа 10 января 1944 года в лагере прошел слух, что якобы приказано основательно проинспектировать наш лагерь. Комиссия прибыла уже на следующий день и пленных не погнали на работу. До сих пор явственно вижу, как от будки через лагерные ворота поднимается группа людей. Возглавлял ее высокий, импозатный военный, очевидно, генерал, в светлой каракулевой папаше с небесно-голубым верхом и вышитым золотом знаком. Его сопровождали лагерное начальство, сумрачный немолодой врач в штатском, несколько врачей, ассистенты, сестры, словом, целая свита, как в большой больнице. У них были с собой весы и масса медицинских инструментов для обследования.

Нас построили, сделали переключку, затем каждого военнопленного тщательно обследовали, взвесили и обмерили. У меня сразу определили мой незалеченный плеврит и осмотрели больной палец, при этом от моего врача потребовали подробно доложить, как он меня лечил.

После медосмотра в бараках комиссия направилась на кухню. Там как раз готовились к раздаче неизменно водянистого супа и жиденькой каши. Тучный шеф-повар подкатил к генералу свои 130 кг. Потом мы не раз обсуждали разыгравшуюся у нас на глазах сцену.

Вопрос генерала:

— Что у вас в этой посудине?

— Наш лагерный суп.

- А в этой?

— Наша каша.

— Что? Это вы называете супом и кашей? — возмутился генерал, который, кстати, произнес все это по-немецки.

— У нас всегда так.

— Почти одна вода? •

Шеф-повар занервничал, невинным он себя чувствовать не мог. Достаточно было взглянуть на него и его помощников, чтобы сразу сказать: на обычной норме они бы так не

раздобрили. Кроме того, в лагере хватало и других, в том числе и русских, которые извлекали выгоду из доступа к нашей кухне. Наконец, после некоторого промедления, шеф-повар сказал:

- Мы получаем мало продуктов, господин генерал.

— Что? Вы получаете мало продуктов? Не может быть! В Советском Союзе пленные не должны голодать, так решило правительство,— сказал генерал и снова спросил: — Вы умеете читать и писать?

- Да, конечно,— ответил шеф.

- Тогда напишите письмо в Москву обо всем, что вам требуется. Вы получите столько продуктов, что ни один пленный лагеря не будет голодать.

Шеф кухни и мы смотрели на генерала с некоторым сомнением.

— Да, да, напишите, только сразу, вы определенно получите, сколько нужно,— добавил тот.

Слова генерала Попова — я хорошо запомнил его фамилию - очень нас порадовали, но мы сомневались в возможности перемен. Однако то, что мы узнали потом, дало пищу для новых раздумий и новых надежд.

Все мы были объявлены больными, нас заставили сдать свою верхнюю одежду и разрешили находиться в бараке только в чистом нижнем белье: рубашке и длинных кальсонах из х/б. Каждый день главный врач в сопровождении медработников совершал обход, как в госпитале. При этом интересовались самочувствием каждого. Пища также сразу стала намного сытнее, очевидно, стали меньше воровать. Хорошо откормленный кухонный персонал и все, кто производил впечатление здоровяков, ежедневно направлялись на работу за Волгу. Там в пойменном лесу они заготавливали дрова для отопления наших барачков. Начальник лагеря, латыш, был снят как не справившийся с должностными обязанностями. Он ненавидел немцев и придерживался мнения, что водянистый суп слишком хорош для немецких военнопленных. Его жена была совершенно другой, она жалела нас и старалась помочь. Тем, что мы не пропали, мы обязаны ей. Был назначен новый начальник лагеря, капитан Барбасов. Это был высокий, симпатичный молодцеватый офицер, примерно сорока пяти лет. Супруга начальника, молодая и красивая женщина лет двадцати пяти, с пленными разговаривала доброжелательно. Говорили, что за какую-то аферу на-
4<1льника понизили в чине и отправили командовать лагерем.

Началась совсем другая жизнь, и как раз вовремя, а то, наверное, никто из нас не вернулся бы домой. Особенно радовала забота о чистоте. Мы получили новое чистое белье

из мягкой хлопчатобумажной ткани бежевого цвета, его регулярно меняли и стирали. Верхнюю одежду, старую грязную форму, у нас отобрали. Перед отправкой на склад ее подвергли санобработке в специальных печах. Теперь со вшами велась решительная борьба.

Все чаще, хотя и не каждую неделю, нас водили мыться в баню и обрабатывать одежду, чтобы избавиться от вшей. Это происходило всегда одинаково: в сравнительно большом подвале мы раздевались догола, одежду вешали в сушильную печь, в которой она находилась примерно час при температуре 100°. Этого не выдерживала ни одна вошь, и с каждым разом насекомых в бараках становилось все меньше. Оставались вши на теле, их изгоняли мытьем. Каждый раз мы получали деревянные шайки (примерно 50 см в диаметре и 20 см глубиной с двумя ручками по бокам). Мне они напоминали лохани наших крестьян, в которых они мыли посуду после еды, так случайно вспомнилось далекое детство. Горячую воду наливали деревянным черпаком, и, вооружившись небольшим куском хозяйственного мыла, мы могли хорошо вымыться и сполоснуться водой, как под душем. Для вытирания у нас были вафельные полотенца. Вскоре все ползающие и кусающие твари исчезли, правда, у некоторых из нас оставались гниды, приклеившиеся к недобритым и неостриженным волосам, иногда даже на бровях и бороде. Труднее было зимой, так как из-за холода мы почти никогда не снимали верхнюю одежду. А если и снимали, то только для того, чтобы ею накрыться. Обувь совали под матрас в изголовье. Для стрижки волос и бритья русские почти всегда назначали румынских цыган. Я не знаю, почему они так делали. О гигиене цыгане, к сожалению, мало заботились. Одним и тем же помазком намыливали все волосы на нашем теле, кроме волос на голове, которые стригли машинкой. Больных явной трихофитией брили догола той же бритвой без всякой последующей дезинфекции и даже без мытья помазка. Никакого одеколona или лосьона, конечно, не было и впомяне. Никто не мог уберечься от их неряшливости, разве что русский охранник. Страдания от вшей значительно уменьшились, но после посещений «цыганской» парикмахерской люди стали заболевать трихофитией, которая неожиданно появлялась в самых разных местах, и мы выглядели, как прокаженные. Эффективного лечения было мало.

Со мной этого не случилось, так как, на зависть курильщикам, я брился всегда сам собственными лезвиями и станочком. Бритвенные ножи, как и любые ножи, были запрещены, потому что могли служить оружием. У меня для бритья было даже туалетное мыло, правда, туалетной воды не

было. Среди вновь прибывших я всегда находил тех, у кого были лезвия и мыло, и менял их на махорку. Бритвенные ножи, употребляемые румынскими цыганами, делались из кусков стальной пилы, которые сначала умело точили, потом шлифовали на точильной камне, а затем окончательно правили на кожаном ремне. Когда цыганам некого было брить, они занимались точкой нового бритвенного ножа. Они заметно превосходили нас в приспособляемости к примитивным условиям. Только румынам разрешалось иметь в бараках бритвенные ножи.

Кто сидел, а кто лежал в сносно натопленном бараке, глядя в те окна, которые не были замурованы, на падающий снег и на приметы крепчающей зимы. Мы были довольны теплом и едой, которая немного улучшилась. Примерно дней через десять после посещения лагеря генералом произошло неожиданное событие, весть о котором разнеслась по всему лагерю.

Все заговорили о больших грузовиках, якобы доставивших нам продовольствие. Мы были весьма удивлены, потому что не вполне всерьез восприняли заверения генерала. Мы знали русскую пословицу: «До неба высоко, а до царя далеко». Правда, вместо «царь» лучше было бы сказать «Сталин». Отныне мы зажили хорошо, трижды в день нам давали пищу в соответствии с больничным рационом. Так продолжалось в течение шести недель, затем постепенно питание стало попроще. Вот примерно ежедневное меню: сладкий чай, три раза в день по 200 г серого хлеба, жирный суп, жирная пшеничная, перловая или гречневая каша с бараниной, изредка даже верблюжье мясо, кислая капуста, консервированные зеленые помидоры, а на десерт - витаминный препарат из побочных продуктов пивоварения, который выглядел, как рассыпчатая выпечка. Вставать разрешалось только для построения, принятия пищи и по нужде. Все это принесло очень заметные результаты. Я уже рассказывал о наших болезнях и страданиях от водянки. Теперь люди стали поправляться, спать всю ночь, восстановилась и укрепилась работа почек и сердца. Мы убедились, что состоим не только из кожи и костей. Правда, не наращивалась мышечная ткань.

Наконец наше медицинское начальство решило, как, наверно, и было задумано с самого начала, что нам пора почаще вставать и побольше двигаться. Теперь мы каждый день делали гимнастику: нам приказывали нагибаться, разгибаться, совершать повороты и лупить кулаками по воздуху. Это еще кое-как удавалось, но когда мы пытались делать упор лежа, то падали носом в пол. Так же жалко выглядели и

f
приседания, /присесть удавалось легко, а подняться не очень. Наступила весна, уже выпадали погожие солнечные дни, мы выходили на воздух, брали лопаты и убирали снег, играли перед баракom в третьего лишнего. Мы являли собой весьма жалкую картину: когда трое вставали друг за другом и третьего ударяли, то вместе с ним валились на землю и двое других. Со мной тоже так было. В ту пору, когда от нас стали добиваться подвижности, я уже не лежал целыми днями, а по собственному воле делал гимнастику, особенно упоры лежа и приседания.

Я узнал, что в нашем лагере имеется большая библиотека, насчитывающая 22 000 томов, и все на немецком языке. Книги были выпущены в России в довольно дешевом оформлении. Разумеется, при их подборе не обошлось без идеологического сита, но тем они и были для меня интересны, я получил доступ к книгам, которые дома трудно было достать. Прежде всего я прочитал «Капитал» Маркса, труды Энгельса, несколько темно-коричневых томов Ленина, которые, конечно же, отличались полиграфическим качеством, отчеты съездов Коммунистической партии, проводившихся один раз в несколько лет. Меня они особенно интересовали с точки зрения отношения России с Австрией и предистории II-й мировой войны, всегда полезно знать мнение другой стороны. «Да будет выслушана и другая сторона» — это основное положение римского права я усвоил еще в гимназии. Взгляды нацистов я изучил достаточно хорошо и относился к ним с большим скептицизмом. Теперь хотелось узнать и взгляды коммунистов. Кроме уже названных книг я вновь прочитал книгу русского академика Евгения Варги «25 лет капитализма и социализма» и др. Мой скептицизм стал распространяться и на многие вопросы незнакомой мне до сих пор другой стороны. Я прочитал также «Годы странствий Вильгельма Мейстера» Гёте. В гимназии мне не удалось его одолеть. Много и с большим удовольствием я читал Тургенева, Пушкина, Толстого, Горького, Шолохова - «Тихий Дон» и «Поднятую целину» и др. Произведения Достоевского и Шиллера в библиотеке отсутствовали.

Часто я устраивался с книжкой на своих верхних нарах и часами читал вслух своим товарищам. Разумеется, для них я выбирал что-нибудь попроще, и они вновь и вновь просили меня читать. Слушать они любили, но самостоятельно читать большинство из них ленилось. Мы постепенно оживали физически и дуковно, вновь обретали чувство человеческого достоинства. Правда, многие пленные еще предпочитали убивать время, лежа на нарах, а заядлые шахматисты вновь сели за шахматные доски. С большим искусством

вырезали они из дерева фигуры и мастерили доски, а играли часами.

Каждый раз они искали партнеров. Несколько раз приглашали и меня. Им казалось, что я не умею играть в шахматы, и они вызывались меня обучить. В шахматы я, конечно, играл, и достаточно хорошо. Свое увлечение я прервал лишь, готовясь к диплому, а вообще раньше играл очень азартно, и после трудной партии не мог заснуть, что сильно мешало учебе.

В лагере я не садился за шахматную доску: меня так околдовало чтение, что было жаль каждой минуты, проведенной не за книгой. После сыпного тифа понадобилось немало времени, чтобы восстановить способности к чтению, письму и математике.

Мой друг Зепп тоже вырезал себе шахматы и был заядлым игроком. Чаще всего он выигрывал. Мне он не давал покоя, предлагая сыграть. Я отвечал, что у меня нет времени, он же считал, что я просто не умею играть и стесняюсь в этом признаться. Я не мог допустить, чтобы обо мне так думали, и сыграл с ним три партии, которые он быстро проиграл. Теперь Зепп поверил мне и оставил меня в покое. Он, правда, не читал ни одной книги, но всегда хотел, чтобы я читал вслух. Он всегда был немного инертным, и это я ощутил, когда много лет спустя он стал моим сотрудником.

При хорошем питании и внимательном уходе мы постепенно приходили в себя, только физические силы возвращались не так быстро. Наше медицинское начальство раздумывало над тем, что можно сделать для нашего полного выздоровления, когда придет весна. Оно пришло к заключению, что лучший способ — это отправить нас весной в колхоз, где на свежем воздухе мы выполняли бы легкую работу. Идея на самом деле действительно заманчивая. Многие радовались этой перспективе, но меня удерживало какое-то смутное опасение. В колхоз можно было либо ехать добровольно, либо по команде, которую рано или поздно дадут.

Решение за меня приняла лагерная врачиха, у которой я часто производил ремонтные работы и которая была доброжелательно расположена ко мне. Она меня не отпустила в колхоз, а оставила в лагере, и я был согласен с ней. Раньше я достаточно много читал о колхозах и относился к ним недоверчиво, тем более, что в юности я проводил лето у родственников в крестьянском хозяйстве и участвовал почти во всех работах. Я знал, что при интенсивных сельскохозяйственных работах каждый человек выкладывается полно-

стыю, тут не считаются со слабостью выздоравливающих. В России к тому же существовали рабочие нормы и стахановское движение. С какой же стати здесь будут считаться именно с военнопленными?

Время показало, насколько я был прав! Когда пришла весна и с питанием стало похуже, нас снова обследовали и приняли соответствующие решения: трудоспособных послали работать на завод, а тех, кто еще был для этого слаб, но уже преодолел водянку и выглядел более или менее нормально, направили в колхоз за Волгу для отдыха и легкой работы до осени. Постепенно люди стали возвращаться оттуда больными. Потом мы узнали, что с ними там происходило.

Fix разместили в палатках, и сначала они помогали сажать сахарную свеклу и картофель, а затем занимались текущими работами. Еда была скудная, поэтому частично в пищу употреблялся семенной картофель. День начинался очень рано, в 5 утра, а в полдень, когда было очень жарко, делали большой перерыв, во время которого пленные лежали или спали в палатках. Там было очень жарко, а тучи мух и мошек не давали людям спать. Когда солнце опускалось и жара спадала, люди снова выходили на работу, которая продолжалась до темноты. Затем они мылись и ужинали. Заканчивался трудовой день примерно в 11 часов вечера. Но и потом они долго не могли уснуть из-за полчищ комаров. Существовали жесткие нормы для каждого вида работ. Не хватало питьевой воды, приходилось пить озерную, застоявшуюся, или речную. Поэтому все больше людей с кишечными расстройствами доставляли к нам в лагерь. Здоровее, чем прежде, никто не стал.

Когда наступила осень, началась уборка картошки. За день каждый пленный, как и колхозник, должен был выкопать и засыпать в мешки картошку с определенной площади, при этом учитывалась именно площадь, а не сам урожай. Год выдался урожайным. Поэтому охватить всю площадь по предписанной норме люди не могли. При тщательном выборе картошки они не выполнили бы норму на 100% и получили бы меньше хлеба. Поэтому убирали лишь крупный и средний картофель, остальной урожай оставался в земле.

Разумеется, для еды картошки было достаточно, ее пекли на костре из сухой картофельной ботвы. Особенно это любили немцы из Восточной Пруссии. Поздней осенью люди вернулись из колхоза, работа в котором едва ли оправдала их надежды на восстановление сил.

Время, которое мы проводили зимой в бараке, дало нам возможность преодолеть первоначальную фазу апатии, люди

стали больше и охотнее общаться, окрепли земляческие и просто дружеские узы.

У нас, австрийцев, все больше развивалось чувство солидарности, что в конце концов привело к образованию австрийской группы, она становилась все сплоченнее и была замечена русскими. Они почувствовали, что по отношению к ним мы более открыты и доброжелательны, чем немцы. Чужой язык, другое мышление, другая политика и иной образ жизни не отталкивали нас. Мы уже не ощущали себя врагами и не презирали русских. Многие немцы все еще продолжали высмеивать русских, считая их людьми примитивной культуры. Насмехались даже над их рогатым скотом, который давал мало молока, забывая о том, что земля здесь не обеспечивает полноценного корма, а летом из-за большой жары травы быстро сохнут. Немецкий скот не смог бы есть эту сухую массу, а если бы и ел, то давал бы мало молока. Немцев потешали низкорослые русские лошади: дома, в Германии, все крупнее и лучше. Но дома у них не было сорокаградусных морозов, при которых зимовали русские лохматые лошаденки, покрытые сосульками, в холодном хлеву, где единственным кормом в это время служило сено. Я видел собственными глазами, как породистые немецкие лошади зимой быстро погибали, а русские лошаденки суровой зимой прытко катили меня на санях по степи.

Русским охранникам очень нравились немецкие песни. Когда бригады пленных отправлялись строем на завод, охранники часто командовали «Запевай!». Но немцы тогда делали это неохотно, а если и пели, то всегда военные песни, нередко и откровенно нацистские. До того, как русские узнали их содержание, песни им нравились, но когда кто-то обратил внимание на переведенный текст, отношение круто изменилось. Позже появилось несколько австрийских бригад, в одной из которых работал и я. И от нас охранники тоже требовали пения в строю. Нам же никогда не приходило в голову горланить нацистские солдатские песни. По-настоящему петь можно только тогда, когда это тебе по душе. Мы пели только австрийские песни, например, «Земли нет в мире краше, чем мой тирольский край» или «Как мир прекрасен и широк» и др. Все они заканчивались чудесными переливами на тирольский лад. Среди нас были настоящие мастера разноголосной колоратуры, любившие состязаться между собой. Наши песни не походили на строевые, но русские были в восторге, они симпатизировали нам, австрийцам. При пении мы часто забывали про голод и усталость, тоску по родине и все печали. Мы сердцем чувствовали, что наши часовые никакие нам не враги, а просто люди, почти друзья.

Подозрение в шпионаже

В один весенний день 1944 года, кажется, это было воскресенье, во время построения на обед Зепп Лейтенбауэр сказал мне, что вчера познакомился с двумя австрийцами: штирийцем Вилли Харрером и Карлом из Грюнбурга (Верхняя Австрия), что оба они симпатичные парни и мне будет интересно познакомиться с ними, так как в плен они попали не в котле, а один — раньше, другой позднее. То, что они избежали котла, явилось чистой случайностью. Они воевали на разных фронтах и попали в плен в разное время. Штириец был лейтенантом и оказался в плену тяжелораненым в августе 1943 года; Карл, унтер-офицер, был пленен в декабре того же года, будучи в дозоре, тут обошлось без ранения. Оба были захвачены в плен поодиночке. Харрера направили в наш лагерь в январе, но большую часть времени он находился в лазарете, Карла доставили недавно с этапом, о котором говорили, что он состоит из заключенных из категории особо опасных и склонных к побегу. Мы заранее знали о прибытии этапа, так как до этого ограда из колючей проволоки была тщательно укреплена. Любопытный Зепп уже имел кое-какие сведения об этих двоих австрийцах и рассказал мне, что унтер довольно хорошо говорит по-русски и даже умеет писать, но это создавало ему трудности в отношениях с комиссарами НКВД, которые подозревали в нем шпиона и часто допрашивали. Карл же думал, что кто-то из пленных очернил его в глазах НКВД. Он, конечно, не знал, кто это сделал и в чем состоит донос. Сейчас, сказал Зепп, он работает в бригаде Лозована, которая числилась штрафной и находилась на подземных работах.

Новые знакомые Зеппа заинтересовали меня во многих отношениях. Не только потому, что были земляками, но, прежде всего, потому, что от них я мог узнать, как обстояли дела на фронте вне котла и на родине. Меня интересовало также, как русские обращались с одиночными пленными, имевшими тяжелые ранения, ведь при движении уже в плену мы вынуждены были бросать тех, кто не мог передвигаться. Сам я, несмотря на тяжелое обморожение пальцев ног, отшагал многие километры, вполне понимая, что русские определенно не захотят, да и не смогут утруждать себя доставкой таких пленных в лазарет. У русских было слишком много своих солдат, нуждавшихся в госпитализации, поэтому я был убежден, что действовал правильно. Пока я размышлял об этом, Зепп сказал, что там, наверху, у лазаретного барака показался Харрер. Я посмотрел в указанном направлении и увидел высокого, тощего пленного в потрепанной форме,

ковылявшего, опираясь на суковатую палку, в барак. Мы пошли навстречу, и тут же нам встретился еще один пленный, он поздоровался с Зеппом. Зепп сказал мне, что это и есть Карл из Грюнбурга. Он был первым верхнеавстрийцем, с которым я познакомился в плену. Мы быстро сблизились. Я ему сообщил, что благодаря служебным поездкам хорошо знаю Грюнбург в романтическом Штейертале. Он, конечно, хорошо знал Линц. Я ему сказал, что мне очень интересно узнать: когда, где и как он попал в плен и как с ним обращались русские. Одно дело то, что я сам видел и пережил как пленный при капитуляции всей 6-й армии, другое дело — он как одиночный пленный. Потом он мне рассказал всю свою биографию, включая службу в армии. Родился он в 1920 году в Грюнбурге. 28 февраля 1938 года получил аттестат зрелости, окончив гимназию за две недели до вступления гитлеровских войск. Он был одним из последних, кто получил аттестат по австрийским правилам.

Я сказал, что это происходило в то же самое время, когда я сдавал второй (письменный) государственный экзамен в Техническом университете и тоже в последний раз по австрийским правилам. Кстати, нам все время усложняли учебу и экзамены по причине того, что мы не сможем найти работу как дипломированные инженеры, об этом нас постоянно предупреждали.

Устный экзамен я сдавал уже тогда, когда гитлеровцы вступили в Австрию, но еще по старым правилам и с прежней экзаменационной комиссией. Чуть позднее, при Гитлере, дипломированных инженеров уже не хватало и экзаменовали не так строго. И неудивительно, что большинство окончивших высшую школу шло к нацистам.

А Карл рассказал, как он пробавлялся временной работой, потому что ему еще не исполнилось восемнадцати лет и его не принимали на федеральную службу. В октябре 1938 года он устроился в финансовое управление и работал там до конца 1940 года, когда его призвали выполнять военную трудовую повинность. Вначале его направили на строительство пресловутого Западного вала. В июне он был прикомандирован к саперной части под Саарбрюккеном и там в частях полевой жандармерии обучался регулированию дорожного движения. Его пост находился на трассе, идущей от Нанси. В конце сентября Карл демобилизовался, а в начале октября его призвали в армию в Линце и поместили в артиллерийской казарме, где он был обучен как пехотинец. Затем он сам стал инструктором, пока егс[^] не послали в Россию на центральный участок фронта под Орлом. В конце октября он вернулся в Линц, будучи ефрейтором, а в конце ноября

его прикомандировали к маршевой роте в Винер-Нойштадте, рота предназначалась для пополнения 100-й истребительной дивизии в районе Винницы и Гайсина. Там он заболел дизентерией и лечился в госпитале сначала в Кракове, а потом в Линце и был уволен как пригодный только для гарнизонной службы. В феврале 1942 года открылись лыжные курсы на Пестлингберге. Ему очень хотелось закончить их, хотя он еще не был годен к строевой службе. Он добился, чтобы врач признал его годным к строевой службе, и его зачислили на курсы. В марте 1942 года после их окончания его опять направили в Санкт-Пельтен, а затем он попал в Кёнигсбрюк под Дрезденом, где формировалась 384-я воздушно-десантная дивизия «Рейнгольд». Это было аэромобильное соединение в составе 6-й армии. Оттуда дивизия еще в апреле была переброшена в Россию в район Славянск — Сваровка, где оставалась в резерве до 17 мая 1942 г. 17 мая 1942 года началось второе сражение под Харьковом.

Я вспомнил и сказал Карлу, что тоже воевал под Харьковом радистом 44-й пехотной дивизии генерала Дебуа, того самого, который наградил Гитлера во время 1-й мировой войны железным крестом. Что касается событий под Харьковом, то он был захвачен немцами осенью 1941 года и удерживался в течении всей зимы, несмотря на все усилия русских вернуть его. Наша дивизия занимала позиции восточнее Харькова в Андреевке на Северном Донце. По этой причине солдаты не получали отпусков, несмотря на то, что многие уже были почти два года в армии и более полутора лет на фронте. Русские, как нам казалось, боялись нашей дивизии, они были хорошо информированы о нас. Когда положение под Харьковом выправилось, нас хотели вывести с этого участка. На смену нам пришла дивизия «Лунный свет». Но в первый же день русские заметили это и совершили прорыв. Нас вынуждены были вернуть обратно и направить на помощь нашим преемникам. Как только русские об этом узнали, они сразу же прекратили свои атаки. Дивизия осталась на фронте и участвовала в дальнейшем наступлении до Сталинграда. Я ни разу не имел отпуска. «Вы тогда стояли у Изюма, я хорошо помню 44-ю дивизию», — заметил Карл. Он был тогда в велосипедном взводе полка особого назначения. Затем началось наступление на Барвенково, Лозовую, Харьков и Воронеж. В ходе наступления дивизия снова сменила направление и пошла на Старый Оскол. В конце сентября 1942 года его ранило, и он попал сначала в главный полевой сортировочный госпиталь в Кизиляки, а затем в госпиталь в Лемберге (Львове). После выздоровления его направили в запасную воинскую часть в Брандау на Эльбе у Праги, которая вскоре была переведена в Плауэн в Фогтлан-

де, а затем под Дрезден. В ноябре 1942 года с маршевым пополнением его опять направили в Россию, под Сталинград, в состав 6-й полевой армии. Это было еще до сталинградского окружения. Вначале они прибыли в Сталине, где находился большой аэродром, там их расквартировали и распределили по номерным группам для переброски в «котел». Они сидели на аэродроме и ждали вылета, теряя терпение, так как вылет все откладывался, а они не могли понять, по какой причине. В то время, можно сказать, на их счастье, как они поняли потом, русские захватили сначала аэродром у Питомника, а вскоре за ним и аэродром у Гумрака. Теперь отправка самолетами была уже невозможна.

В ходе беседы я рассказал ему о трагическом случае, который произошел в радиоотделении, где я был радистом. Только мы знали, другие не знали, о чреватой роковыми последствиями ошибке радиосвязи, которая привела в какой-то степени к неожиданному падению полевого аэродрома «Гумрак». Радиостанция, осуществлявшая связь для защиты аэродрома, получила приказ передать радиограмму, зашифрованную, как обычно, шифровальной машинкой: «Занять силой подразделения аэродром «Гумрак»». Однако при зашифровке они допустили ошибку и радировали: «Занять мот. силой аэродром Гумрак». Но так как принимающее подразделение служило для военно-воздушного обслуживания дивизии и не располагало «мот.» (моторизованной) силой, то там решили что радиограмма попала к ним ошибочно и их не касается. Поэтому командование ничего не предприняло и даже не сделало запрос. Им даже не бросилось в глаза, что в радиограмме было строго запрещено применять словесные сокращения слов, чтобы исключить подобные ошибки. К тому же радисты не знали, что русские прорвались и были совсем близко.

Последствия были ужасными. Аэродром некому было и нельзя было защитить, так как русские появились внезапно, а воевавшие на переднем крае части отошли в другую сторону и на аэродром об этом не сообщили. Произошло нападение на самолеты как раз в тот момент, когда в них загружали раненых и больных. Чтобы не отдать самолеты в руки русских, со взлетом очень спешили, оставляя раненых и больных на произвол судьбы. Некоторые из них в паническом отчаянии хватались за крылья и колеса самолетов, только бы не остаться и не попасть в плен, но, обессилев и очоленев от мороза, падали и разбивались, их, разумеется не подбирали и не хоронили. Так мы остались без самолето!?. В руки русских попал последний аэродром. Это тоже явилось одной из причин, хотя и не решающей, гибели 6-й немецкой армии в Сталинграде.

Карл с у^касом выслушал мое сообщение и продолжал рассказывать дальше. Так как воздушный путь был уже невозможен, их присоединили к танковой части, которая прибыла со стороны Ростова через калмыцкую степь и должна была наступать на Сталинград. Они двигались за танками, это был изматывающий переход. По пути всех встречных и оставших брали с собой. Собралась пестрая и довольно странная группа солдат, многие из которых даже стрелять не умели. Раньше они служили в обозе, на кухне или в других военно-вспомогательных службах, и стрельба в их обязанности не входила. Хотя Карл все еще был ефрейтором, он возглавлял большой сборный взвод в 40 человек.

Однажды, в феврале 1943 года, когда русские глубоко прорвались на запад от Сталинграда в направлении Днепропетровска, от командира их роты пришел приказ довольно странного содержания: «Солдаты, от скорости вашего продвижения зависит, удастся ли вам выбраться из этого дерьма!» Их поделили на мелкие группы и приказали идти и доложить о себе в некоем штабе «Штефанус». Они предприняли все, чтобы узнать, где находится этот штаб. Было уже холодно, стоял мороз. Они лежали на понтонах в ожидании какой-нибудь попутной колонны. Им нужно было торопиться с явкой в штаб «Штефанус» и успеть перейти Днепр по плотине у Запорожья до ее взрыва. Тут они встретили солдат, которые отсоветовали им спешить с явкой в этот штаб, потому что их сразу пошлют обратно через Днепр в другую часть и введут в бой против русских, которые уже глубоко прорвались. Они приняли этот совет к сведению и в штаб явились не сразу.

Я спросил Карла, в каком звании он тогда был. Карл ответил, что все еще носил ефрейторские погоны, так как никогда не ходатайствовал о направлении на курсы унтер-офицеров. Позже его кое-кто этим укорял. Карл был старшим по званию в этом сборном отряде и единственным, кто имел аттестат зрелости. Он вырос в бедности, и у него развился комплекс неполноценности, из-за чего он и не помышлял выслуживаться в унтера. Я возразил: довод мне кажется неубедительным хотя и свидетельствует о скромности. Я тоже был на военной службе только ефрейтором, несмотря на высшее образование, но как австриец я не хотел быть офицером немецкой армии.

Они тогда долго проторчали у железнодорожного моста, который охраняла австрийская команда, и хорошо отдохнули, в чем очень нуждались. Затем им стало известно, что остатки 44-й, 100-й и 384-й дивизий должны собираться в небольшом селении под Днепропетровском. Там они узнали, что отправка предполагается через три дня. Их погрузили в

товарные вагоны и куда-то повезли. Все думали, что едут на восток. Но их повезли на запад. Говорили, что 6-я армия вновь дислоцируется во Франции. Так как в вагоне не было окон, то они не могли ориентироваться, даже по характеру местности. Однажды утром Карл проснулся от громкого треска, дверь вагона открылась, и он выглянул наружу. Он не поверил своим глазам: в небе висели аэростаты заграждения, и ему показалось, что они в Силезии. Он не ошибся. Без остановок проехали через Германию до Антверпена. В порту их маленькими группами пропустили через большую дезинфекционную камеру.

Затем путь их пролегал по Северной Франции до Сент-Омера близ Лилля, оттуда в конце августа Карл прибыл в Бретань, а в начале сентября 1943 года — в департамент Кальвадос. В тех пунктах, которые они проезжали, формировались части и подразделения, а Карла направили на курсы младших командиров, которые он успешно закончил и стал унтер-офицером. После учебы ему и его другу предоставили право выбора: получить пасхальный отпуск или сразу пойти учиться в школу офицеров. Он выбрал отпуск. Друг — школу, решив пойти по стопам своего брата. Карл получил трехнедельный пасхальный отпуск и поехал домой. Во время отпуска пришла телеграмма с предписанием прибыть в Дёбельн под Лейпцигом и в составе саксонского батальона отправиться в свою дивизию. В подразделении было много австрийцев.

Карл так и не попал на офицерские курсы, в отличие от своего друга и земляка, который был отправлен в Югославию и пал в первом же бою с партизанами.

Подразделение было переброшено на восток и прибыло в Перемышль. Там уже были тысячи солдат. Их отправляли в Одессу, Кривой Рог и Кировоград. Карл присоединился к своей части. Из-за больших потерь его направили в штаб пехотного батальона, где он сразу был назначен командиром пехотного взвода. По положению все кандидаты в офицеры должны командовать взводом. Бои шли на высоком берегу реки. Карл получил задачу: спуститься со своим взводом вниз и удерживать мост. Темнело рано, был ноябрь 1943 года. Он со своими людьми пошел в разведку. Но их остановила атака русских в направлении села, и они сразу попали в полукольцо. Со всех сторон началась стрельба, а в небо взлетали русские ракеты, которые отличались от немецких белых немного желтоватым оттенком. Карл доложил в штаб батальона и командиру роты» что их положение становится почти безнадежным, но получил приказ оборонять позицию и поддерживать огнем контратаку. Однако никакой контратаки ни в этот день, ни на следующий не было, шел вязкий, упорный

бой. 27 ноября 1943 года в первой половине дня русские почти полностью овладели селом. Вначале Карл удерживал своих солдат на позиции, а потом приказал отступить в направлении штаба батальона, но тут вдруг появились русские уже с другой стороны и преградили путь отхода. Все смешалось в паническом беспорядке. Карл осознал всю безвыходность положения и дал приказ сдаваться в плен. Они бросили оружие и подняли руки.

— Во всяком случае вы не намеревались бороться до последнего патрона, как требовало немецкое командование,— сказал я. В «котле» у Сталинграда такое бывало. Мой брат погиб 10 января 1943 года, когда русские начали свое генеральное наступление с целью ликвидации окруженной группировки и совершили прорыв у Бабуркина. Об этом мне позже уже в лагере рассказал оставшийся в живых солдат его подразделения.

— Это было бы полной бессмыслицей, потому что мы находились внизу и должны были перейти через реку, а наверху стояли русские, для которых мы стали бы хорошей мишенью. Нас и так осталось четверо из двадцати трех,— ответил Карл.

Я сказал, что они поступили правильно, ибо сражаться в той обстановке было бы самоубийством. Нацисты, правда, прославили бы их героизм, разумеется, схоронясь глубоко в тылу.

Путь к русским преграждала небольшая илистая река. Вода была очень холодная, шли последние дни ноября. Переправа оказалась очень тяжелой. Карл подумал, что он ранен, но когда вышли из воды, понял, что никакого ранения нет, просто сапоги отяжелели от воды и тины. Люди находились в шоковом состоянии, а один из четверых был ранен, что с ним потом случилось, Карл не знает. Когда подошли к русским, метров на тридцать, Карл увидел как русские направили на них винтовки и инстинктивно упал на землю, казалось, что русские хотят подпустить их поближе и уничтожить. Наблюдавшие эту картину в бинокль люди из его батальона решили, что все четверо погибли. Позже об этом сообщили домой. Они не могли видеть, что произошло потом. Русские подошли к залегшим солдатам и, как обычно, спросили: «Часы есть? Сдавай оружие!» Я сказал Карлу, что мне это знакомо из собственного опыта.

Потом они все время шли быстрым шагом с поднятыми руками. Карл, полагал, что русские его расстреляют, так как унтер-офицеров они считали все же офицерами, а офицеров, как ему внушили, обычно расстреливали. У русских низший офицерский чин - младший лейтенант, в австрийской ар-

мин - вице-лейтенант, хотя зло был старший из унтер-офицеров. Карлу страшно не хотелось получить нулю в голову, пусть уж лучше стреляют в спину. Пленение произошло вблизи Александрии, где-то в районе Кривого Рога и Кировограда. У него сохранилась табакерка, на которой он записал эти названия.

Их привели в какой-то дом. Там с него сняли маскировочную куртку, и среди русских возник спор, кому она достанется. В это время пришел лейтенант и прекратил спор. Он просто скомандовал: «Шагом марш из помещения!» Карл быстро взял свою куртку и отправился вслед за всеми. Если до сих пор он смиренно ожидал расстрела, то теперь у него снова проснулся интерес к жизни, и с этого момента он начал внимательно следить за всем происходящим вокруг. Позже с Карла сняли его добротные сапоги, а взамен дали более тесные и плохие. На следующем привале отобрали и эти, а взамен дали ботинки. Один из его пленных товарищей, выходец из Северной Германии, мучился в невероятно тесных для него сапогах. Но на привале в одном здании, где охранники развели костерок, они обратили внимание на эти сапоги и велели ему их снять. Пленный утверждал, что не может этого сделать, их просто не стащить. Тогда Карл получил приказ помочь ему снять сапоги. Он делал вид, будто пытается это сделать, но не может. Тут один из русских, грозя пистолетом скомандовал: «Давай! Давай!». Теперь ему ничего не оставалось, как снять с товарища сапоги, взамен которых тот тоже получил ботинки.

Затем начались первые допросы. Молодой бравый капитан, хорошо говоривший по-немецки, допросил Карла. Но до этого он с двумя другими пленными сидел на скамейке и ждал вызова. Четвертого пленного не трогали из-за огнестрельного ранения бедра. Пока они ждали, их полукругом обступили русские солдаты и с ненавистью смотрели на них. Время от времени кто-нибудь из русских подходил к ним ближе и давал пинка.

Потом Карла вызвали на допрос к молодому капитану. Тот спросил, в какой войсковой части он служил и какие части находились справа и слева. Он ответил, что только за день до этого пришел из отпуска и действительно не знает. Капитан, как и учили самого Карла на офицерских курсах, не утратил корректного тона, а просто вынул карту местности и приветливо объяснил: «Видите, я хочу вам помочь». Он показал на карту и сказал: «Мы сейчас находимся здесь, вот тут вас пленили, а тут стоит ваш полк». Он называл номера и наименование полков их дивизии, показал на позиции соседних полков и назвал их номера. Карл понял, что русские

знают на самом деле больше, чем он, ибо он только что вернулся из отпуска и его сразу отправили на передовую, где в первом же бою он попал в плен.

Но тут случилось небольшое происшествие, которого он не забудет никогда. У него на шее была серебряная цепочка с серебряным медальоном в виде сердца, в котором хранилась фотография девушки из Инсбрука. На предыдущих осмотрах русские солдаты не заметили этого памятного подарка, а может, и заметили, но не отобрали, теперь же один охранник увидел медальон, с криком схватил цепочку и сорвал ее. Но капитан приказал положить вещь на стол и спросил Карла, что связано с медальоном и кто на фотографии. Он ответил, что получил это от жены на память. Капитан отчитал часового и вернул Карлу цепочку с медальоном. Карл увидел в этом красивый человеческий поступок. Затем им даже дали поесть и после небольшого перерыва допрос продолжился.

На следующий день его опять допрашивали, но на этот раз допрос вел майор с переводчицей. На столе лежал фаустпатрон. Майор спросил Карла, что это такое? Тот ответил, что не знает. Майор, видимо, считал, что, унтер-офицеру эта штука должна быть хорошо знакома. Карл сказал, что совсем недавно вернулся из отпуска, а это, наверно, какая-то новинка. Переводчица сказала, что майор не верит ему. Офицер снова поговорил с переводчицей и уже явно злился, она сказала: майор спрашивает, знает ли пленный, что рискует головой. Затем майор интересовался простыми вещами: сколько человек в отделении и сколько отделений во взводе? Тут Карл сообразил, что русские наверняка знают армейские уставы и дал точные ответы. Затем всех троих в сопровождении охранников повели обратно, причем часовой, шедший рядом с Карлом, нес фаустпатрон и все время играл с ним. Карл был обеспокоен, так как при таком обращении ничего не стоило задеть предохранитель и патрон мог взорваться. Но он не мог сказать об этом охраннику, поскольку только что уверял майора, что впервые видит эту штуку. А ситуация была не безопасна: выстрел сопровождается сильной отдачей, которую надо умело принять плечом. В руках человека неопытного патрон мог натворить бог знает что. Но все прошло благополучно. Было уже 6 часов вечера, и стало совсем темно, а они все шагали. В каком-то селении их заперли в курятнике. Там уже находилось не меньше сорока человек. Все они стояли вплотную друг к другу и почти не могли шевелиться. Над ними на насестах сидели переполошенные куры. Они кудахтали и вспархивали. Остро воняло куриным пометом и пылью от перьев. Все это глеевые должны были терпеть всю ночь, стоя, тесно прижавшись друг к другу, так

как места не хватало даже для того, чтобы присесть. Наконец ночь все же кончилась.

Утром, когда вышли из курятника, Карл встретил немало знакомых сослуживцев. Все они попали в плен во время боев на возвышенности. Тут русский старшина обратился к Карлу: «Господин унтер-офицер постройте-ка пленных!» Карл ответил, что не имеет на это права, так как среди них есть несколько фельдфебелей. Тут русский повторил: «Никаких фельдфебелей, команды подают унтер-офицеры!» Таким образом, ему пришлось построить всех, в том числе фельдфебелей и даже одного обер-фельдфебеля. В глазах русских у него, видимо, был самый высокий чин. Затем, после проверки, все сорок пять пленных зашагали дальше. Для Карла это был очень трудный переход. К тому времени ему снова сменили ботинки, новые были малы, поэтому вскоре он вынужден был их снять и в течение шести первых декабрьских дней идти в одних портянках на ногах. Это было самое страшное время, к тому же их почти не кормили. Часовые, видимо, не знали, что пленных полагается кормить. Вечером им готовили только суп из пшенки в железных ведрах или тазах. Пленные кто как мог размещались вокруг ведра, а у некоторых не было своих ложек, им приходилось ждать, пока кто-нибудь не выручит. К супу выдавался небольшой кусок хлеба. Мела вьюга, было холодно, а у Карла из-за тесной обуви болели ноги, положение становилось отчаянным. Постоянно им встречались русские солдаты, направляющиеся на фронт, некоторые из них подбегали к пленным и давали пинка, а одного даже сбили с ног.

Однажды им объявили, что они скоро придут в лагерь-распределитель. Во второй половине дня они действительно добрались до него. Там уже находились другие пленные. Их сразу, до наступления темноты отправили на санитарную обработку. Прежде всего нужно было постричь друг друга, для этого им выдали несколько ножниц и две машинки для стрижки волос. Они решили стричь машинкой, вещь хорошая, все когда-то видели, как элегантно ими пощелкивали парикмахеры. Но вскоре пришлось разочароваться. После нескольких минут работы с машинкой затекали пальцы и стричь было невмозготу. Пришлось перейти на стрижку ножницами. Это тоже было не просто, никому не удавалось ровно срезать волосы. Результат был отвратительный, все с ужасом и смехом глядели друг на друга.

Когда санобработка закончилась и они вышли из помещения, как раз началась раздача пищи. В первую очередь ее получали пленные, прибывшие раньше, так как вскоре им предстояло двигаться дальше. Вновь прибывших решили кор-

мить во вторую смену, пока не подготовят следующую партию для отправки. Но едва успела поесть первая партия, как раздалась команда: вновь прибывшие будут есть сейчас же, так как и им тоже предстоит двигаться дальше. Но у многих не было никакой посуды, даже пустых консервных банок, поэтому одним удавалось поесть быстро, а другие ждали, когда у кого-либо можно одолжить банку. Около пяти часов вечера колонна двинулась в дальнейший путь. Наступила ночь. Вереница пленных растянулась гармошкой, все были одинаково изнурены и слабы. Постепенно многие начали отставать и оказывались в хвосте, иногда люди слышали, как оттуда гремел в темноте выстрел, и собрав последние силы, старались идти вперед. Вскоре усталость снова брала верх, и опять понемногу отставали. Снова слышался выстрел, пленные встряхивались и двигались дальше. Карл, конечно, не знал, действительно ли часовые убивали отставших или просто стреляли в воздух, подгоняя таким образом пленных. Было очень тяжело, не хватало сил, но несмотря ни на что, пленные продолжали идти, опасаясь быть застреленными. Правда, многих из отставших потом видели в лагере.

Наконец они пришли в колхоз, и их поместили в пустой коровник, сухой, но пропитанный запахом навоза. Это не помешало смертельно уставшим людям повалиться на пол и моментально заснуть. Примерно в полночь им сказали, что здесь они пробудут до утра. Но едва прошел час, как поднялась суматоха, пленных будили, поднимали, приказывали выходить и идти дальше, на вокзал, до которого оставалось около часа ходу. Русские предпринимали все, чтобы заставить их подняться, среди многих сотен пленных были и такие, кто предпочел бы дать себя застрелить, только бы не вставать и не шагать дальше. Но в конце концов усилия русских увенчалось успехом, и жалкое шествие возобновилось. Говорили, что нужно идти только до вокзала. Сколько километров они прошагали, Карл уже не помнит, так как пребывал, наряду со всеми, в состоянии крайней апатии. В предрассветные сумерки они действительно пришли на вокзал, где их уже ожидало большое количество товарных вагонов, в которых они доехали до Полтавы, немного передохнув в дороге. Выгрузились на вокзале за городом, и колонна двинулась вверх по улице к центру. Население было очень враждебно настроено к пленным немцам. Люди кидали в них снежками, мелкими камнями и кричали: «Нема молоко! Нема курица! Нема яйцо!» Эти продукты немцы в период оккупации силой у них забирали.

На окраине города располагался лагерь для военнопленных, в который Карл попал в середине декабря, это был его

первый лагерь. В нем находились как колхозные сараи и конюшни, так и настоящие лагерные сооружения. Жило там около 2000 военнопленных, примерно по 500 человек в каждом сарае. Помещения были сильно переполнены, люди лежали на полу тесными рядами, поджав ноги, которые почти всегда упирались в чью-нибудь голову. Было много больных. Ежедневно умирали несколько человек, главным образом от поноса и сыпного тифа. Однажды Карла чуть не посадили под арест, так как он не поприветствовал русского офицера, хотя никто до этого не говорил, как вести себя при встречах с офицерами. Офицер задержал его и привел к переводчику, тут ему объяснили, что если он не будет приветствовать русских офицеров, его накажут.

В сараях были два торцевых выхода и один в центре. Почти всем приходилось из-за поноса часто бегать по нужде. Поэтому внутри бараков не прекращалось хождение, что по ночам очень беспокоило спящих, так как бараки не освещались. Лежащие с края постоянно получали пинки, на них то и дело наступали, кто-то падал, слышалась ругань: «Эй! Не доумок! Поосторожнее не можешь!» Но все было бесполезно, поскольку в темноте люди натыкались друг на друга, а для прохода почти не оставалось места.

Иногда пленных привлекали к каким-либо работам: расчистке дорожек от снега, захоронению трупов своих же солдат. Последнее происходило так: покойников раздевали, одежду бросали в кучу на задах лагеря, а голые трупы складывали на телегу с решетчатыми бортиками. Затем их отвозили на кладбище в километре от лагеря, где отрыва'ли ряды могил. Мерзлая земля была покрыта толстым слоем снега, ведь уже подходил к концу декабрь 1943 года. Пленные разгребали снег, долбили землю и в неглубокую могилу опускали трупы, засыпая их землей со снегом. При этом многие думали, что весной их тут уже не будет и не боялись скандала из-за неправильного захоронения. Они поступали вопреки совести, отказываясь достойно захоронить своих же товарищей.

Из этого лагеря многие пленные, в том числе и Карл, были перевезены в Харьков. Там их разместили в недостроенных зданиях. Все окна были заколочены досками, и только в самом верху был оставлен небольшой просвет, через который проникало немного воздуха и света. Лежать приходилось на каменном полу. Среди заключенных нашлись такие, которые, мягко говоря, вели себя не по-товарищески. Это были свирепые типы, в основном из верхнесилезцев, настоящие громылы. Такие были бригадирами и в Красноармейске. Мы их между собой называли «разбавленными поляками». Один из них в лагере под Харьковом так отделал Карла,

что тот попал в лазарет. Правда, это был не настоящий лазарет, а просто дом вне лагеря с деревянными Полами и кое-какими медикаментами. Там он познакомился с одним венцем и еще одним пленным, у которого так болело горло, что изо рта сочилась гнойная жидкость. Они решили, что его необходимо доставить в настоящий лазарет. Карл вместе с венцем повели больного. Когда они вошли в приемный покой, то уговорились притвориться тоже больными и сделали это так успешно, что всех троих приняли в лазарет как тяжело больных. Их поместили в палату для безнадежных. Душевное состояние Карла было ужасным, так как ежедневно из палаты выносили умерших.

— Дело знакомое,— прервал я рассказ Карла.— Помню, в начале нашего пребывания в лагере Бекетовка там была большая смертность. Проснешься утром, а рядом — труп. Но мы уже и внимания не обращали, оступели от долгого голодания.

Карл ответил, что на него это очень действовало. Он с ужасом слышал предсмертные хрипы и последние вздохи, но он понимал, что в лазарете надо продержаться как можно дольше, чтобы набраться сил и отдохнуть.

В лазарете Карл находился три недели. Когда русские установили, что он здоров, его отправили обратно в лагерь. Пробыв там не очень долго, он был переведен в Усмань. Прежде тут был монастырь, состоявший из маленьких домиков и старой церкви и окруженный высокой стеной. Потом его превратили в склад и сельский клуб. В этом лагере пленные находились на карантине, весна была ранняя, их отправляли вскапывать поле, причем дневной нормой считалась полоса в сто метров длиной и метр шириной.

В этом лагере завязался первый узелок его сложных отношений с НКВД. Он познакомился с одним молодым человеком, утверждавшим, что он был студентом в Граце и просившим Карла подтвердить русским, что знаком с ним с довоенных времен. Позже Карл и сам говорил о себе, что он студент. К этому человеку он испытывал доверие и как-то сказал, что ждет-не дождетя настоящего тепла, чтобы унести ноги. Он даже не подозревал, что в лагере были шпики НКВД, и одним из них оказался «студент из Граца». Когда формировали этап для отправки в Сталинград, его назначили старшим в вагоне. Он начал возражать: у них уже был староста комнаты, но его не послушали и сделали старшим. По его мнению, причиной тому могло быть только желание всегда иметь его под рукой и в поле зрения.

Он вновь отказался принять на себя эти обязанности, потому что прежний староста, очень приятный парень из Силезии, легко объяснялся с русскими, чего Карл еще делать

не мог. В апреле, когда прибыли в Бекетовку, он имел при себе дневник, где были записаны названия всех населенных пунктов, в которых он побывал в течении войны, что вряд ли представляло интерес для русских. В Бекетовке вновь прибывшим зачитали список пленных, которым запрещалось выходить за территорию лагеря. В этот список был включен и Карл. Сначала его работа состояла в помощи русскому врачу — доктору Васильеву. Русские, вероятно, никогда не сомневались в том, что он студент. Однажды доктор Васильев подошел к нему с латинской книгой и попросил кое-что перевести, так как сам он, якобы, не разбирается. Карл с охотой ему перевел, ведь в школе он хорошо успевал по латыни. Наверняка это было проверкой, потому что рядом находилось помещение НКВД, и дверь была только притворена. Позже оттуда вышел офицер и спросил доктора Васильева, доволен ли тот своим ассистентом. Офицер когда-то уже допрашивал Карла, но явно ему не доверял, поскольку Карл попал в список подозреваемых. Ранее двое бежали из бекетовского лагеря, но вскоре были пойманы. В НКВД всех их считали опасными, к ним причислили и Карла, все они были на заметке.

Я сказал, что помню, как начали вдруг укреплять проволочные ограждения. Нам говорили, что в лагерь должен прибыть очень опасный контингент. Помню, как кто-то из нас спросил одного из беглецов, осмелится ли он бежать при такой ограде? А тот посмотрел на нее и сказал: «Было бы смешно здесь не пройти».

Три дня спустя он бежал с еще одним пленным. Через две недели второго поймали. Он уже успел довольно далеко уйти, но был пойман при попытке достать еду у местного населения. Его привезли в лагерь, и он, весь в крови, предстал перед строем пленных, вероятно, как предостережение остальным. Затем его посадили под арест и много раз допрашивали, чтобы он сказал, в каком направлении двинулся первый беглец. Но он этого не знал. Я не помню, нашли беглеца или нет.

Потом Карл был помощником лагерного врача. Он дважды ассистировал доктору Гиргенсен при вскрытии трупов двух умерших пленных, кстати, при вскрытии не разрешалось присутствовать кому-либо из лагеря. Уже тогда существовало предписание тщательно расследовать каждый случай смерти пленного, чтобы установить причину смерти и возможность ее предотвращения. Так было еще в •Бекетовке. Когда Карл прибыл в Красноармейск, его направили в бригаду румына Лозована, которая работала на подземных участках. Румыны как бригадиры пользовались у нас дурной

славой: они были жестоки со своими людьми и раболепствовали перед русскими. Бригада Лозована, по-видимому, числилась штрафной. Она выполняла самые тяжелые работы. Говорили, что Лозован не дает в обиду своих людей и обращается с ними нормально. Он придерживался инструкции, но знал и свои права и не допускал перегибов. Когда надо, он становился твердым, как камень. Люди чувствовали это, и он мог опираться на них. Если они хорошо справлялись с работой, а русский начальник писал только 100%, то Лозован рвал лист наряда и говорил, что если будет указано меньше 130%, то он, Лозован, позаботится, чтобы на эту работу пленным больше не давали. Управление лагеря тоже было заинтересовано, чтобы пленным записывали больше 100%, так как это влияло на доход лагеря: чем больше значилось процентов, тем больше платили лагерю. Но с немцами Лозован обходился лучше, чем с румынами. Последние привыкли к рукоприкладству и ползали на коленях перед каждым, у кого чуть больше власти. Для Лозована они были примитивным народцем, цыганами, а себя он причислял к более высокой касте. Он был «господином», обер-фельдфебелем «железной гвардии». У меня было свое мнение в отношении румын: среди них попадались люди, выросшие в хороших условиях, образованные и тонко чувствующие, но были и крайне неразвитые, примитивные, которые позволяли обращаться с собой, как с низшей кастой. В то время в нашем лагере уже существовала австрийская группа, к ней сразу присоединился Карл. Так мы и познакомились. Он даже участвовал в оформлении стенных газет с пространными статьями, для чего сам изготовлял письменные принадлежности и чернила. Это была кропотливая работа, но она во многом способствовала постепенному сплочению всех австрийцев лагеря, что вселяло новые надежды на восстановление свободной Австрии. Правда, активно работали лишь немногие. Чем больше мы сталкивались с немцами, тем сильнее становилось наше убеждение, что мы, австрийцы, являемся самостоятельной нацией. Вначале нас было немного, и мы встречались у Харрера в каменоломне, что тоже побуждало к сплочению. Разумеется, встречи происходили в свободное от работы время, так как все, кроме Харрера, проводили весь день в разных рабочих бригадах. Карл, как уже упоминалось, наряду со многими пленными, был на земляных работах. Зимой они вели канал вниз к Волге, летом строили дорогу, для чего добывали необходимый материал в руинах каменных зданий, где и я находил свои электродетали. Вскоре русские произвели его в «специалисты по мощению дорог». Это произошло следующим образом.

Румынские дорожники почти весь день просиживали в ожидании материала, а когда его доставляли, быстро пускали в дело и снова ждали. Когда их подгоняли, они отговаривались тем, что постоянно задерживается доставка материала. А Карлу с товарищами приходилось таскать на носилках песок и булыжник с развалин, каждый раз проделывая немалый путь. И никогда им не удавалось доставить столько материала, чтобы обеспечить строителям бесперебойную работу, хотя носили и другие пленные. К тому же дорожники получали свои проценты, а грузчики нет. Когда стали искать дополнительных рабочих, умеющих мостить, Карл сразу вызвался и тоже стал получать проценты. Работа оценивалась по количеству квадратных метров за день, а качество не учитывалось. Поэтому он мостил так, чтобы занять камнями как можно больше площади. Правда, такая дорога не выдержала бы серьезной нагрузки. Камни нужно было укладывать так, чтобы поверхность была покатою, снижаясь к обочинам, но никто не знал, как это делается, в том числе и румыны.

Затем им пришлось строить еще один канал. Между лагерем и заводом протекала маленькая речка, надо было прокопать для нее траншею под железной дорогой. Каждый день выкопанную траншею заливала вода, которую приходилось вычерпывать, предварительно разбив и выбрав лед, образовавшийся за ночь. Был февраль, стояли сильные морозы. Однажды Карл провалился по грудь в воду. Его отвели сначала в находившуюся поблизости будку путевого обходчика, а затем в лазарет. Он получил двухстороннее воспаление легких и снова попал в палату для тяжелобольных, где умирали люди. Он с ужасом видел, как из лазарета то и дело выносят покойников.

Вернулся он в таком состоянии, что его не сразу узнали друзья, он весил всего 45 кг. Тут Харпер помог ему определиться денщиком к Тротцу, немецкому пленному, лагерному бухгалтеру. Он относился к лагерной аристократии и был очень уважаем среди русских. Кроме того, он превосходно говорил по-русски, был толковым специалистом и корректным человеком с хорошими манерами и потому стал опорой лагерного начальства. Таким пленным разрешалось иметь кого-либо в услужении, в Англии для этого существовали слуги, в немецком вермахте офицеры, часто даже унтер-офицеры, имели денщиков. В австрийской армии во время первой мировой войны их называли «пфайфендекелями» (крышка для трубки, затычка).

Это назначение давало Карлу новые шансы, хотя вначале пришлось убирать маленькую комнату Трогца на втором этаже каменного здания, а Карлу стоило больших усилий под-

пять полведра воды. Зато завязались контакты с разными людьми, и он часто слышал, что ищут пленных, которые могли бы хорошо говорить — а еще лучше и писать - по-русски. Было несколько таких, которые могли говорить, но писать не умели, это Никель Ганс, Тротц, Шлее, инженер Хрдличка — будущий президент Австрийской рабочей палаты. Карл не упустил свой шанс и с помощью Тротца начал учиться писать по-русски. Вскоре ему это пригодилось. Когда пришел этап и знающих русский язык не хватало для регистрации пленных, старший лейтенант Сковеронский спросил у Тротца, не может ли тот дать в помощь денщика. Карл постарался, и русский офицер,— до войны он был преподавателем математики,— остался очень доволен им. Я тоже хорошо знал старшего лейтенанта Сковеронского, он помнил, что я изучал прикладную математику и был геодезистом. Однажды он увидел написанные на моем котелке дифференциальные уравнения, которые я часто решал для тренировки мозга, ослабленного после сыпного тифа, и спросил, не был ли я раньше преподавателем математики. С тех пор я с ним иногда разговаривал.

Теперь по прибытии очередного этапа Сковеронский брал в помощники Карла в качестве писаря и счетовода. Карл уже окреп, и его признали трудоспособным. Они все больше сближались и вместе решали математические задачи. Карлу это давалось легко, он недавно сдал на аттестат зрелости и был лучшим в классе по математике. По складу характера Сковеронский больше напоминал гражданского, чем военного. Правда, он мог вспылить, но в целом был хорошим человеком.

Затем случилось непредвиденное происшествие с Тротцем, которого НКВД подозревало в том, что он являлся участником украинского националистического движения. У него была какая-то история с русской женщиной, поэтому его перевели в другой лагерь. Преемником стал Михаэль Шлее, который еще лучше владел русским языком, порой даже поправлял Тротца по части грамматики. Шлее прежде работал в немецком посольстве в Болгарии, он, кажется, тоже был на подозрении у НКВД. Вскоре у Шлее обнаружили тяжелую форму туберкулеза, и он стал непригодным к службе. Карл остался один, как писарь бухгалтерии он уже хорошо освоил работу, очень старался и даже придумал много разных наглядных таблиц для улучшения отчетности.

Взяв всю работу в свои руки, Карл сумел оценить заслуги Тротца перед военнопленными. Тот привел в полный порядок склад, это дало возможность вовремя раздавать зимнюю одежду, а при необходимости заменять ее.

Я тоже заметил, как постепенно налаживался наш быт. Если наступала оттепель и мы возвращались в лагерь в мокрых валенках, их уже вечером заменяли ботинками, затем сушили и при наступлении холодов вновь выдавали вместо ботинок. Мы только не знали, что в улучшение быта вместе с русскими много сил вложил и Тротц. Русские нам выдали валенки и теплую одежду, а все это нужно было беречь и хорошо хранить. Тротц был природным организатором. Благодаря ему мы всегда имели чистую одежду.

Теперь эту работу выполнял Карл, правда, только до 20 апреля 1946 года, когда сотрудники НКВД, заподозрив его в подготовке попытки к бегству, решили изолировать Карла. Он мне рассказывал об этом уже после возвращения домой. В этот период я и Харпер уже пять месяцев находились в лагере 165/2 под Москвой на антифашистских курсах и попали домой в середине августа 1946 года. Карлу не разрешили поехать домой с нами, и он вернулся только год спустя.

Неприятности начались в ту пору, когда он жил в каменном здании в маленькой комнате с печкой. Между печью и стеной была небольшая щель, закрытая сеткой от мух. Раньше здесь жил Тротц, и Карл оставил все как было. Во время общих осмотров ему разрешалось оставаться в комнате, не выходя на построения. Однажды пришли с проверкой, он, как обычно, разделся догола, его осмотрели, обыскали всю комнату, но ничего не нашли. Позже вновь пришли часовые, подошли к печке и выдернули сетку, при этом выпали ножницы для резки проволоки. Он сразу заметил, что обыск был целенаправленный, но не знал, зачем это делалось. Он этих ножниц не приносил и тем более не прятал. Сама мысль об их применении казалась ему безумной. Тем не менее за попытку к бегству его сразу поместили в подвальный карцер. Его товарищ Шлее написал коменданту лагеря, что Карл к этим ножницам не имеет никакого отношения и никогда не собирался бежать, но это не помогло. Он оставался в заключении, а двое румын заняли его место. Комендант лагеря капитан Барбасов, который хорошо относился к пленным, ничего не мог сделать, власть НКВД распространялась и на него. Один из преемников Карла, румынский профессор Катаня, противный субъект, ходил к нему поинтересоваться происшедшим и вел себя так, как будто ничего не знает, хотя сам уже занял его комнату.

Русские, напротив, сочувствовали Карлу и хорошо к нему относились. Как арестованный онемел право только на маленький кусочек хлеба и баланду. Но часовые тайком приносили ему куски побольше. Они, как могли, заботились о нем. Карл же делал все, чтобы не затосковать, и даже принялся

за изучение Живущих в карцере муравьев. 26 апреля бухгалтерии пришлось подводить итоги месяца, то есть составлять отчет, однако вновь назначенные люди в этом совсем не разбирались. Они испросили разрешения НКВД и пошли к Карлу за разъяснениями. Он сообщил только то, что они спрашивали, но ни слова больше, понимая, что пока они в нем нуждаются, ему ничто не угрожает. Выпустить его должны были 1 мая, но в связи с праздничным днем этого не случилось. 2 мая его освободили из-под ареста и направили в бригаду истопников — подвозить на тачке уголь в котельную. Утром следующего дня он пришел к будке и встал в строй, но тут ему сказали, что выход из лагеря запрещен и назначили его на работу в прачечную, а перед этим велели сделать дезинфекцию в помещении румын. В прачечной пленные имели возможность получать кое-что дополнительно, потому что стирали белье и для русских, и для лагерной знати.

В сентябре 1946 года его включили в список и с несколькими другими пленными перевели в лагерь № 15 в Ельшанке под Саратовом. Контингент состоял на две трети из венгров и на одну из немцев. Напротив находился лагерь № 14, в нем жили только венгры. Некоторое время Карл работал на лесопилке, пока его не вызвал лейтенант Воронов, который был тяжело ранен на фронте и с тех пор, как поговаривали, люто ненавидел йемцев. У него внезапно возникла большая проблема: недавно удрал с работы русский бухгалтер. Комендант лагеря узнал, что Карл еще в Красноармейске занимался всеми бухгалтерскими работами, производил расчеты зарплаты, продовольствия, вещевого имущества, составлял отчеты и т. д., за что получал улучшенное питание. На вопрос русских, выполнял ли он раньше самостоятельно бухгалтерские работы и решится ли выполнять их в этом лагере, Карл ответил утвердительно. Если в Красноармейском лагере было 2000 пленных и он справлялся, то здесь в лагере на 600 человек тем более справится, сомнений не было. Обрадованный русский комендант велел как следует накормить его, а затем сразу приступить к работе. Была середина сентября, а в конце месяца, а именно, 26 сентября, наступал срок подведения итогов и сдачи отчетов. 23 сентября комендант спросил Карла, укладывается ли он в срок, на что тот ответил утвердительно, потому что был хорошо подготовлен Тротцем. Все отчетные бланки ему пришлось изготовлять самому, ибо не было печатных образцов. Это позволило сделать их более наглядными. Утром 26 сентября, заш^т комендант, уже хорошо знавший его, и дружески поприветствовав: «О, Карла», спросил, готов ли отчет. Да, конечно, ответил Карл. Комендант очень обрадовался, так как у него были большие неприятности из-за

удравшего бухгалтера, который еще и растратил большие суммы. Комендант сказал, что мало просто сдать отчет, надо составить его правильно. Когда они проверили отчет и все сошлось, Воронов сразу подобрел и велел Карлу пойти к шеф-повару, венгру, и потребовать котелок самой лучшей еды. Таковую же еду он будет получать и в будущем. Для шеф-повара в качестве ответной услуги пришлось ежедневно писать меню для разных категорий пленных: работающих, выздоравливающих, дистрофиков, госпитализированных и др. Прейскурант был необходим как подтверждение расхода продуктов и для проверки специально уполномоченными контрольными комиссиями. Карл получал каждый день котелок супа, но качество питания понемногу ухудшалось, в общем выходило не так, как распорядился лейтенант Воронов. Жаловаться Карл не хотел, считал, что это бесполезно, потому что все места на кухне были заняты венграми. Однажды, когда он вышел из кухни со своей едой, мимо проходил лейтенант Воронов. Заглянув в котелок, он спросил, почему Карлу дали обычную еду, а не лучшего качества, и говорил ли он об этом шеф-повару. Карл подтвердил, но сказал, что не стоит из-за этого беспокоиться. Лейтенант сразу же направился на кухню, разделал повара под орех и снял его с должности. На его место назначили немца, треть персонала также была заменена немцами. Воронов терпеть не мог нарушений дисциплины. Он был честным и справедливым начальником, хотя немцы его боялись. В будущем Карл не знал особых трудностей, более того, немцы стали обращаться к нему, когда им нужно было что-то получить от русского коменданта. Карл упрашивал лейтенанта Воронова оказать помощь «ненавистным» русскому офицеру немцам, и тот по возможности не отказывал.

Некоторое время все шло хорошо. Затем возникло новое осложнение. Его снова почему-то вызывали на допрос в НКВД. Он не знал, предстоит ли обычный, очередной допрос или же его могли оговорить или заподозрить в слишком тесном общении с девушками. У Карла было много дел в русском штабе, где работали две девушки, но ни с одной из них у него не было близкого знакомства, хотя он часто с ними разговаривал. Одна из них не стала бы возражать против этого, но он не хотел. Другая, секретарша майора, частенько болтала с ним, в основном о футболе, так как была страстной поклонницей сталинградского футбольного клуба. Дальше этого дело не шло, хотя, возможно, другая девушка ревновала к подруге. Как бы там ни было, но весной его снова вызывали на допрос. В допросе участвовали: офицер НКВД, фамилия которого оканчивалась на «май», и русский майор Федоров, с дочерью которого был близко знаком один

из товарищей Карла, хорошо говоривший и писавший по-русски. Карл и сам был немного знаком с нею. Через некоторое время его, как опасного заключенного, повели пешком в бекетовский лагерь № 2.

Там он как старого доброго знакомого встретил русского коменданта старшего лейтенанта Красовского и военнопленного Поймана, который еще в лагере Красноармейска занимался распределением работ, а позднее ходатайствовал, чтобы меня направили на работу в мастерскую. Я тогда отказался выполнять работы по демонтажу воздушной линии без отключения тока, что было опасно для жизни. Мой премник попытался это сделать и сгорел заживо от замыкания мощной линии.

Русский комендант обрадованно приветствовал «Карлу», которого сопровождали два конвоира. Нойман рекомендовал назначить своего друга посыльным для связи с только что созданными тремя бригадами немцев, прибывшими в январе 1947 года из Бреслау (Вроцлава). Все они занимались строительными работами, это был тяжелый труд на развалинах, но процентов за перевыполнение нормы не прибавлялось, поэтому выдавали минимум пищи. Из прежнего опыта Карл знал, что лагерь заинтересован в том, чтобы пленным начисляли как можно больше процентов. Строительные начальники говорили, что проценты не идут по вине лагеря. Карл сказал бригадирам, что теперь каждый день перед работой будет требовать наряд, как это предписывается инструкцией лагеря. Если же после начала работ к ним придет начальник и потребует людей для какой-либо другой работы, то пусть к нему пошлют кого-нибудь из русских с требованием дополнительного наряда. Вначале русские не хотели этого делать. Уже в первый день в 9 часов пришел русский, чтобы забрать десять человек. Карл сначала уточнил вид работ и обещал дать людей только при условии оформления наряда. Русский поднял было большой шум, но затем все же выписал наряд. Вечером они вернулись с подтверждением выполненной на 130% работы. Это немало удивило Красовского. Он поинтересовался, как этого удалось достичь, и Карл объяснил, что на каждую работу требовал письменный наряд, потому что ему знакома старая уловка: вначале дается как бы официальное задание, а затем значительную часть людей забирают на другую работу, в итоге вечером бригада не получает процентов, так как не смогла выполнить первоначальное задание. За дополнительную работу при этом получал процент русский подрядчик, хотя выполняли ее не его рабочие. Как видно, стахановская система имела свои преимущества для тех, кто мог обратить ее себе на пользу.

На этой работе он оставался до июля 1947 года, когда австрийцев начали собирать в бекетовский лагерь. Он располагался на Волге у лесопилки. Там сначала выбирали из канала лесосплав, а затем затаскивали бревна на громадный транспортер с помощью длинных багров. В Тироле такой инструмент называется «запель». Пока бревна разрезали, можно было полчасика отдохнуть. Карл чувствовал себя настоящим лесопилщиком. Вообще, атмосфера была приятной. Однажды к нему подошел русский и дал ему помидоров. Карл сказал русскому, чтобы он оставил помидоры себе, они ему нужнее, но русский не отступался, пока Карл не принял угощения. Тогда Карл спросил, почему тот дал помидоры именно ему, русский ответил, что Карл ему нравится своим веселым нравом, и работать с ним одно удовольствие.

В то время, когда пленные уже собирались ехать домой, случилось ЧП. Они увидели, как из штабного барака повалил дым, потом показались языки пламени. Все сразу подумали о документах об освобождении, так как знали, что драгоценные бумаги уже лежали в шкафу. Люди бросились в горящий дом и начали вытаскивать кипы бумаг, им удалось спасти все. Конечно же, они спасли и свои справки об освобождении. В начале сентября, попрощавшись с лагерем, они погрузились в товарные вагоны и уехали на родину.

На русско-румынской границе в местечке Сигетул — Мармацей пришел русский офицер и провел проверку, зачитывая данные каждого из них. То же самое повторилось на австрийской границе и в Верхней Австрии перед мостом через реку Энс. Они все время опасались, что их могут задержать, что иногда случалось, если кто-то отставал от эшелона. Однако они беспрепятственно попали в американскую зону. Через многие годы после возвращения домой я расспрашивал Карла о его переживаниях в тот период, когда мы были в разных лагерях. Его рассказ и лег в основу того, что я уже описал. Я спросил Карла, какого он мнения о русских. Он ответил, что он не коммунист, но это не мешает его положительному отношению к ним: они давали пленным все, что было возможно. Находясь при управлении лагерем в 1945—1946 годах, Карл хорошо знал, какое продовольствие поставлялось каждый раз пленным и русским, находившимся на службе в лагерях. К тому же он распределял муку, пшено, зерно, мясо, рыбу, подсолнечное масло и другие продукты, чтобы каждый русский получил причитающуюся ему недельную норму. Пленные получали меньше и были разделены на четыре категории:

ОК — готовые к легкой работе (команда «освежения»);
Дистрофики I гр. — истощенные.

Дистрофику II гр. — крайне истощенные.

Госпитализированные 2-х видов: обычные больные, тяжелобольные.

Рационы хлеба по заработанным процентам, на день:

до 80% - 400 г;

до 100% - 500 г;

до 125% - 600 г;

свыше 126% — 700 г хлеба и 200 г пшенной каши.

Если бы мы получали этот рацион более или менее регулярно или хотя бы половину его сразу после нашего пленения, то из 123 000, взятых в плен под Сталинградом, вернулось бы домой намного больше, чем доживших до того дня, а их осталось примерно 5000 человек (я привожу данные на немцев, исключая румын, итальянцев, венгров и др.).

Однако русские и для своих людей не имели всего в достатке, они питались по карточкам и голодали порой не меньше, чем мы. Правда, с освобождением территории страны от немецких войск, особенно в конце войны, продовольственная проблема постепенно стала улучшаться. Мы это заметили, хотя и находились за колючей проволокой, ибо и мы почувствовали небольшое улучшение.

Распределение пленных по рабочим группам (на основании ежемесячного освидетельствования комиссией, включая врача):

Группа I — крепкие, сильные,

группа II — средние,

группа III — слабые,

группа ОК — им разрешалось выполнять только лагерные работы,

группа дистрофиков — никакой работы и улучшенное питание.

Когда-то учителя Карла писали в его альбомы мудрые афоризмы. Одно изречение: «Часы бедствий забудь, но то, чему они тебя научили, никогда!», он запомнил на всю жизнь. Поэтому он всегда стремился учиться у жизни, как в хорошие, так и в трудные времена.

Некоторые уроки Карл вынес из жизни в плену и на войне вообще. Помнится хороший афоризм: «Как ты себя держишь, так с тобой и обходятся. Везде, в каждом народе, есть люди хорошие и есть плохие, попробуй найти в человеке хорошее».

Карл был доброжелательно расположен к русскому народу как на войне, так и во время плена. Русские делились с ним всем, даже тем, чего им самим не хватало.

Успешная работа каждого отдельного человека у русских ценилась значительно выше, чем у нас. Там, в плену, тоже было рационализаторство. Любые ценные предложения

пленных сразу же привлекали внимание и проверялись, затем внедрялись в жизнь, а пленных премировали. Этим достигался некоторый прогресс.

У нас в Австрии господствует другое мнение: хорошую идею может предложить только начальник. Поэтому предложения сотрудников часто отклоняются без серьезной аргументации и проверки, а если и внедряются, то лишь через несколько лет и от имени начальства. Это исключает всякий прогресс или сильно тормозит его.

Карл несколько раз подводил итоги пережитого в плену и пришел к выводу, что преодоление суровых невзгод дается только волей к жизни, что для решения жизненных задач необходимо мобилизовать всю силу ума и души. Например, когда выяснилось, что почти никто из пленных не умеет писать по-русски, в чем была такая острая нужда, он взялся за учебу и вскоре добился своего, он не упустил шанса помочь и себе, и другим пленным в дальнейшей жизни.

На прощание и на добрую память он подарил мне свое стихотворение, которое написал тогда, когда сидел под арестом в подземном карцере, не зная, что ждет его завтра. Если за тебя взялся НКВД, трудно что-либо предсказать, ибо были случаи, когда пленные оставались под арестом до двух месяцев. Стихотворение удивительно передает любовь к своей земле, тоску по Родине.

РОДИНА

Мне это слово стало, как молитва,
вобравшая все помыслы мои. Лишь человек,
испытанный разлукой с тобою,
владеет даром чувствовать тебя.
Тебя я вижу в ярких бликах лета,
как в детстве, много лет назад.
Твои цветы, закаты и рассветы
мне снова кровь и душу горячат.
Какое счастье тем из нас досталось,
кто был воистину среди твоих детей.
Ведь даже боль нам радостью казалась,
когда росли мы на земле твоей. Но
все прошло, все сметено бедою,
и не понять: я жил млн живу? И было ли
прекрасное былое? Бывает ли такое наяву?
Но лишь когда, пройдя сквозь все разломы,
прильну я наконец к родной земле,
воскликнет сердце: «Родина! Я дома!
Я человек! Я кланяюсь тебе!»

27.4.1946.

Пополнение из Граца

Вскоре после встречи земляка из Грюнбурга я встретился со штирийцем, на которого обратил мое внимание Зепп, когда тот выходил из лазарета. Однажды мы собирались встать в кухонном бараке в очередь за едой, когда снова увидели высокую тощую фигуру. Зепп поздоровался с длинным и сказал мне: «Знаешь, это тоже австриец!», — и познакомил меня с ним. Его типично штирийское произношение сразу пробудило во мне родственные чувства. У него был изнуренный вид, лоб над глазом рассекал большой шрам, хромота вызывала сочувствие. Он опирался на самодельную палку, какие туристы находят в лесу или вырезают из ветки. Мы разговорились сидя возле нашего барака, на доске, заменяющей нам скамью во время еды. Он сказал, что находится в лагере только с конца января и, кроме Зеппа, у него почти нет знакомых, не знает он и лагерных обычаев, потому что до сих пор почти все время находился в лазарете, а сейчас живет в соседнем бараке. Я коротко рассказал о себе, сообщил, что родом из Линца. Он ответил, что его зовут Вилли Харрер. «Судя по всему, ты недавно здесь», — сказал я. — «Я тебя раньше не видел, хотя всех знать нельзя, лагерь слишком большой. Откуда ты? Выговор у тебя штирийский». «Да, я житель Граца», — подтвердил он с немного ироничной улыбкой.

В детстве ему и в голову не приходило, что когда-нибудь он назовет себя жителем Граца, так как чувствовал себя ветцельсдорфцем. Ведь Ветцельсдорф имел свое местное (земельное) самоуправление, и его обитатели гордились этим. Только в 1938 году во времена Гитлера их территория была включена в состав Граца, чему они совсем не радовались. Грац был городом, а Ветцельсдорф — просторной, зеленой зоной. Город для них означал узкие, мощеные улицы, камень и бетон, шум и вонь, жалкие клочки зелени, словом, душное заточение. Совсем по-другому у них: луга, поля, леса, фруктовые сады, утопающие в зелени крестьянские домики, здесь не было спешащих, загнанных людей. В нескольких сотнях метров от их домов начинался лесистый склон гряды между Ойльбергом и Бухкогелем. Летом там можно собирать грибы, зимой съезжать на лыжах прямо к двери дома, а у подножья гор на льду родниковых прудов — кататься на коньках или играть. К ним раньше регулярно приезжали на летний отдых туристы из Венгрии и Чехословакии.

Позже, через 40 лет, когда я был у него в гостях, он показал мне родные места, которые за эти годы сильно изменились; высоко на склонах появились виллы и огороженные участки. Я увидел дом, где прошла его юность, и боль-

той сад, в котором отец недалеко от изгороди вдоль улицы посадил пять елей, для каждого из них по одной: сначала для себя и жены, затем в честь каждого ребенка. Они росли многие годы, почти два десятилетия. Началась война, и тут ель брата стала сохнуть, несмотря на все меры, которые предпринимались, чтобы ее сохранить. Оказалось, что брат погиб на войне. Остальные ели росли крепкими, хотя самого Вилли три с половиной года считали погибшим. Затем вдруг стала сохнуть вторая ель, и умер отец. Через несколько лет засохла третья — умерла мать. Он показал мне две оставшиеся ели, его и сестры, которые красовались в зеленом уборе, и сказал: «Кто из нас следующий? Не знаю. Сейчас мы оба здоровы». Но сорока годами раньше оба они не могли догадываться ни о каких предзнаменованиях и только со временем поверили, что здесь существует какая-то тайная связь.

У него была беззаботная, вольная юность. Я спросил Вилли о его возрасте. Он ответил, что родился в 1921 году незадолго до Рождества, в Ветцельсдорфе, брат был старше на 14 месяцев. Позже, когда ему исполнилось пять лет, у него появилась сестра. Их отец был чиновником уголовной полиции. Он воевал сначала в России, а затем на итальянском фронте, после тяжелого ранения в первую мировую войну был направлен в 1916 году в финансовую жандармерию. После первой мировой войны он служил в полицейском управлении Штирии, а потом — в полицейском комиссариате Граца. Мать была домашней хозяйкой и имела достаточно хлопот со своими тремя детьми и садом в 4000 кв. м.

Вилли ходил в старшие классы народной школы и очень хотел стать оружейником.

Я сказал, что это, вероятно, подходящая профессия для штирийца, которых считают воинственным горным народом. К своей большой печали, он не смог получить соответствующего места для обучения на оружейника, пришлось воспользоваться запасным вариантом, он пошел в федеральное училище машиностроения и электротехники в Граце. Учился с 1936 по 1940 годы на отделении электротехники и закончил его с отличием.

Его заветной мечтой была фирма «Телефункен-Клангфильм» в Берлине. Ей требовалась рабочая сила в любом количестве, и он получил постоянный контракт еще до окончания школы в 1940 году с неплохим первоначальным окладом в двести четыре имперские марки с четырнадцатью марками надбавки. Он невероятно радовался своей практике в Берлине, городе мирового значения, который его, молодого человека, просто околдовал. У него было несколько друзей,

которые уже/ проходили практику на этой фирме и вернулись, полный восторга.

Австрию занял Гитлер, производство стало расширяться и требовались специалисты. Однако существовала еще и имперская трудовая повинность, уже шла война, и все получилось не так, как планировалось.

После выпускных экзаменов в июне 1940 года он хотел отдохнуть несколько недель дома до начала работы в Берлине. Но тут пришло письмо от директора школы, в котором он сообщал, что заключил очень выгодное соглашение об имперской трудовой повинности и что все, сдавшие выпускные экзамены, обязаны отработать укороченную до семи недель трудовую повинность. Если они начнут службу 4 августа, то в конце сентября смогут демобилизоваться. Так как трудовой повинности все равно было не миновать, он с радостью написал письмо в фирму и попросил разрешения на отбывание укороченной трудовой повинности. Вскоре разрешение пришло. Кроме того, он сдал экзамены на водительские права: вождение мотоцикла и легкового автомобиля. 4 августа в Фридлане в Изарских горах началось отбывание повинности в части К-4-375. С ним были еще четверо товарищей по училищу. Служили они там вместе с верхнесилезскими добровольцами военного времени. Вилли был назначен старостой комнаты. У него было одно желание — не выделяться, но и позволять собой командовать он тоже не мог. Поэтому вел несколько обособленную жизнь, хотя при этом заботился, чтобы его звено всегда было в порядке.

Приходилось вкалывать, но для него это ничего не значило, так как физически он был крепок. Когда закончился срок службы, радости не было предела, они попросили, чтобы им прислали из дома гражданскую одежду. Их построили для прощания; каждого персонально вызывал и сообщал об окончании службы обер-фельдмейстер (старший полевой мастер). Только пятерых из Граца не вызвали. Во время трудовой повинности Вилли угораздило стать старшим рабочим. Обер-фельдмейстер сказал, что для следующего курса, на который приедут саксонцы, ему безотлагательно потребуются помощники и инструкторы, поэтому у военного командования Граца он получил разрешение оставить их как наиболее подготовленных.

Они это восприняли как удар ниже пояса, но отнюдь не как высокую честь. Им хотелось наконец выбраться из этой неволи, стать свободными, иметь профессию, которая доставляет радость, и приступить к работе в Берлине. Но что делать? Они вынуждены были подчиниться, снова облачиться в форму и продолжать служить. В глухой ярости он две

недели слонялся вокруг канцелярии. При этом узнал, что в Теплиц-Шёнау, где находился штаб рабочего западно-судетского округа, которому они подчинены, с 1 ноября 1940 года требуется караул для охраны штаба, который должно выделить их подразделение. Его назначили начальником караула и дали двенадцать человек караульных и одного барабанщика. Для подготовки они в течение недели обучались караульной службе, а затем поехали в Теплиц-Шёнау. Этот красивый город-курорт в Рудных горах поразил его прекрасными зданиями, громадными скверами, степенными курортниками. Когда караул маршировал строевым шагом под барабанный бой по Рихард-Вагнер-аллее к зданиям рабочего округа, ими любовались прохожие. Самым эффектным моментом была смена караула под взорами многочисленных зевак.

Были здесь мужчины и женщины всех возрастов, кое-кто даже с маленькими детьми в колясках. Публика испытывала патриотический восторг. Что тут значили война во Франции, завершившаяся перемирием 17 июня, оккупация Австрии, Чехословакии, Польши, война с Англией, смутный страх перед будущим и ужасный призрак войны с Россией? Все это рассматривалось как само собой разумеющееся. Некоторые из тех, кто читал «Майн Кампф» Гитлера, принимали дословно все, что там было написано: расширение жизненного пространства, арийцы превыше всего. Что значили в этом милитаристском государстве молодые специалисты из других стран? Почти ничего. «Высокие» стратегические замыслы требовали пушечного мяса, пусть даже им станут столь необходимые экономике инженеры. Он, специалист-электрик, отбывал военизированную трудовую повинность с необученными товарищами, а теперь получил возможность гордо маршировать парадным строем.

Я сказал Вилли, что все это мне знакомо по моей семье. Один из моих братьев четыре семестра изучал медицину. Сразу после сдачи экзаменов на аттестат зрелости отбывал военизированную трудовую повинность на дренажных работах в соседней Судетской области. Затем его призвали на военную службу. Но не в медицинскую часть или лазарет, нет, мудрое начальство направило его в пехоту. Там из-за высокого роста его откомандировали в батальон для охраны командования штаба армии в Белграде. Но эта служба не считалась фронтовой. Чтобы получить разрешение дальше учиться, надо было служить в медицинском формировании. Это как раз совпало с походом на Россию, и он дослужился до унтер-офицера медицинской службы соседней с нами дивизии. Мы оба участвовали в наступлении, ничего не зная друг о друге, хотя воевали рядом. Только в Сталинградском

«котле» мы случайно услышали друг о друге, встретились у единственного на нашем участке колодца и больше уже не увиделись. Он погиб спустя 10 дней при отражении решающего удара русских у Бабуркино. У нас с Вилли было много общего в военной биографии: я был дипломированным инженером по геодезии, а меня направили радистом в пехоту. С первого же дня моя высшее образование было бельмом на глазу для не очень грамотных вояк. Позже срочно понадобились инженеры-геодезисты, но начальство обо мне не вспомнило.

Спустя три недели Харрер случайно узнал, что его подразделение будет направлено в Бельгию для строительства аэродрома, так как готовился удар по Англии. Строительство привлекало его больше, чем караульные церемонии. Он обратился к командиру подразделения старшему обер-фельд-майстеру во Фридланде. Тот вернул личный состав караула в лагерь Фридланда. Там уже грузились в эшелоны, и Вилли с земляками присоединился к остальным. Путь лежал через Саксонию, Грац и южную Голландию, расквартировали их в Диете, недалеко от Лёвена. Они строили укрытия для защиты боевых самолетов от осколков. Взрывов бомб, которые на них по ночам сбрасывали англичане, они почти не замечали, потому что каждый день уставали на работе так, что никакой грохот не мог их разбудить. Только утром по разбросанным на земле осколкам и свежим воронкам можно было установить, что англичане не поскупились на бомбы.

За несколько дней до конца года штирийцев вдруг уведомили, что их скоро демобилизуют. И действительно, со всем скарбом их вскоре отправили в сторону Граца. В маршевом приказе указывался путь следования: Дист-Мангейм-Мюнхен-Грац. На вокзале в Диете Харрер подумал, что было бы хорошо поехать домой через Брюссель, Париж, а затем — на Мангейм, так как эти города находились не так далеко, к тому же появлялась возможность познакомиться с двумя столицами. Этот план он предложил своим товарищам, которые сразу согласились. Они сели в поезд «Лёвен-Брюссель», осмотрели бельгийскую столицу и через несколько часов поехали в Париж. Ночью они прибыли на французскую границу у Лилля, где, конечно, пришлось пройти контроль. В сопровождении нескольких патрульных появился лейтенант, он потребовал предписания. Прочитав документы, рывкнул: «Что вы здесь делаете? Вам здесь совершенно нечего делать».

— Почему же? Мы едем домой.

— Вы должны *были следовать через Ахен.

Они молчали, прикидываясь дурачками. Он утверждал, что они должны были спросить коменданта, на какой поезд

им надо сесть, и он указал бы им короткий путь домой. Они начали притворно сожалеть о том, что из-за окольного пути попадут домой намного позже.

Короче говоря, удалось добраться до Парижа, где они пробыли два дня. Они, конечно, надеялись посмотреть город, но все напрасно: у каждой станции метро, где бы они не пытались выйти, стоял часовой и требовал предписание или увольнительную. За эти два дня они получили горький урок, ознакомились, в сущности, только с парижским метро. Разочарованные путешественники сели в поезд, идущий через Мец и Мангейм на Мюнхен. Перед Мюнхеном увидели первый снег. Затем были Зальцбург и Грац. Новогодний вечер они провели дома, уже в Граце.

Спустя несколько дней Харрер сдал казенные вещи в управление военизированной трудовой повинности Граца. Он хотел еще несколько дней отдохнуть дома. Снега выпало достаточно, и можно было кататься на лыжах. Он сразу оповестил «Телефункен-Клангфильм» в Берлине, что мог бы прибыть на работу 1 февраля. Ему ответили согласием. За два дня до 1 февраля 1941 года он пошел в службу труда, чтобы взять свою трудовую книжку. Там его пришлось немного подождать. Затем пришел сам шеф службы и сказал: «Вы хотите поехать в Берлин? Но вам это не разрешается». Харрер ответил, что должен поехать в Берлин, так как у него заключен с фирмой договор. На это было сказано, что штирийская индустрия сама нуждается в рабочей силе, поэтому трудовую книжку он не получит. Вилли в досаде заявил, что поедет без трудовой книжки. На что последовал столь же грубый ответ: «Посмотрим, далеко ли вы уедете!»

Два дня спустя Харрера призвали на военную службу и отправили в Штоккерау, в запасной дивизион артиллерийской инструментальной разведки № 44. Теперь Берлин стал недосягаем, во всяком случае в отношении гражданской службы. Его определили на батарею звуковой разведки дивизиона, работа оказалась очень интересной. Но сначала необходимо было пройти предварительную подготовку, что после военной трудовой повинности не представляло особого труда. В его обязанности входило обеспечение технической части, а также звуковой прием для разведки артиллерии. Их учили по направлению звука с помощью двух локационных станций определять местонахождение орудия. Занятие казалось ему увлекательным, но очень уж безобидным. Хотелось активных действий, и он подал рапорт командиру батареи £> переводе в боевые батареи.

Но командир батареи, капитан запаса, а на гражданке — учитель, решительно возразил: «Об этом не может быть и

речи, глупы^ мальчишка! Ты должен служить там, куда тебя послали. Точка!»

Вскоре пришло известие о подвигах парашютистов на Крите, о войне в Греции и Югославии. Тут он снова подал рапорт о переводе, но уже в парашютно-десантные войска.

«Ты не можешь отрицать своего происхождения от «воинственного горного народа»», — бросил я с усмешкой реплику, которая вызвала у него только легкую улыбку, так говорил ему и его учитель-капитан. Результат его усилий скоро проявился. Он был первым из всей учебной команды, кого уже в начале мая 1941 года перевели в полевую батарею АИР (артиллерийской инструментальной разведки) артдивизиона № 44, который передислоцировался в Гляйвиц. В середине июня дивизион совершил марш. Сначала они переправились через Вислу, затем через Буг в 80 км севернее Лемберга (Львова) и остановились в маленькой деревне вблизи русской границы. Никто не знал, почему и для чего это, да никто вначале и не задумывался. Потом пошли разные слухи. Говорили, что происходит восстание иракцев против своих мандатарных господ, англичан, а на основе договора между Гитлером и Сталиным Советский Союз якобы разрешил безостановочный марш немецких войск через свою территорию до Кавказа, чтобы вермахт мог там вступить в боевые действия. То, что всем раздали сетки от комаров, воспринималось как подтверждение слухов. Все горело желанием принять участие в предстоящем деле. Наконец они ушли из деревни и установили свои палатки в болотистой местности. Каждый принял это за подготовку к боевым действиям.

Их разбудили в полночь с 21 на 22 июня 1941 года, но не разрешили включать освещение. Ночь выдалась темная, едва можно было различить тропинку к маленькой лесной поляне, где находился командир батареи капитан Грасдорф. Когда все перед ним построились, он в узком конусе света от маленького карманного фонаря прочел приказ фюрера, который сразу рассеял все иллюзии и буквально ошеломил. Приказ гласил примерно следующее: Советский Союз планирует вероломно напасть на Германию, чему имеется много доказательств. Противника надо во что бы то ни стало опередить. С 3.30 до 4.00 начнется война против Советского Союза. Многие почувствовали дрожь в коленках. Каждый мысленно представил себе огромную территорию Советского Союза и маленькую Великую Германию, которая уже создала свои фронты в Атлантике, по всей центральной Европе, в Африке, в Югославии и Греции и теперь обретала нового врага в лице громадного Советского Союза с его 190-миллионным населением. Они стояли совсем близко от железнодо-

рожной линии и еще в полночь видели поезд, который вез русское зерно для Германии, согласно межгосударственному договору. Для этого факта было только одно убедительное объяснение: русские это делали, чтобы скрыть свою подготовку к нападению.

Меня, помнится, удивляло: выходит, русские были в состоянии производить так много зерна, что могли годами поставлять его Германии? Конечно, из этого нельзя было заключить, что это были излишки зерна, в Советском Союзе правил Сталин, решения которого считались непогрешимыми, правил такой же диктатор, как и Гитлер. «Вождь» приказывал, и все должны были повиноваться: и голодать до смерти, и воевать до смерти, даже если то, что приказывали делать, было безумием.

То, что русские поставляли в Германию зерно отнюдь не от его избытка, не приходило солдатам на ум, так как все были слишком молоды и не имели представления о политике диктаторов, особенно в России.

Было примерно 3 часа утра, когда послышалось гудение бомбардировщиков. Орудия по данным топографической разведки были наведены на цели, и в 4.00 утра по сигналу открыли огонь из сотен орудий. Первым же залпом были сбиты на том берегу все наблюдательные, сторожевые вышки расположение которых предварительно были тщательно вымерено приборами. Затем немецкая пехота устремилась по железнодорожному мосту через Северный Буг, и наступление началось. С первого же военного дня Харрер очень много фотографировал, запечатлев почти весь путь наступления. У него накопилось около трехсот фотоснимков. Один из его товарищей был фотографом-профессионалом, и они всегда делали фотограс}жи вместе. Продвижение все время шло на юго-восток через Бердичев, Кировоград на Днепропетровск. Русские упорно пытались удержать, а потом и отбить город, особенно небольшое предместное укрепление на востоке. У Кременчуга вновь началось наступление, и русские вынуждены были отходить, продвигаясь через южноукраинскую степь на Мариуполь, в 150 км от Ростова.

Внезапно начались дожди, и все застряло в грязи. Приходилось окапываться и ждать лучшей погоды. 17 ноября дождь прекратился, был отмечен первый мороз. Но на следующий день было уже — 10°, а затем — 17° и густой туман. Тут поступил приказ о наступлении на Ростов. Самолетов в небе не было видно, слышался только гул моторов. Но танки двинулись к Ростову и заняли город. Вилли со своей частью тоже попал туда, но только на неделю. Там находились громадные винные погреба, из которых солдаты выносили вино.

Но много взять не удавалось: тут был и охранный полк. Поэтому солдаты просто простреливали стенки у десятилитровых бочек и наполняли свои походные фляжки вином, вытекающим через дыры. Они шлепали чуть не по колено в вине. Кое-где плавали трупы утонувших в вине русских. От одних паров могла закружиться голова. Но скоро им дали почувствовать, что русские защитники не покинули город, а ушли в подполье, укрылись в подвалах. Немцы господствовали наверху, на земле, а русские внизу, в подвалах. Через несколько дней было совершено неожиданное нападение на наблюдательный пункт в одном, наиболее крупном здании; русские поднялись по лестнице из подвала так внезапно, что немецкие солдаты смогли лишь радировать о помощи и спастись бегством через окна. Дошло до того, что если в каком-то здании предполагалось присутствие и немцев, и русских, то, чтобы выволить своих людей, по окнам били из пушек.

Одновременно распространялось известие, что русские формируют несколько кавалерийских армий и только ждут, когда Дон замерзнет до такой степени, чтобы можно было начать атаку. 29 ноября температура была - 20°, и нужно было решать, как выйти из этих клещей, так как русские продолжали успешно наступать. Охранный полк должен был прикрывать отход остатков 11-й и 14-й танковых дивизий, 60-й моторизированной и других частей, которые уже спешно отходили первыми. При слепом «победоносном» натиске отход был неминуем. Так как вся немецкая стратегия ориентировалась только на наступление, а тактика отхода не оттачивалась, сразу же обнаружилось, что означает плохая организация отступления, а именно полная неразбериха, с единственным правилом: «Спасайся, кто может!» У Харрера остались в памяти брошенные на месте 21-сантиметровые орудия. Все спасались бегством и стремились как можно скорее покинуть город, бросая все, что захватили раньше. Отходили от тылового рубежа на реке Миус, там проходила железная дорога на Донбасс. Перед первой станцией Кошкино у Таганрога им приказали остановиться, быстро окопаться и занять свои зимние позиции. Там они пробыли всю зиму. На протяжении зимы ничего существенно не произошло. До откомандирования в тыл, в Таганрог, Харрер спал в жилой комнате русской рабочей семьи, в которой была шестнадцатилетняя дочь, тихая, приятная девушка. Была уже весна. Как-то ночью девушке понадобилось выйти: в русских домах не было клозетов, а чаще его заменяла просто яма, отгороженная от посторонних взглядов, где-нибудь в стороне, в саду. Племянник командира, ефрейтор Хельмберг, стоял на часах. Когда в ночной темноте ефрейтор увидел

бегущую по саду фигуру, он крикнул: «Стой, кто тут?» Но так как после окрика она не остановилась, он вскинул карабин и выстрелил. Фигура осела. Он подбежал и увидел, что убил молодую девушку точным выстрелом в сердце. Для него это было, конечно, горькой неожиданностью. Против стрелка было возбуждено дело за превышение прав часового, а для Харрера пребывание в доме стало мукой. Он боялся попасться на глаза людям, единственного ребенка которых погубил немецкий постовой. Он с горечью понял, что война несет с собой и такое.

Той долгой зимой, чтобы чем-то занять себя, Харрер посещал школу радистов, а также лекции, если таковые были. Зима миновала, но на фронте оживления не отмечалось. Многие заболели желтухой; он не заболел, хотя желал себе этого, чтобы выбраться оттуда. В жаркие летние дни пришел приказ прорвать русские позиции. Вновь они наступали на Ростов, опять заняли город и продолжали продвигаться на юг, в степь, в направлении Кубани. Незадолго до переправы у Армавира поступил приказ о переводе Вилли и двух его венских товарищей в запасную часть в Оломоуц, их произвели в унтер-офицеры. Это было отмечено в солдатских книжках, хотя знаки различия остались прежними, ефрейторскими. Им сунули в руки предписания и со своими военными пожитками они неожиданно оказались посреди степи, им предстояло решить, как попасть к месту своей новой службы в Оломоуце. Их часть продолжала двигаться на юг к горам Кавказа, вершины которых виднелись вдали, напоминая картины их родины. Но вокруг была голая степь. Возле пыльной дороги в дрожащем мареве они увидели пасущегося, вероятно, бесхозного верблюда. Нагрузив на него свои вещи, они двинулись на запад и вышли на трассу. Им удалось остановить грузовую машину, которая их подобрала. Так, на колесах, но донимаемые пылью и жарой, они доехали до Ростова. Дальнейший путь проделали на товарных поездах через Донбасс до Лемберга (Львова); Харрер со всем своим багажом и карабином устроился в тормозной будке вагона. В Лемберге они решили, что не могут ехать в Оломоуц в своих грязных и рваных мундирах, поэтому на вокзале они спросили, где можно получить другую одежду, и их послали в одну казарму. Там им пришлось пережить неприятную историю.

Они спросили, где находится вещевой склад, и их отправили на второй этаж. Там они никого не нашли, постучали в соседнюю дверь и открыли ее. Их взорам представилось помещение, уставленное походными кроватями, на которых лежали солдаты и курили сигареты. Между кроватями носи-

лась темноволосая девушка лет пятнадцати, она только и делала, что подставляла курильщикам пепельницу. Каждый раз, когда кто-то из «господ солдат» звал ее, она подбегала с пепельницей, куда он стряхивал пепел. Никто не стряхивал пепел на пол и не желал дотягиваться до пепельницы, если девушка стояла у кровати соседа; каждый требовал, чтобы его обслужили особо. «Господин кладовщик», ефрейтор, был явно недоволен, что нарушили его заслуженный и приятный отдых и нужно было идти на вещевой склад. Харрера и его товарищей взяла злость: ведь они только что вернулись с фронта и им было странно видеть, что здоровый солдат среди бела дня валяется без дела на кровати, курит и помыкает несчастной девчонкой, как турецкий паша.

Мундиры им заменили, и они попросили, чтобы им сменили нашивки. Кладовщик послал их в соседнее помещение и крикнул кому-то, что есть работа. Они с удивлением увидели там пятерых прилично одетых гражданских, которые вежливо и быстро выполнили их пожелание. Харрер понял, что это — евреи, и ему вдруг стало их жалко. Он, хотя и не курил, всегда имел при себе несколько пачек сигарет, которые быстро и с чувством неловкости положил на стол, когда уходил. «Целую руку, целую руку!» — в волнении забормотал один из этих людей.

Так как их поезд отправлялся только вечером, а была еще первая половина дня, они захотели осмотреть город, при этом их интересовало и гетто. Вещи оставили в комендатуре вокзала. Вначале ничего особенного не бросалось в глаза; старые городские кварталы, как и везде. Они пришли к отлогой улице с трамвайными рельсами и медленно пошли вверх. Тут подошел трамвай — моторный вагон, но без обычного пассажирского вагона, а с двумя прицепленными грузовыми платформами с поднятыми бортами. Они выглядели, как железнодорожные, но были меньше размером. Трамвай остановился. Он доставил нескольких немецких полицейских в своих типичных форменных фуражках, а также нескольких людей в синих мундирах. Позже он узнал, что эти, в синих мундирах, были украинские помощники полиции, «полицаи». В руках у них были резиновые дубинки, палки и другие тяжелые предметы. Они стали заходить в расположенные поблизости дома, откуда тотчас же слышались крики и плач. Из домов выгоняли жителей — старых, лет под восемьдесят, и совсем «рных женщин, некоторых с грудными детьми на руках. Плачущих и кричащих, их всех загнали на платформы. Затем по углам платформ встали украинские полицаи с дубинками. Людей набили так плотно, что никто не мог пошевелиться. Еще и сегодня перед глаза-

ми Харрера стоит ужасная сцена: молодая, не старше восемнадцати, девушка в шелковом платье, стоявшая у края, ухватилась за борт платформы перекинула через него ногу, вероятно, пытаясь убежать. В этот момент полицей сильно ударил ее палкой по руке. Возможно, он перебил ей запястье. Девушка закричала, и трамвай вместе с грузом укатил прочь.

Все трое оцепенели от ужаса и ничего не могли понять. Сбежалась толпа. Мимо шли полицейские. Одного они спросили, что же тут происходит. Он ответил, что опять проводилась акция. На следующий день надо снова доставить 40 000 евреев в каменоломню. Фронтовикам это показалось безумием; что же там должны делать эти старые люди, женщины и дети, они ведь не могут работать? Им ответили, что их не для работы туда отправляют. На краю каменоломни стоят пулеметы. Их туда загоняют и расстреливают.

Это чудовищное известие просто ошеломило. На войне они навидались смертей, сами часто стояли на краю гибели, но подобного зверства видеть не приходилось. Да они и не могли даже подумать, что подобное может происходить.

Кратчайшей дорогой они отправились на вокзал, много часов еще сидели на перроне, совершенно оглушенные, не способные сделать ни шага по городу, где творилось нечто чудовищное. Это событие произошло на их глазах в августе 1942 года.

Вскоре они прибыли в Оломоуц, в свою запасную часть. Там они прежде всего получили полагающийся им отпуск. После него они снова возвратились в Оломоуц. В сентябре их направили в военную школу Ютербога. Харрера обучили на артиллерийского офицера и 16.12.1942 произвели в лейтенанты. Два его товарища получили только чин вахмистра артиллерии, так как оказались недостаточно подготовленными.

В берлинском Дворце спорта состоялись торжества по случаю очередного выпуска. С речью перед 10 000 молодых офицеров выступил рейхсмаршал Геринг. До сих пор Харрер видит его перед своими глазами, слышит, как Геринг вещает с трибуны, что сейчас на фронте имеются некоторые затруднения из-за того, что части порой попадают в окружение. Существует только одна возможность — занять круговую оборону, как это происходит сейчас в Сталинграде, и упорно защищать позиции. Пусть враг атакует. Те, кто даст врагу соответствующий отпор, будут обеспечены всем необходимым и могут быть уверены, что в свое время их вызволят. В своей речи он кичливо сравнил теперешние бои с греческой битвой спартанцев у Фермопильского ущелья.

Когда они вернулись на вокзал, то увидели там поезд рейхсмаршала. Спереди и сзади он был бронирован и был

оснащен зенитными пушками калибром от 5 до 8,8 см. Потом приехал сам Геринг, вошел в поезд, удобно расположился в своем салоне-вагоне и уехал. Харрер сказал своему мюнхенскому другу: «Им легко говорить о круговой обороне и железной стойкости, когда они путешествуют в оцетинившемся орудиями бронированном салон-вагоне. Устроили себе хорошую жизнь, а людей миллионами гонят на бойню».

Вскоре Харрер получил еще один отпуск с поездкой домой. В начале января 1943 года он вернулся в Оломоуц и как новоиспеченный офицер стал обучать солдат-новобранцев. Его друг Хартунг получил назначение в 60-ю моторизованную дивизию в Сталинграде. Это было 2-го или 3-го января 1943 года.

«В то время мы уже давно были окружены в Сталинграде и имели лишь минимальное количество топлива для моторизованных средств передвижения»,— сказал я Харреру.— «Плохо функционировало снабжение продовольствием. Начался голод. Не было тяжелых орудий, потому что мы их взорвали при переправе через Дон, чтобы занять круговую оборону. На помощь нам отправили с востока части из армии, которая должна была двигаться на Кавказ, но они понесли большие потери и были остановлены русскими. Мы уже чувствовали себя, как беспомощная толпа, брошенная и потерянная командованием сухопутных войск».

На фронт пополнение должны были доставить самолетами. Харрер, еще совсем молодой офицер, двадцати одного года от роду, имел новобранцев, годившихся ему в отцы. Он подавал им команду: «Вперед, марш!»,— но они на это почти не реагировали, так что уже на второй день он перестал их подгонять. Вместе с Хартунгом должен был отправиться еще один лейтенант, который уже получил приказ прибыть на боевые позиции, но собирался жениться, уже приехала его невеста, а ему приходилось ехать на фронт. Он был в полном отчаянии. Харрер посочувствовал ему и подал командованию полка рапорт, в котором просился на фронт со своим другом Хартунгом вместо того лейтенанта. Командир полка хотя и обратил его внимание на то, что Вилли имеет право не ехать на фронт, так как год назад погиб его брат и он остался последним сыном в семье, но это было добровольное желание, и он, командир, не возражает и вносит изменение в приказ.

Они отправились 7.1.1943 с Восточного вокзала Вены. Для прощания из Мюнхена приехала жена Хартунга. А сам Харрер еще раз ненадолго заглянул к своим родственникам в Грац. До них дошли сведения, что на Западной Украине уже очень холодно, и поэтому они были готовы ко всему, так во всяком случае они думали.

До Лемберга (Львова) добрались сносно, но затем пересели в допотопные немецкие пассажирские вагоны, которые не отапливались, потому что не были для этого оборудованы. Сразу же дала о себе знать его слабое горло — он заболел ангиной. После Днепропетровска у Вилли поднялась высокая температура. Ночью они прибыли на узловую железнодорожную станцию Синельниково в 50 км восточнее Днепропетровска. Там поезд остановился на более длительное время, был сильный мороз, и паровозный котел сразу замерз. На станции уже стояли несколько паровозов с лопнувшими котлами, из которых свешивались ледяные глыбы. Железнодорожники должны были привести вспомогательный паровоз из Днепропетровска. Хартунг использовал эту заминку, чтобы отвезти Вилли назад, в Днепропетровск, в лазарет. Так они не доехали до своего пункта назначения — главного резерва группы войск «Юг» в Ростове.

Сначала Хартунг привел Харрера, у которого помимо жара началось такое воспаление горла, что трудно было глотать, в комендантскую службу. На следующий день их послали к врачу гарнизонной комендатуры. Друг всюду сопровождал Харрера, они доложили о себе капитану медицинской службы доктору Мекке, врачу военно-воздушных сил, который оказался очень приятным человеком. Он осмотрел Вилли и сказал, что есть небольшая больничная палата, где можно остаться, а можно идти в госпиталь. Харрер, конечно, охотно принял предложение, так как уже еле на ногах держался. В палате стояли четыре кровати, одна была свободной. Таким образом он получил все необходимое, чтобы вылечиться. Там его и застало известие о конце сталинградской катастрофы. Медикаменты, покой, внимательное отношение медперсонала быстро подняли его на ноги. Друг его Хартунг тоже не поехал в Ростов, а затерялся где-то в Днепропетровске, пока не пришло известие о последних днях «котла».

Но тут уже началось наступление советских воинских частей на запад через Донецкую область на Днепропетровск. Положение немецкого вермахта становилось все более опасным и неустойчивым. Русские могли внезапно занять Днепропетровск, перекрыть каналы снабжения, а это означало бы крушение всего Южного фронта.

Генерал Штейнбауэр, назначенный военным комендантом города, созвал всех офицеров на собрание в гостиницу «Астория», и друг Харрера тоже пошел туда. Собрались 60 офицеров. Оказалось, что в городе находилось примерно 100 000 бежавших с фронта немецких солдат. Когда генерал начал распределять обязанности среди офицеров, их количество начало постепенно уменьшаться. Когда же дошла

очередь до артиллерии, то из артиллерийских офицеров, Хартунг оказался единственным. Надо же было такому случиться, что человек, всего месяц назад ставший артиллерийским лейтенантом, получил задание защищать орудийным огнем город с полумиллионным населением. Он сразу направился к Харреру и спросил, выздоровел ли тот настолько, чтобы участвовать в работе. Вилли ответил утвердительно, и они договорились, что друг должен заняться орудиями, боеприпасами, а Харрер командовать артиллеристами. Хартунг раздобыл две грузовые машины и один легковой автомобиль. Харрер поставил весь транспорт на улице и стал обращаться к каждому, у кого были красные погоны артиллериста. Это все были отбившиеся от своих частей солдаты. Каждому он предлагал занять место в строю и получить довольствие. Таким образом удалось собрать восемьдесят человек, почти целую батарею. За это время его друг нашел на одном саперном складе, принадлежавшем словацкой дивизии, пять чешских орудий фирмы Шкода и 3500 снарядов. Харрер разыскал артиллеристов из числа судетских немцев, которые были обучены чехами и разбирались в этих 10-ти сантиметровых пушках и гаубицах. Они установили орудия на юго-восточной окраине Днепропетровска и подготовили команду для ведения огня по возможным целям.

Но, к счастью, до этого не дошло. Кроме тех пяти орудий были у них еще две пушки калибра 8,8 см и несколько горных орудий калибра 7,5 см, оставшихся от горно-стрелковой части, которые они установили вдоль восточной магистрали павлоградского направления. В этом и состояла вся оборонная мощь города. Русские иногда попадали в поле зрения, но нападать не рисковали. Если бы они начали атаку с десятью или двадцатью танками, то беспрепятственно могли бы перейти мост и свободно перемещаться по городу. Это было бы катастрофой. Но русские находились еще далеко, на реке Миус.

Итальянцы, которые спаслись после разгрома под Сталинградом, продавали на базаре свои винтовки, чтобы получить немного еды. Многие немецкие солдаты прошли сотни километров в обмотках на ногах, потому что не имели сапог. Это было жалкое зрелище, свидетельство наступавшего краха. На снабженческих базах все — от ефрейторов до самых высших чинов — носили шинели на подкладках из роскошного меха. Меха армия получила как пожертвования от народа Германии, но фронтовики их никогда не видели. Не доходили до солдат и многочисленные подарки, в том числе лыжи, так необходимые зимой, но сожженные в печках тыловиков.

За это время, по слухам, из Франции в район Днепра прибыли свежие дивизии, среди них воздушно-полевая дивизия и дивизия СС «Рейх», вооруженная танками «Тигр». Русские не наступали. Немцы провели контратаку на советские части на юге Украины, пока те не были отброшены на позиции зимы 1941/1942 гг. Их часть, называвшаяся «Батарея «Березы»», сохраняла личный состав до 12 марта, так как люди не хотели возвращаться в свои части: здесь им было хорошо и не грозил голод. Но имелся приказ направить людей обратно в свои воинские части. Для Харрера и его друга Хартунга тоже пришло время возвращаться в свой «резерв главного командования». Но их часть была уже не в Ростове, который опять стал русским, а в Хортице, в деревне немецких колонистов у плотины Днепра. Там они проторчали до мая, так как в первую очередь требовались пехотинцы, а не артиллеристы. Вероятно, не хватало орудий. Только когда закончилась вся реорганизация, их послали на фронт. Он вместе с другом Хартунгом был направлен в Макеевку около Сталино, в 128-й полк самоходных штурмовых орудий, Хартунга во 2-ю, а Вилли — в 3-ю батарею. Там он совершил свой «самый большой, не простительный для солдата проступок». Произошло это так. Командир подразделения представил их командиру полка, полковнику доктору фон Хорну — сначала Хартунга, а затем — его. Полковник благосклонно-покровительственным жестом достал из нагрудного кармана свою золотую табакерку и протянул ее, сначала Хартунгу, а затем Харреру. Друг взял сигарету, а Вилли не взял, так как был некурящим, но по-военному щелкнул каблуками и сказал: «Спасибо, господин полковник, я не курящий!» Полковник так побледнел, что Харрер с состраданием подумал, не хватил ли старика удар, двое командиров также побледнели, будто увидели верный знак поражения в войне, раз существуют солдаты, которые рискуют так говорить. Ведь всем им, как высшую заповедь, вдалбливали: если начальник что-то дает, должен быть один ответ «Спасибо!» и больше ни слова. Как, видно, ему уже надоело быть покорным служакой, а может, бес попутал, прокомментировал свою выходку Вилли.

Я напомнил ему пережитое в Лемберге, хвастливую болтливость Геринга, крушение под Сталинградом, что, конечно, наложило отпечаток на его сознание: он же все-таки австриец, к тому же из «воинственного горного племени». Рабское, слепое повиновение и покорность не в нашем духе. Я поступил бы точно так же, так как я тоже некурящий и всегда ненавидел прусский милитаризм. •

Когда господин полковник немного оправился от шока, он повернулся на 180° и ушел.

Командир батареи Роде, 26-летний капитан, был хорошим человеком и единственным, что смог вымолвить: «Лейтенант Харрер, что же вы за глупость совершили?» На что Вилли ответил: «Господин капитан, я же некурящий, о чем и сказал господину полковнику, как полагается, добавив «спасибо». Почему я должен курить, только потому, что господину полковнику захотелось нас побаловать?» Но капитану Роде этого было не понять.

Полковник знал, как отомстить за свой «позор» с куревом. Это происходило примерно так, как описано в книжках о восточных племенах, когда кто-либо осмеливался не выполнить волю или оскорбить святейшие чувства вождя. Это напоминало персонажей Карла Мая. Вилли теперь доставалось больше других. Ежедневно слышалось: «Лейтенант Харрер — дежурный по дивизиону!» После этого полагался свободный день, но лейтенант Харрер назначался дежурным по батарее, посыльным офицером в штабе дивизии, в штабе корпуса и т. д. И этой круговерти не было конца. Он не имел свободного времени. Но более ощутимые каверзы он испытал, когда проводились учения моторизированной пехоты с танками. Харрер, назначенный наблюдателем, должен был вместе с двумя радистами явиться к 4 утра и пробыть на жаре целый день до поздней ночи. На его счастье, он был человеком тренированным и находился в хорошей форме, так что месть полковника не могла причинить существенного вреда его здоровью.

В начале июля была в разгаре битва под Курском, громадное сражение, в котором с обеих сторон участвовали более 2 миллионов человек, более 6 тысяч танков, почти 30 тысяч орудий и минометов и свыше 4 тысяч самолетов. Дела там шли все хуже и хуже. Командование войсками пыталось ослабить напор противника. 23-я танковая дивизия, в состав которой входил их артиллерийский полк, и 16-я моторизованная дивизия находились в резерве и имели задачу оперативно отрезать весь Донбасс вплоть до берега Азовского моря. На их участке восточнее Сталино активные действия не происходили. Они получили приказ имитировать наступление, то есть провести ложную атаку на Донце, якобы с целью переправиться через него. Они скрытно выдвинули 23-ю танковую дивизию, а самолеты-разведчики следили за реакцией русских, которые, как предполагалось, должны получить разведанные о наступлении противника. Но русские никак не реагировали; вероятно, они поняли, что эту акцию не стоит принимать всерьез. Поскольку весь фронт был в огне, они получили приказ вступить теперь в бой под Курском. Когда заняли позиции на окраине Харькова, русские

прорвались с тыла. 16-ой моторизированной дивизии пришлось сдерживать натиск этого клина, так как там наступала почти целая армия. Удалось остановить прорыв русских на позициях 294-й и 295-й пехотных дивизий. Форсированным маршем 23-я танковая дивизия возвратилась из-под Харькова в район восточнее Сталине и также была брошена на прорвавшиеся русские части. В боях также участвовала дивизия СС «Рейх» со своими «тиграми». В конце концов в тяжелых боях почти удалось отбросить русских на их исходные позиции на Миусс, где они смогли только удержать небольшой плацдарм в 1 кв. км в районе Дмитриевки.

26 июля Харрер получил первое легкое ранение, оно его не очень беспокоило, и 4 августа 1943 года ночью его послали вперед, чтобы сменить выдвинутого вперед артиллерийского наблюдателя от дивизии СС «Рейх», так как эта дивизия после выполнения специального задания выводилась из боя, получала новое подкрепление и готовилась в качестве «пожарной части» для нового специального ввода в бой. Ночью он добрался до наблюдательного пункта на переднем склоне. В темноте ничего не было видно, он хотел получить информацию и данные для стрельбы у ээсовца-наблюдателя, шарфюрера, который уже заждался смены, но тот очень торопился и только сказал, что на рассвете сам все увидит, а данные очень скудны. По-видимому, он стремился только к тому, чтобы как можно скорее уйти. Когда рассвело, Харрера ожидал сюрприз. Траншеи находились не на переднем склоне, а на некотором расстоянии, там имелись убежища типа маленьких земляных бункеров, где можно было укрыться. Сразу перед их позициями был крутой спуск. Рано утром русские начали стрелять из орудий и минометов вглубь их позиций, снаряды и мины буквально утюжили местность. На другой стороне стояла разрушенная церковь, где находились снайперы, которые незамедлительно открывали огонь, стоило кому-то из немцев высунуть голову из траншеи. Многие получили ранения в голову, пули даже пробивали каску. Русские минометы постоянно сбивали антенну передатчика, как только он ее выдвигал, поэтому у него все время была плохая связь. 5 августа около полудня стало намного спокойнее, слышалось меньше выстрелов, но стояла сильная жара, и даже при слабом дуновении ветра чувствовалась все более нестерпимая вонь от разлагающихся трупов, лежавших по всему переднему краю. Он направился в укрытие к радистам, чтобы спросить, как функционирует связь с их основными позициями. За вражескими целями в Дмитриевке он наблюдать не мог, так как сразу получил бы пулю в голову, стоило только на секунду поднять ее над краем траншеи. Радисты

клевали носом от усталости. Он попытался связаться самостоятельно, снял каску, надел наушники и начал налаживать связь. Вдруг, к своему удивлению, он услышал: «Урра! урра! урра!» и решил, что звуки идут от передатчика. Когда же снял наушники, выяснилось, что крики доносятся снаружи, а не из наушников. Он быстро надел каску, схватил со стола гранату. Рядом со столом на полу лежало несколько раненых пехотинцев. Он выбежал с двумя «лимонками» в руках, пробежал пару метров к траншее, но тут увидел, что вся траншея уже полна русскими, одетыми в летнюю форму, в пилотках, но без касок, и у каждого в руке автомат. Вилли внезапно поднялся до пояса, снял с предохранителя гранату и скатил ее к ним в траншею, которая была всего в двух метрах, так что они почти могли дотронуться друг до друга руками. Тут перед ним мелькнуло десятка два вскинутых автоматов, он бросился на землю и скатился вниз, к бункеру, в голове пронеслась мысль: если граната взорвется, то в возникшем облаке пыли надо бросить вторую. Но граната не взорвалась, то ли не было взрывателя внутри, то ли кто-то из русских быстро подхватил ее и отбросил дальше, то ли он просто не услышал взрыва. Он понял, что приходит конец его фронтовой службы. Он раздавил каблуком шкалу передатчика и зарыл документы связи в землю. Тут он увидел, как в блиндаж влетело что-то темное. Это оказалась ручная граната, которая тотчас же взорвалась. Он стоял у дверного косяка с пистолетом в руке. Взрывом ему почти полностью раздробило правую кисть, сжимавшую рукоятку пистолета, так что он уже ничего не мог ею делать. Пистолет куда-то отбросило. Он только успел еще крикнуть своим радистам, чтобы они вслед за ним укрылись в маленьком бункере. Гарь, дым, пыль, вонь, крики раненых — все это превращало укрытие в настоящий ад. Харрер ничего не мог видеть, да и дышать почти не мог. Один из его радистов бросился вперед, видимо, в паническом страхе пытался куда-нибудь убежать, и когда он уже выходил, в укрытие влетела вторая граната, ударившись о туловище радиста. В тот же миг она развортила ему брюшную полость, и он упал мертвым. Русские бросили еще три ручные гранаты, затем наступила тишина.

Харрер рассказывал, что очень точно запомнил то мгновение, когда стоял на месте в ожидании своего конца, но без боя принимать его не хотел. На левом боку у него висел финский нож. Ему подарил этот нож знакомый, воевавший в Финляндии.левой рукой, которая еще действовала, он намеревался обороняться и не дать застрелить себя без боя.

Он стоял, прислонившись к стене у двери, и увидел что-то странное: сначала — только сапоги, затем колени, штаны, и

перед ним возник маленький мужчина, который спустился вниз без автомата и сказал: «Камерад, выходи! Камерад, выходи!» Радисты, находившиеся позади него, крикнули: «Господин лейтенант, сдаемся, сдаемся!» — «Да, да,— сказал он,— мы ведь ничего другого не можем сделать». Тут маленький русский оказался внизу; у него было круглое лицо с рыми усами, возраст его был примерно 35—38 лет. Харрер не знал, как с ним поступить. Наверное, у того семья и дети, а здесь дело безнадежное. Поэтому он поднял руки вверх и только тут заметил, что у него оторвана вся штанина, и кровь течет по ноге. Русский схватил его и вытолкнул из укрытия, наверху в траншее его приняли двое других русских, приставили к нему справа и слева дула своих автоматов и погнали по склону до Миуса. На ходу русские обшарили его брючные карманы и вытащили сложенную газету, которую он всегда носил с собой для определенных целей. Они тут же пустили ее на самокрутки и спросили, нет ли у него табака.

Но ему пришлось увидеть и совсем другую картину пленения. На земле лежал пехотинец. Потерял ли он сознание или только притворялся, нельзя было понять. Русские его сразу пристрелили. Такое их поведение он объяснил тем, что они ожидали скорого контраступления.

Двое оставшихся в живых радистов также были схвачены русскими, их тоже вели вместе с Харрером. Только сейчас Харрер заметил, что не может как следует ступить правой ногой, а обувь полна крови. Он должен был почти километр прыгать на левой ноге, а перед этим еще переходить через реку Миус по двум огромным бревнам. Посреди этого импровизированного моста он оторвал свой личный знак и бросил его в воду вместе с каской. Так они перебрались на другой берег. Он понял, что война для него закончилась и начинается новый отрезок жизни. Что он принесет?

Они пришли в полковой медицинский пункт. Там находилось несколько очень молодых девушек, которые начали обрабатывать и перебинтовывать его раны. Затем его привели к капитану, и тот сразу спросил по-немецки его имя. Вилли сказал, что он немецкий солдат. Но капитан заявил, что это ложь, он лейтенант Липпе. Вилли оспаривал это. Капитан остался при своем мнении, и показал ему военный билет лейтенанта Липпе, который нашли в форменной куртке Вилли, когда девушка его перевязывала. Оказалось, Вилли ошибочно надел китель лейтенанта Липпе, который служил на батарее и избежал плена. Потом Вилли признался, что является лейтенантом, Харрером, это подтвердили двое радистов, которых к тому времени тоже доставили. Капитан приостановил дознание. Вилли окончательно перебинтовали,

и ему пришлось некоторое время лежать, хотя сильной боли он пока не испытывал. Тут подъехала телега, застланная сеном, на которой уже лежал русский с раздробленным осколками предплечьем и, как оказалось, его ранило как раз в том районе, который обстреливала батарея Вилли. Его положили на сено рядом с русским, поодаль шагал один из радистов, другой примостился на передке телеги. Они поехали в лощину, где стоял джип.

Вилли с радистами посадили на заднее сидение, впереди — водитель и младший лейтенант с автоматом. Они проехали часть пути вдоль откоса, младший лейтенант приказал вдруг остановиться и велел Харреру выйти. Вилли попробовал встать, что удалось с большим трудом, слегка опираясь на свою онемевшую ногу без сапога, который санитары при перевязке вынуждены были разрезать и снять, так как в ноге сидел осколок гранаты, а сапог был залит кровью. Он уцепился за джип, но русский приказал ему отойти от автомобиля. Сначала Харрер не понял, чего же от него хотят, ведь ясно было, что идти пешком не сможет. Все-таки Вилли немного отошел и при этом невольно оглянулся. Тут он увидел, что русский со словами «Давай! Давай!» снимает свой автомат с плеча. Харрер понял, что пришел его последний час. Пошатываясь, он сделал еще несколько шагов, оглянулся и увидел, что русский прицеливается. Харрер сжался в ожидании выстрелов. Вдруг он услышал крики радистов: «Господин Харрер! Господин лейтенант Харрер!» Он выпрямился и впереди вдруг увидел над холмом сначала фуражку русского офицера, а затем его голову, и наконец — всю фигуру. Офицер приблизился, и по знакам различия Харрер понял, что это был русский полковник, который, не обращая на него внимания, прошел к джипу и стал спокойно, но внушительно разговаривать с младшим лейтенантом. Тот убрал свой автомат. Оба радиста помогли Вилли снова сесть в автомобиль, так как самостоятельно он уже не смог этого сделать. Полковник пошел дальше. Очевидно, он что-то осматривал. Он спас Харрера. Подумать только, что бы произошло, приди он несколькими секундами позже. Но он появился в нужный момент и с нужной стороны. Поэтому Вилли жив.

Они поехали дальше и прибыли на командный пункт дивизии. Там его еще раз перевязали и снова допросили. Русские, вероятно, предполагали, что лейтенант должен знать все, даже фамилии командиров. Они, очевидно, не могли себе представить, что младший офицер если и знал свою батарею, то был слабо осведомлен о своей части и ничего не знал о том, что могло интересовать русских в отношении дивизии.

Они еще спрашивали, где была позиция его батареи. Сейчас кажется невероятным, что в тот момент можно было сообщать так ясно. Он вспомнил, что по прибытии в последний район боевых действий искал удачную огневую позицию для своей батареи и нашел место, казавшееся ему наиболее подходящим. Но там стояли щиты с надписью: «Внимание, мины!» Это-то место он и указал русским, как позицию батареи, когда они пришли с картой. Русские направили на этот участок огонь артиллерии, а затем с глубоким удовлетворением услышали несколько взрывов мин. Переводчиком на допросе был преподаватель истории из Москвы, очень вежливый и хорошо говоривший по-немецки. Внезапно Вилли упал без сознания и пришел в себя, только когда его подняли и опять посадили на стул. Это повторялось еще два или три раза, пока его не перестали допрашивать, поняв, видимо, что от него мало толку. Наступил уже вечер. Из-за потери крови и более у Вилли усилилась лихорадка. Его осторожно поднял уже немолодой солдат и отнес в находящийся поблизости коровник, где лежали две коровы. Там солдат уложил его на подстилку, привалив к теплему брюху одной из коров, которая как-то успокаивающе жевала свою жвачку. Он лежал на чистом сене, нигде не было грязи, и он чувствовал себя совершенно защищенным. С тех пор он питает к коровам особо теплые чувства.

В русском полевом лазарете

На следующий день утром его вынесли из коровника и положили на землю перед крестьянским домом, в котором его допрашивали. У него были невыносимые боли, особенно в правой ноге, и держалась высокая температура. Когда медсестра вновь перевязывала его, он услышал, как кто-то, проходя мимо, сказал по-немецки: «Да, этого здорово зацепило. Если и выберется, то только с одной ногой». Когда он открыл глаза, то увидел нескольких немецких пленных, среди них был и немецкий врач. Тут он с ужасом понял, что над ним нависла огромная опасность — потерять ногу, да еще после всех ужасов с ручной гранатой, разорвавшей живот радисту, а также вчерашней сцены, когда младший лейтенант мог застрелить его, не появившись в нужный момент русский полковник.

Затем его отвезли на грузовой автомашине в ближайший русский полевой госпиталь, который был оборудован в бывшей помещичьей усадьбе. Его положили на носилки, а когда несли, он увидел, что в здании много комнат, в которых

прямо на полу, без подушек и постели, лежали раненые русские солдаты, в том числе и перенесшие операции по ампутации ног и рук. Его же внесли в маленькую комнату и положили на железную кровать.

Вскоре после этого из ближней деревни пришло несколько молодых женщин, работавших добровольно санитарками. Они увидели его тяжелые раны, вернулись в деревню и принесли перьевые подушки. Такая забота очень удивила и расстрогала его, он же видел, как плохо было раненым русским. К нему часто приходил охранник, наблюдал за ним, хотя в таком состоянии он не смог бы сбежать.

Своих двух радистов он больше не видел. Спустя несколько лет, после возвращения из плена домой, он узнал, что их отправили в Сибирь, но они выжили и возвратились на родину. Один из них даже давал показания о нем в земельном ведомстве по делам инвалидов, не зная, жив ли Вилли.

В госпитале он сразу попал на операционный стол. Главный врач, маленький жилистый человек, лет шестидесяти, еврей, как понял Вилли, немного знал немецкий язык, и они побеседовали о том, что с ними со всеми сделала война. Затем он вышел и вернулся с молодой белокурой военной врачом, которой было не больше тридцати. Из-за жары она была легко одета: под легким белым халатом только бюстгальтер и трусики, как он смог заметить несмотря на свое скверное состояние. Она сразу начала оперировать его колено. Несколько операционных сестер извлекали осколок за осколком.

За это время в его комнату на вторую койку положили молодого раненого, двадцатилетнего пехотного лейтенанта Арнольда Классена, которому в рукопашной схватке прикладом выбили все зубы и разбили челюсть. Это был высокий, стройный, белобрысый парень, в которого сразу влюбилась одна из медицинских сестер и принесла ему несколько подушек. Каждый раз она нежно прижимала его к себе, когда после перевязки опускала на постель. Но из-за постоянного жара он чувствовал себя ужасно и был апатичен. Вскоре эта медсестра привела из деревни женщину, которая стала особо заботиться о Вилли и принесла ему несколько помидоров и лук. Ей было лет за тридцать, она рассказала, что ее муж погиб на войне, а ей нужен мужчина, который заботился бы о ней и ее детях, так что пусть Вилли останется у них в деревне. Свое желание она высказала по-человечески естественно, без какой-либо враждебности. Харрер был для нее не врагом, а мужчиной, который должен был выполнить свой долг по содержанию ее семьи, вместо мужа, погибшего на войне, в которой не повинны ни муж, ни Харрер.

В палату приходил капитан, который просил его помочь в овладении немецким языком, так как русские скоро займут Германию и знание языка могло бы пригодиться. Он также не проявлял никакой враждебности и высказала свое желание как нечто само собой разумеющееся, так, будто не было войны между их странами. О том, что для Вилли из-за постоянной лихорадки это непростая задача, он, вероятно, не подумал. Вилли только сказал ему, что это трудно сделать, так как нет необходимой учебной литературы, о болях и высокой температуре он не говорил. В следующий раз, примерно через неделю, капитан принес немецкую хрестоматию для начальных классов. Немецкий язык тогда был первым иностранным языком в русских школах. Хрестоматия оказалась совсем неплохой. В разделе для чтения он нашел «Проклятие певца» Людвиг Уланда, «Дорогу через луг» Петера Розеггера и несколько других рассказов, а в конце необходимый немецкий словарик. При головных болях и постоянном жаре Вилли приходилось очень напрягаться, но так как капитан был очень приветлив и вежлив, то ему не хотелось его обижать, и он с железным самообладанием старался помочь офицеру. И они продолжали заниматься. В конце августа состояние его здоровья настолько ухудшилось, что возникла опасность гангрены ноги. 28 августа 1943 года еще раз оперировали колено. При этом удалили оставшиеся осколки и все, что было поражено нарывами, в течение получаса гной насквозь пропитывал толстую повязку.

Сразу после операции и наркоза с эфиром или хлороформом он еще больше ослаб. К этому добавилась и такая скверная штука, как дизентерия с сильным кровавым поносом.

Он лежал на кровати и смотрел в окно на пыльную деревенскую улицу, по которой в течении трех дней двигались в западном направлении длинные колонны красноармейцев. У каждого на плече висела винтовка, а у некоторых вместо рюкзака был просто синий холщевый мешок, в котором, видимо, лежали патроны или хлеб. Пленные понимали, что эти части приведены в полную боевую готовность для нового наступления в общем направлении на Сталине. В первые сентябрьские дни в госпитале началось беспокойное оживление, так как стало известно, что советское наступление проходило успешно и госпиталь должен последовать за наступающими войсками.

*В один из последующих дней он увидел в окно, как на близлежащем лугу приземлился маленький биплан, из него вышли две девушки в легких платьях и летних шлемах, они

вошли с носилками в госпиталь и вскоре вышли, неся к самолету одного из больных, погрузили его в самолет и сразу улетели. Как потом стало известно, они улетели в Ростов.

Почти всех русских раненых уже эвакуировали, только он и его сосед по койке Классен оставались на месте. Однажды в дверь заглянула тихая, худенькая русская девушка, у которой было ранение в предплечье. Может быть, она хотела убедиться, не осталась ли одна. Девушка безмолвно исчезла, но им это показалось немым укором. Она, конечно, этого не хотела, уж слишком была застенчиво[^].

В конце эвакуации его и Классена погрузили в застеленный сеном кузов грузовика, и они поехали. Перед этим Вилли наложили гипсовую повязку от пальцев ног до груди, оставив лишь отдушины над гноящимися местами. Во время поездки даже при минимальной тряске у него начинались безумные боли. Он непрерывно кричал, а по прибытии в хирургический госпиталь почти потерял голос.

Госпиталь состоял из большой палатки рядом со зданием, которое вероятно, было школой, но сейчас использовалось для других целей. Вначале их приняли в большой палатке, затем направили в помещение с многочисленными нарами, на которых лежали раненые русские солдаты, но было и несколько немцев. Среди последних находился и горный стрелок Давид Хангль из Пфундса в Тироле, у Давида было сквозное ранение груди; входное и выходное отверстия были заклеены пластырем. Это его особенно не беспокоило: пуля прошла навывлет.

Вскоре пришли молодые русские и спросили его о профессии. Услышав, что он инженер-электрик, они сразу попросили помочь в решении интегральной задачи. Но он был уже так физически и умственно изнурен, что и помыслить не мог об интегралах, к тому же в школе он не блистал по части интегральных исчислений. Помочь русским он не мог, хотя они были удивительно любознательными.

Затем его перевели в этом же здании в другую палату площадью примерно 4 на 4 метра, у которой было два выхода. Она стала его домом с начала сентября 1943 до конца января 1944 года. С ним в комнате находились лейтенант Классен и низкорослый саксонец обер-ефрейтор Вальтер Фогт или Фойгт — он уже не помнит точно его фамилию — у которого было сквозное огнестрельное ранение бедра, оно не гноилось, но доставляло ему определенное беспокойство. Саксонец считал, что ногу надо оставить негнущейся, чтобы по возвращении домой больше не работать, но получать хорошую пенсию по инвалидности. Обер-ефрейтор долгое время был вместе с ним, в том числе и в лагере 108/1. В феврале

1945 года он умер от воспаления легких. Но Харреру он доставил много неприятностей, поэтому Вилли неохотно вспоминает о нем. Их комната, вероятно, была раньше кухней, имевшей свой выход во двор через сени с чуланом. Он все еще лежал на носилках, на которых его привезли в госпиталь. Они были сломаны в изголодь и в качестве возвышения ему подкладывали кирпичи. На нем был все тот же мундир и затвердевшие, как доски, от засохшей крови штаны с многочисленными дырками от осколков гранаты. Полуоторванная штанина лежала рядом. Ничего другого ему не дали. Одежда и носилки вполне соответствовали друг другу. Рядом с его носилками находились небольшие нары, на которых помещались два человека, там лежали Фогт и Хангль. У другой стены были еще одни, пока еще пустые нары; в углу находилась немудреная, но экономичная плита из кирпичей с толстым железным листом наверху. На пустые нары немного позже поместили пленного Гуго Цундля из Лодзи, а затем русского «самострела». Такие солдаты встречались и у русских.

Вначале лечение было неплохое. Начальствовала рыжеволосая, немолодая женщина в чине капитана, медицинской службы, еврейка, вроде бы из Полтавы. Он упомянул об этом лишь потому, что указанные обстоятельства приобрели для него потом трагическое значение. Каждое утро им неукоснительно выдавали примерно четверть литра перловой каши и 200 г черного хлеба, в обед чуть больше каши и столько же хлеба, на ужин тоже четверть литра каши и 150—200 г хлеба, изредка, как особое дополнение, на ужин к чаю давали даже конфету. Поздним вечером в четвертый раз получали кружку чая или горячей воды. На питание не жаловались, жить было можно.

Состояние Вилли оставалось неважным, лечение продвигалось плохо, а понос не прекращался. Физически он составлял половину себя прежнего. Из-за гипсовой повязки не мог вставать и ходить в уборную, поэтому русские дали ему спянное из железных банок подкладное судно. Ежечасно охранник вынужден был спускать ему штаны и подставлять судно. Штаны были надеты поверх гипсовой повязки, к счастью они были широкие, как у солдат-танкистов. Каждый раз при этой процедуре солдат закидывал за спину винтовку, чтобы освободить руки, затем подтирал его, надевал штаны, выносил судно и выливал его содержимое вместе со слизью и кровью. Вилли часто спрашивал себя, стал бы так поступать немецкий охранник с русским пленным? Нет, вряд ли. Часовые менялись, но почти все относились к нему хорошо. Правда, по некоторым было заметно, что они привыкли при-

служивать и те охраняемых видели скорее начальство, чем пленных.

Местонахождения госпиталя он точно не знал, по-видимому, он ршходился в угольном районе, где-то севернее города Шахты. Когда было холодно, часовые ходили за углем и возвращались с корзиной антрацита. Вилли хорошо и регулярно снабжали всем необходимым, в том числе и свежим бельем, но непрекращающийся понос приводил его в уныние. Однажды к нему зашла старушка, с которой он когда-то поделился кусочком мыла. Она дала ему тогда несколько помидоров, он их съел, хотя никогда не любил. Теперь она снова принесла ему помидоры, лук и соль. Она нарезала помидоры и лук, посолила их в консервной банке и велела ему съесть. Он подумал, что все равно кишечник ничего не удерживает. Решив, чем медленно погибать от поноса и слабости, лучше уже умереть от того, что выберешь сам, и съел все. И вдруг сразу стало лучше, кровавый понос прекратился, а ведь до этого он продолжался несколько месяцев.

Я рассказал ему об аналогичном случае, происшедшем со мной еще за два месяца до сталинградского «котла» при строительстве зимних квартир в излучине Дона. Я тогда заболел дизентерией от невымытых помидоров, которые мне подарила старая женщина, когда я ждал очереди к зубному врачу. Я вообще не любил помидоров из-за их запаха, а тут польстился на слишком красный спелый помидор. Вскоре у меня начался понос, меня положили в госпиталь. В течение нескольких недель его никак не могли остановить. В немецком полевом госпитале не было действенных средств. Тогда я попросил лечащего врача доктора Дибольта из Линца назначить мне вместо диеты, которая из-за отсутствия продуктов все равно была невозможна, обычное питание. Так или иначе все съеденное почти сразу выбрасывалось со слизью и кровью. Когда я начал получать нормальное питание, понос почти мгновенно прекратился. Правда, кишечник остался слишком чувствительным к инфекциям, и в плену часто повторялись тяжелые поносы. Я потом лечил их резкой сменой питания: сначала менял хлеб на рыбу, потом наоборот, рыбу на хлеб. Кашу переносил и ел только в малых количествах. При этом как исполняющий обязанности лагерного электрика я получал в качестве вознаграждения 1 литр каши ежедневно. Эту добавочную порцию я всегда отдавал товарищам, а сам съедал только положенные четверть литра, иначе начинался понос. Предрасположение оставалось у меня до отъезда домой и даже дома сохранялось по отношению к отдельным продуктам. Когда о загадочном выздоровлении я разговаривал со своим домашним врачом

и одним терапевтом, то они объяснили, что от резкой смены пищи часто погибают бактерии, находящиеся в органах пищеварения.

Сестры госпиталя, где лежал Вилли, были очень разные. Одна, черноволосая, неприветливая, даже грубая, много командовала, видимо, это была старшая сестра; но запомнилась и высокая, стройная блондинка из Москвы, Маруся. Она всегда относилась к нам с теплом и сочувствием - настоящая медицинская сестра, какой ее себе представляет каждый пациент.

На свободные места в палате позднее положили несколько советских «самострелов», каждый прострелил себе левую руку, это были пожилой узбек из Ташкента, молодой армянин из Еревана и молодой еврей. Один из них даже отстрелил себе палец. Восторженная защита Отечества, вероятно, не была характерной чертой для всех русских, хотя Вилли считал это чуть ли не национальной чертой их характера. Во всяком случае, в этом маленьком помещении собрались очень разные люди, к тому же у дверей всегда стоял русский часовой с винтовкой.

Однажды дверь распахнулась и вошла главврач с белым, как мел лицом, за ней следовало несколько сестер. Он сразу подумал, что случилось нечто особенное. Она обрушила свой гнев на Цундля, «фольксдойча» из Лодзи, знающего в совершенстве польский и немного — русский. Именно на него она показывала пальцем и что-то кричала. Никто, кроме него, не понял, в чем дело. Главврач резко повернулась и вышла из палаты. Тут Цундль объяснил, что наступили черные дни. У главврача страшное горе, и она ненавидит всех немцев. Ее родной город Полтава был захвачен немцами, а осенью 1943 года освобожден русскими войсками. И вот она получила известие от местных властей, что при отходе из города эсэсовцы расстреляли ее родителей как евреев и разрушили их дом.

Это был конец их сносного существования в госпитале. Врачиха больше не показывалась, их перестали лечить, даже не перевязывали, не меняли белье. Теперь они просто лежали в своей комнате, к ним относились так, будто их вообще не существовало. Это очень угнетало, поскольку, хоть им и пришлось пострадать, они могли понять русских, и зверства эсэсовцев будили в них ярость. При этом Вилли вспомнил случай в Лемберге. Теперь, когда он порой стонал от боли, русский охранник только сердился: «А чего вы хотите? Отправляйтесь в Треблинку или Освенцим и посмотрит там, как ваши обращаются с людьми». Вилли ответил, что названий Освенцим и Треблинка никогда не слышал и не знает,

где это и что означает. На это русский возразил: «Да, вы все ничего не знаете или не хотите знать. Когда вам больно, зовете на помощь. А там убиваете людей самым зверским образом!» Об этом они узнали от русских. Мы на фронте ничего об этом не знали, от нас скрывали всякую информацию о таких делах.

Лечение Вилли приостановилось; боли в колене стали просто невыносимы. Однажды, когда он посмотрел на свой гипсовый грудной панцирь — а промежуток между гипсом и грудной клеткой все увеличивался из-за усыхания тела — он увидел множество выползавших из-под гипса червей. Ему показалось, что их сотни и даже тысячи. Трудно описать, что может испытывать человек, чувствующий, что его заживо могут сожрать черви. Тут и рассудок не мудрено потерять. И он был недалеко от этого. Он постоянно стонал от боли. Часовой по этому поводу ничего не говорил, только отворачивался, когда выползали черви. От отчаяния Вилли хотел повеситься. Над его головой в стене торчал толстый гвоздь, выступавший на 5-7 см. От предыдущих перевязок осталось в запасе несколько марлевых бинтов, из которых Вилли хотел сделать петлю и повеситься. Но гипсовый панцирь не позволял дотянуться до гвоздя. Отчаяние было безграничным, жизнь стала невыносимой, но и свою смерть приблизить не удавалось.

Однажды в комнату вошла медсестра Маруся, посмотрела на него и, не сказав ни слова, вышла. Казалось, она не обратила серьезного внимания на его жалкое состояние. Тогда он твердо решил ночью, когда все уснут, приложить все силы, чтобы повеситься, так как понял, что сильные боли причиняют черви, копошащиеся в ране.

Наступила ночь, которую он считал последней. Боли не прекращались, и он все стонал. Снова пришла Маруся и еще одна сестра, но на него не обратили внимания, а подошли к часовому и стали с ним пересмеиваться и флиртовать. Затем все трое в хорошем настроении удалились. Вскоре дверь открылась и вошла Маруся, на этот раз одна. В одной руке она держала свечу (электричества не было), а в другой - какой-то почкообразный тазик. Она приложила палец к губам, шепнув: «Тсс», взяла ножницы, наклонилась и быстро разрешила повязку. Затем крепко прижала тазик к краю раны и стала ватой счищать червей, пока не удалила всех и не показалось обнаженное мясо. Гноя не было видно, как будто его сожрали черви. Она сделала Вилли знак, чтобы лежал тихо, закрыла повязку и вышла со своим тазиком. Через некоторое время вернулись часовой с другой медсестрой, еще немного пофлиртовали, затем часовой занял свое место. Он изредка

посматривал на Вилли, явно удивляясь, что тот перестал стонать и по-видимому уснул. Рана больше не покалывала и более не было. С этого времени начался процесс заживления, рана стала чистой, личинки мясной мухи, вероятно, питались гноем, струпьями, словом, всем, что отторгалось телом. Теперь мысли Вилли приняли иной оборот: появилась вера в жизнь.

Харрера поразило человеческое величие Маруси. Несмотря на строжайший запрет своей начальницы, главного врача, она совершила гуманный поступок в отношении врага, немецкого пленного, тяжелораненного, беспомощного офицера, для чего ей пришлось напрячь всю свою женскую смышленность. Вероятно, вторая медсестра и охранник помогли Марусе в выполнении этой сложной медицинской процедуры. И конечно, ей грозило строгое наказание за этот акт человечности, да еще в стране, запрещавшей всякую религию. Она совершила это по отношению к пленному врагу, гражданину народа, воюющего против ее страны, представители которого в эсэсовских мундирах творили звериную расправу над родственниками ее начальницы, над гражданами ее страны. Маруся не действовала по ветхозаветному принципу: «Око за око, зуб за зуб». Она с честью и достоинством выполнила свой медицинский долг, спасая жизнь человеку. Она действовала не в слепом повиновении, а полагаясь на свои человеческие чувства, которые подсказывали ей, что нуждающемуся в помощи надо помочь, не раздумывая, принесет ли это тебе пользу или нет.

В ночь с 24 на 25 ноября 1943 года умер лейтенант Классен. Он тоже болел дизентерией, может быть, заразился от Харрера, потому что всегда помогал ему. Ночью Вилли слышал, как Классен из своего угла все звал: «Лейтенант Харрер! Лейтенант Харрер! Вилли!» Он еще что-то говорил, но тот не мог уже разобрать. Вдруг он крикнул «Мама!» и затих. Но Харрер не мог помочь Классену, так как был совершенно неподвижен из-за гипса. Утром Классена нашли мертвым, осевшим на полу. После возвращения домой Харрер, несмотря на все усилия, не смог узнать адрес его родственников. У него осталось в памяти название Герихсвейлер под Дюреном, которое Вилли как-то услышал от Классена; Вилли ездил в те края несколько раз, но не мог найти это место.

8 декабря умер лежавший рядом немецкий тиролоец Давид Хангль, который всегда выносил его горшок и, наверное, тоже заразился. Он умер тогда, когда, казалось, начал было поправляться, но затем стал быстро худеть, его кишки буквально выворачивало, он слабел на глазах. В палате остались только лодзинец, которого затем отправили с этапом, так как он

был уже здоров, и Вальтер Фогт. За это время постепенно увезли всех «самострелов». Теперь в холодной комнате лежали троє.

Однажды открылась дверь, вошли двое русских, положили Вилли на носилки и вынесли. Он понятия не имел, что это означало. Его внесли в операционную, где сидели главврач и мужчина в белом халате. Он уже достаточно хорошо понимал по-русски и уразумел, что вопросы этого человека к главврачу касаются его, Харрера. Она не отвечала. Тогда мужчина попросил дать документы и, не получив их, подошел к Вилли и спросил, когда тот был ранен. Харрер сказал: «5 августа». Затем врач поинтересовался, когда его последний раз перевязывали и не старая ли на нем повязка. Вилли сказал, как было дело. «Да-а-а», удивился врач, затем обернулся и грозно спросил главврача, о чем она думает. А Харреру задал вопрос о том, когда наложили ему гипсовую повязку. «28 августа», — последовал ответ. Услышав это, мужчина закричал: «28 августа ему наложили гипс, сейчас декабрь, и до сих пор гипс не меняли! Вы что, хотите из людей калек сделать!» Но женщина сидела молча и вообще, казалось, не реагировала, но было видно, что она взволнована. Вилли даже стало ее немного жалко. Врач опять подошел к нему, взяв ножницы, разрезал бинты, раздвинул гипсовую повязку и осмотрел ногу. Он разрезал повязку выше колена и снял весь грудной панцирь. Оставшуюся на ноге шину он поправил и попросил Харрера подвигать ногой. Вначале Вилли не мог даже заставить шевельнуть тазобедренный сустав и стопу, вся нога была совсем неподвижна. Затем врач приказал все убрать, а его отправил обратно в комнату. Но главврач и позднее почти не заботилась о нем. Перед Рождеством с него сняли и эту гипсовую шину, но он продолжал ее использовать в качестве утепляющей оболочки ноги.

Рождество уже стучалось в дверь и появилось желание хоть как-то отметить этот праздник семьи и мира. Он подумывал об этом давно и стал по-возможности экономить топливо, чтобы хоть в этот день не мерзнуть. Он начал прятать за деревянные нары все, что могло гореть: чурку, щепку, кусочки угля и т. п. Если уж нечем отметить праздник, то пусть будет хотя бы чуть теплее. Обычно в комнате температура не превышала +5—7 градусов. Часовой довольно часто приносил с собой несколько кусочков угля, но он не умел его растапливать. Он был казах и, видимо, привык иметь дело с кизяком, но не с каменным углем. Харрер умел, но для этого требовалось немного дров, которые приходилось особенно экономить. Для разжигания угля приходилось сначала разжигать маленькие лучинки, затем класть на них

мелкие угольки и долго дуть на огонь. При этом надо было преодолеть барьер — перелезть через нары, лечь наискосок перед печкой и, непрерывно дую, добавлять более крупные кусочки угля, пока не разгорится.

С приближением Сочельника у Вилли уже накопился кое-какой запас дров и угля, и он радовался предстоящему теплоту и уютному вечеру. Когда стало темно, он в первый раз встал и попробовал ходить, но голова закружилась, и он упал. Тогда он пополз между нарами к печке. Он думал, что печка пустая, так как они уже давно не топили, и ему надо будет только положить дрова, приготовить уголь и начать затяжную церемонию разжигания. Но печь не была пустой, в ней оказалась зола, а когда он сунул руку за нары, то не нашел там ни дров, ни угля. Полный разочарования, он спросил Фогта, не знает ли тот, куда девалось топливо, не взял ли его кто, когда Вилли спал. Сначала Фогт не дал ответа, но потом сказал, он все сжег несколько дней тому назад, когда было очень холодно, а в печке еще оставался жар. Тут Харрер почувствовал ненависть к этому человеку, потому что расценил его поступок как обман доверия и обворовывание беззащитного и тяжелобольного. В течение многих недель он по крохам собирал топливо, Фогт знал это и все-таки сжег.

Сочельник пришлось встречать в темной, холодной комнате, без всякого намека на праздник. Ничего не поделаешь, выдержали они и это. Но через несколько дней произошло гораздо худшее.

Казаха, который в последнее время был их постоянным охранником, послали за углем для лазарета. Было очень холодно. Единственное окно комнаты было застеклено только сверху в виде узкой полоски, а все остальное заколочено досками с маленькими щелями между ними. Когда свирепствовала метель, через них задувало снег. Харрер всегда припрятывал немного ваты, чтобы затыкать эти щели. Но это можно было делать только тогда, когда уходил часовой. Вот и теперь он ушел за углем, и Вилли стал затыкать щели. Внезапно распахивается дверь, и он слышит грозное: «Што!» Захваченный врасплох, Вилли оглянулся и увидел крепкого тридцатилетнего русского солдата с немецким карабином через плечо. Зная значение слова «што», он сказал по-русски: «Ветер, снег, сегодня здесь очень холодно, я хотел это закрыть». В этот момент он почувствовал, как русский схватил его за шиворот и рванул так, что Вилли упал на пол. Сил для этого русскому много не потребовалось. Он начал бить лежащего Вилли ногами. Собрав свои слабые силы, тот попытался подняться. Всего три недели назад с него сняли гипс, к тому же недавно он перенес дизентерию, поэтому

поднимался с* тру дом. Только страх смерти придавал ему силы, и он сумел встать.

За день до этого к нему приходила медсестра и принесла листок из календаря, где были изображены наступающие советские солдаты и раненый со склонившимися над ним двумя медсестрами, которые перевязывали его. Девушка, вероятно, думала, что немцы, а к ним тогда относились и австрийцы — умеют все, в том числе, и отлично рисовать. Поэтому она попросила, чтобы из рисунка он сделал настоящую картину, уж очень ей нравится сюжет. Ему хотелось выразить ей свою признательность, но вначале он не решался, потому что не знал, сумеет ли он это сделать, и Вилли сказал, что не умеет рисовать. Когда он увидел ее разочарование, то ему пришла в голову идея нанести на рисунок сетку, на другом листке начертить то же самое в более крупном масштабе и таким образом по частям увеличить картину. И он дал согласие, но попросил, чтобы она принесла ему карандаш, бумагу, линейку и доску, на которой можно рисовать. Она принесла все требуемое, а вместо доски поставила маленькую школьную парту, на которой до тех пор сидел часовой. Харрер сел за парту и рисовал, пока не деревенели от холода пальцы, негнушующую ногу он выставлял в сторону.

Когда на него набросился человек с карабином, парта стояла на прежнем месте. Поднявшись на ноги, Харрер взял свой костыль, проковылял к парте и сел за нее. Русский уже успел заметить рисунок, он взял лист и прочитал: «Смерть немецким оккупантам!» Выкрикнув эти слова как девиз, он двинулся на Харрера с кулаками. Но теперь между ними находилась парта. Кроме того, раньше Вилли немного занимался боксом, и когда русский наносил удары, Вилли прикрывался и уклонялся, так что тот не мог нанести точный удар, и это выводило его из себя. Русский вырвал у Харрера примитивный костыль, вернее, треснувшую палку, и разбил ее об голову и плечи бедняги. Затем он крикнул: «Ложись!» Вилли повалился на свою постель, по-другому поступить он не мог, потому что русский так рассвирепел, что можно было ожидать самого худшего. Тут он увидел прислоненную к стене палку длиной примерно с метр, которую ему принес казах, чтобы Вилли мог опираться не только на костыль. Когда русский отвернулся к окну, Харрер подумал, что палку нужно спрятать под нары, пока русский не увидел и не стал его бить. Но русский будто прочитал его мысли. Он резко обернулся и закричал: «Кто тут офицер?» Фогт, который все видел, но не понимал по-русски, спросил, что говорит русский. Вилли объяснил. Тут Фогт указал на Харрера и сказал: «И я тоже». Тогда русский схватил палку и в бешенстве

нанес Вилли пять ударов по голове. Уже первым ударом он разбил ему скуловую кость и рассек правую бровь. Харрер показал мне широкий шрам и в дальнейшем рассказе отметил, как быстро в таких ситуациях работает мысль. Как только он почувствовал, что течет кровь, а поврежденная бровь обычно кровоточит сильно, он притворился, что убит: опустил голову на край носилок и больше не двигался, при этом на полу сразу образовалась лужа крови. Это утихомирило русского, он прислонил палку к стене и стоял молча.

Шум и крики не остались незамеченными, одним ухом — другое было залито кровью — Вилли услышал, как открылась дверь, а затем — взволнованный голос Маруси: «Что с тобой, Вильгельм?», потом она окликнула часового, тот не ответил и выбежал из комнаты. Вилли понял, что спасен, и повернулся к ней. Она увидела его залитое кровью лицо и ласковым тоном спросила: «Что, Вильгельм, часовой бил?» Он тихо ответил: «Часовой — Палка». Маруся тут же куда-то побежала. Через несколько секунд в комнате уже были главврач и сестры. Главврач посмотрела и ушла, но все же вернулась и встала рядом с постелью, а сестры накладывали на рассеченную бровь вату, однако рану не сшивали, а просто перебинтовали голову. Это произошло 29 декабря 1943 года. Голова его гудела, и он не мог открыть рот. Того русского он больше не видел.

Несмотря на то, что посещения были строго запрещены, к Харреру началось настоящее паломничество, большинство посетителей было одето только в рубашку и кальсоны. Слух о нападении часового разнесся с быстротой молнии. Приходило много незнакомых людей, в том числе несколько молодых русских евреев, еще совсем юных, но уже раненных на войне. Первым делом они спрашивали, не разбит ли глаз и сильные ли боли. Из-за разбитых губ ему было трудно отвечать. Кроме того, он и сам не знал, поврежден ли его забинтованный глаз, хотя боли в нем не чувствовалось. У Вилли создалось впечатление, что юношам были крайне неприятны действия часового.

В этот день ему даже дали куриный суп, видимо, на главврача оказали моральное давление. Но он не мог есть без посторонней помощи: из-за сломанной скулы и разбитых губ невозможно было открыть рот, тем более, жевать. Поэтому маленькие кусочки мяса ему разминали пальцами, а затем, осторожно раздвинув губы, просовывали в рот. Куриный суп способствовал выздоровлению в прямом и в переносном смысле, уже как сам факт какого-то внимания.

Приходили все новые посетители, и было заметно, что их очень возмущал этот инцидент. Они интересовались, по ка-

кому поводу часовой набросился на него. Вилли объяснял, как мог, что никакого повода не было и почему тот так поступил, не знает. Через несколько дней, когда опухоль с губ спала и он смог говорить, то сам начал спрашивать, может, кто-нибудь знает, почему часовой пришел в такую ярость. Ему рассказали, что этот человек из Донбасса, жил в деревне, которую бомбили немецкие самолеты. Прямым попаданием был разрушен его дом, при этом погибли жена и трое детей. Тогда он поклялся, что будет убивать каждого немца на своем пути. «Это война», — задумавшись, сказал Харрер, — «Что поделаешь?» «Почему? Ничего!»

«Да, это война», — сказал я, — страшное испытание для людей, на них обрушивается такое, с чем они не в силах справиться. «Око за око, зуб за зуб!» — стучит в висках некоторых отчаявшихся и убитых горем людей, которые в нормальных условиях не способны на жестокость. Ни у кого нет права начинать войну и принуждать людей видеть врагов в тех, кого они лично таковыми не считают и кого даже не знают вовсе. Есть примеры и того, как экстремальные условия побуждают людей к благородным свершениям. Будучи инженером, я давно столкнулся с проблемой прочности материалов, с испытаниями их на разрыв. Такие испытания необходимы в интересах надежности строений, мостов и стен, сооружаемых из этих материалов. Но речь шла именно о материалах: бетоне и стали и т. п. Сегодня подобные исследования в технике обязательны, и для этого имеется разнообразное оборудование. Однако люди тоже становятся материалом для фанатичных политиков и военных. Ни у кого нет права своей властью низводить людей до «материала». Больше так нельзя. И каждый, кто не хочет стать «материалом», должен не спускать глаз с политиков и партий, не поддаваться пропагандистскому обману. Особенно опасны диктатуры, превращающие людей в марионеток, манипулирующие ими и принуждающие их к бесчеловечным поступкам. Слава богу, многим, несмотря ни на что, удается сохранить человеческое лицо и быть человеком в любой ситуации».

Итак, своего обидчика он больше не видел, вернулся тихий казах, ему было интересно наблюдать перемены, происшедшие за то короткое время, пока он ходил за углем. Дальше все шло своим чередом. Вилли выздоравливал,правлялся. Помнится, как после 1 января 1944 года русские часто пели новую песню, которая оказалась новым государственным гимном, и его мелодия многие годы звучала в Советском Союзе. Но этого пели «Интернационал». Сталин

разбудил в людях национальные чувства и призывал к защите Отечества. Мы этот гимн тоже выучили — сначала по-немецки, а потом по-русски — и пели его в немецком и австрийском хоре, я и сам пел как второй бас; нам он нравился, и русские этому радовались. Между прочим, мы пели также «Интернационал» и даже с восторгом, потому что его слова очень подходили к нам: «Вставай, проклятьем заклеянный, весь мир голодных и рабов!» Что такое голод, мы знали слишком хорошо, да и заклеянными нас в ту пору тоже можно было назвать.

Так прошел почти весь январь. Харреру часто меняли повязку на голове, при этом каждый раз он старался прибереечь использованные остатки ваты и бинтов. Их он засовывал в свою форменную куртку под подкладку, чтобы немного ее утеплить, и со временем куртка стала похожа на ватник. Куртка - это единственное, чем он мог накрываться при отсутствии одеяла, а в комнате было очень холодно.

Однажды зашел молодой раненый красноармеец и увидел стопку тюфяков, которую соорудила сестра в углу комнаты. Так как Харрер лежал на своих носилках без одеяла, тот взял два тюфяка и накрыл Вилли. Харрер высказал опасение: не попадет ли за это. Но солдат сказал, что все возьмет на себя. На вопрос Харрера, где его дом, тот ответил, что он башкир из Уфы, с Урала. Парень был очень дружелюбен и приветлив. Через несколько часов, когда в комнату вошла сестра и увидела Вилли, укрытого тюфяками, она спросила, кто их положил. Он не выдал башкирца, а только сказал, что это сделал незнакомый солдат. Тюфяки сразу убрали. Выяснилось, что они принадлежали солдатам, - умершим от разных болезней, в том числе от дизентерии. Никто не хотел, чтобы Вилли снова заразился. Тюфяки-то убрали, но одеяла он не получил.

Он неоднократно уговаривал своего соседа, саксонца Фогта, чтобы тот начал вставать и старался двигать простреленной ногой, так как рана уже зажила и нет оснований для такой неподвижности, но Фогт каждый раз отвечал: «Об этом не может быть и речи: если я когда-нибудь вернусь домой, то никогда больше не буду работать. Получу приличную пенсию по инвалидности и буду хорошо жить». Харрер говорил ему, что когда-нибудь их отсюда отправят, тогда придется идти, никто его не понесет. Но это не производило на Фогта никакого впечатления. Вставал он редко, только по нужде, и не делал никаких двигательных упражнений. Сам Харрер вновь и вновь пробовал ходить, сгибать ногу в колене, развивал чувство равновесия, и у него было ощущение, что дело, хоть и медленно, идет на поправку.

26 января/в комнату вошла главврач, которая давно уже не показывалась. Она сообщила, что из госпиталя их выписывают и отправят в лагерь. Сестры принесли им русские шинели и ботинки, которые были ему велики. Но он не горевал, так как видел в этом даже преимущество. Можно было плотно обмотать ноги сэкономленными бинтами, ведь ни портянок, ни носков им не давали. Оторванную еще при ранении часть левой штанины он привязал бинтами, с нижней кромки длинной шинели оторвал полоску и сделал настоящие теплые обмотки. Из вещей у него остались только поллитровая жестяная банка с ручкой и небольшая ложка, которые ему дала сестра Маруся. Сломанная скуловая кость еще затрудняла еду, трудно было раскрывать рот. Но маленькой ложкой он мог, хотя и не без усилий, есть суп и кашу. Наконец они покинули комнату, где так много прожили, затем прошли через большое здание и вышли на улицу, к воротам. Там их ожидал конвойр в стеганке, штанах на вате и меховой шапке. Его экипировка выглядела не по-солдатски, только винтовка позволяла узнать в нем военного. Стояла настоящая русская зима, мела метель, и за полсотни метров ничего не было видно. На улице Фоггу сразу же пришлось туго. Он не мог спуститься по ступенькам, так как никогда не пробовал сгибать простреленную ногу, и тут же стал просить помощи: «Иди сюда, помоги мне, поддержи меня, ты ведь ходишь почти нормально». Харрер, конечно, поддержал его, хотя самому приходилось бороться с порывами ветра, чтобы не упасть. Весу в нем было не больше 50 кг. Его охватила сильнейшая ненависть к этому человеку, который всегда хотел жить за счет других.

Через некоторое время часовой немного отстал от них и вдруг дважды выстрелил. Они вздрогнули, не зная, зачем он это сделал. Хотел ли он застрелить или только предупреждал, что сразу будет стрелять при попытке к бегству, а, может, подавал сигнал кому-то. Но они все равно не смогли бы сбежать. Так и шли они втроем сквозь белое, метельное ненастье.

Путь длился уже не один час, охранник заметил, что они устали, что с ними далеко не уйдешь. Тут они услышали звон колокольчика, и из снежной бури вынырнули сани, запряженные двумя маленькими мохнатыми лошадками. На длинной светлокоричневой шерсти висели ледяные комья, в саях сидел старый бородатый мужичок, закутанный в типично русский меховой тулуп, в валенках и белой масовой шапке из овчины. Часовой остановил его и попросил подбросить их до вокзала. Тот согласился, так как ему было по пути. Охранник сел к вознице на козлы, Вилли с Фоггом попытались

сесть сзади. Но собственными силами они забраться в сани не могли, часовой с кучером помогли им. Между кучером и охранником вскоре завязалась беседа. Кучер спросил, куда они едут. Тот ответил: «В Сталинград». Тут они впервые узнали, куда их направили. Кучер спросил: «Для чего?» Охранник объяснил, что везет пленных в лагерь. Так кучер узнал, что мы военнопленные, о чем не догадался сразу из-за наших русских шинелей. «Так это военнопленные!» — сказал он и продолжал: — «Я слышал, что военнопленные в этом лагере получают каждый день по 600 г хлеба и тарелку супа. Не лучше ли пристрелить этих двух, чтобы их харч достался нашим». Сказал он это без всякой агрессивности, совсем поделовому, как будто искал выхода из тяжелого положения, избавления от голода, который терпели люди в тылу. На это часовой только сказал, что это невозможно, ибо у него приказ привести пленных живыми в Сталинград. Затем последовало типичное русское: «Ничего».

«Ты и сам знаешь, как тяжело тогда было русским и как они голодали, ведь весь тот край страшно пострадал от войны», — сказал Харрер. К счастью, он тогда уже неплохо понимал русскую речь, и уже не приходилось бояться неизвестности. Когда сани остановились, они двинулись пешком по направлению, указанному кучером. Вскоре вышли к занесенной снегом железнодорожной насыпи, побрели вдоль нее и вдруг сквозь вьюгу увидели здание. Вилли запомнилось название станции — «Звереве». Они вошли в зал ожидания, который хотя и не отапливался, но защищал от холодного ветра и метели. Пленные сели на скамейку, а охранник несколько раз выходил, вероятно, чтобы узнать, как двигаться дальше. Харрер и Фогт были на пределе физической и моральной усталости, им так не хватало хоть какого-то знака надежды. И такой знак неожиданно появился.

Дверь открылась, и в зал вошла красивая, крепкая, высокая молодая девушка. На ней была толстая вязаная накидка, закрывавшая верхнюю часть фигуры, облаченную в фуфайку, а в руках — корзина с дужкой. Девушка села на скамейку напротив и некоторое время наблюдала за ними. Когда охранник вышел в очередной раз, она подошла к ним и участливо спросила, причем по-немецки: «Камерад голодный?» Харрер ожидал чего угодно, только не такого вопроса. Если бы она на него накричала, проклинала войну и его как убийцу, обозвала бы его дьяволом в образе человека, это его отнюдь не удивило бы. Она так приветливо спросила: «Камерад, голодный?», что это вывело его из равновесия. Слезы сами собой брызнули из глаз, и он даже не смог сказать «Да», а только кивнул головой. Она достала из корзины

плоский каравай хлеба, разломил его, дала им половину и вернулась на скамейку. Он был так потрясен, слезы текли по щекам, и он не смог даже сказать ей русское «Спасибо». Вскоре девушка ушла.

Они дождались поезда и поехали дальше. Следующая остановка была на станции «Лихая». Это место он тоже не забудет, там произошло неприятное недоразумение. Они ждали поезда, стоя и сидя на холодном каменном полу. Вдруг оживавшие обратили внимание на то, что это немецкие военнопленные. Особенно негодовали один немолодой мужчина и женщина, которые громко и все возбужденнее напоминали другим о том, какие зверства совершали немцы во время войны: бросали детей в колодцы, поджигали дома, насиловали женщин и так далее, им на память приходили все новые злодеяния. В конце концов вокруг пленных сгустилась враждебная атмосфера и, когда часовой вышел, их окружила толпа. Люди были настроены явно агрессивно, и Вилли с Фоггом уже подумали, что им собираются устроить самосуд. В это время открылась дверь и вошла группа красноармейцев, среди которых был молодой сержант. Он остановился и с любопытством посмотрел на них и на столпившихся вокруг людей. Некоторое время он слушал, затем протиснулся и встал перед ними. Харрер уже стал опасаться худшего, потому что солдаты были вооружены автоматами. И вдруг он услышал, обращенный к нему вопрос, звучавший на совершенно чистом венском диалекте: «Товарищ, что случилось?» Вилли был так поражен, что не смог сразу ответить, а затем задал встречный вопрос: «Откуда вы так хорошо знаете немецкий, да еще венский диалект?» Тот ответил, что родился в Вене. Его отец был связан с февральскими событиями 1934 года и вынужден был с семьей спасаться бегством через Чехословакию в Россию. Они осели в Днепропетровске, где он и вырос, посещал школу, а сейчас находится на военной службе в Красной Армии. Вилли ему объяснил, в чем их обвиняют, хотя они ничего плохого не сделали. Тот быстро привел своих солдат, которые тоже протиснулись через толпу, обступили их и увели в другое помещение, предназначенное для военных. Там накормили чечевицей, которую они ели впервые в жизни, но с большим удовольствием. Затем сержант спросил, что Вилли думает о Гитлере, только пусть скажет честно. Вилли, не лукавя, ответил, что вначале австрийцы принимали Гитлера как спасителя от невзгод, но позже увидели, что политика Гитлера приняла совсем неожиданное направление и привела к мировой войне. Сам Вилли вдоволь нагляделся на его дела, как и многие австрийцы, поэтому они слышать о нем не

хотят, но пока не могут ничего изменить. В это время вернулся часовой, увидел их в прекрасной компании и опять ушел.

Наступил вечер, прибыл поезд и увез солдат на запад, вероятно, на фронт. Их перевели в старое помещение, где были уже другие люди. Так как они очень устали, а все окружающие уже лежали на каменном полу, пленные тоже легли и постарались заснуть, но тут снова возник повод для тревоги. Вошли два солдата и стали говорить между собой. Один из них показал на Харрера и сказал: «Завтра в 5 часов его расстреляют». Похолодев от страха, Вилли задавался вопросом, что же опять случилось. Каждые полчаса заходил один из солдат проверять, на месте ли он. Это была жуткая ночь, Вилли думал, что его не отправят в Сталинград, а завтра расстреляют на месте, другое не приходило ему в голову. Прошла ночь, но солдаты не приходили за ним, а часовой охотно рассказал, что случилось вчера. Те двое русских, мужчина и женщина, которые обвиняли их во всех смертных грехах, утверждали, что за время короткого отсутствия этих русских Харрер якобы стащил хлеб из их багажа. Но охранник расследовал это дело, а утром на базаре он увидел, как те продавали свой хлеб. Об этом он сообщил солдатам и добавил, чтобы они оставили его в покое. Но эту ужасную ночь он никогда не сможет забыть.

Утром пришел поезд на Сталинград, и они сели в купе, которое, как принято в России, было трехярусным, и на нижней полке приходилось сидеть троим. Харрер сразу забрался на багажную полку и во время движения смотрел через окно на зимний пейзаж. Снег лежал неравномерно, местами были сугробы, а местами чернела голая земля. В вагоне было тепло, женщина-проводник следила за чистотой и порядком и постоянно топила печку. На печке стоял большой жестяной бидон с горячей водой. Его товарищ лежал на противоположной багажной полке, и охранник остался доволен таким размещением. Под ними расположились другие русские, сменявшие друг друга на станциях. Поздно вечером прибыли в Сталинград и пересели на поезд в Красноармейск, предместье Сталинграда, где находился лагерь 108/2, относящийся к Бекетовскому кусту. Они долго ждали у ворот лагеря. Наконец появился часовой и сказал: «Ступайте назад». Им следовало вернуться в Бекетовку, в главный лагерь, видимо, что-то перепутали с документами. По железнодорожной насыпи они приковыляли в Бекетовку, там все быстро разрешилось, и им опять пришлось возвращаться в Красноармейск. Обрато добрались очень поздно, уже за полночь, и были совершенно измучены.

Нормализация лагерной жизни

У будки часового их уже ждала медсестра в белом халате. Она повела вновь прибывших в лагерь, к так называемому «немецкому каменному дому». Так называлось одно из двух каменных строений, в котором жили немецкие военнопленные, во втором находились румыны. Сначала нужно было пройти санобработку в бане, находящейся в подвале того же здания. Затем их повели в румынский корпус и разместили в карантине — маленьком помещении у входа. От усталости они попадали на нары и сразу заснули.

Утром, было это 29 января 1944 года, им захотелось выбраться из своей каморки, но дверь оказалась запертой. Время от времени приходил румын удостовериться, что они никуда не исчезли. Они спросили его насчет еды. Но понять друг друга было трудно, он не говорил по-немецки, а они по-румынски. Наконец они попробовали сказать по-русски «кушать» и делали соответствующие жесты. Тут он их понял, помотал головой и сказал: «Кушать нет». Так они и сидели в ожидании подходящего случая, чтобы выйти из изолятора. Спасительная надежда, связанная с лагерем, дала трещину. Они начали подозревать, что и в обычном лагере состояние пленных мало кого волнует. Сейчас о них никто не заботился, их просто держали взаперти. Они размышляли о том, как выбраться из этой дыры.

Спасение пришло неожиданно: при утренней проверке не хватало одного человека. Это в лагере случалось часто, что доставляло немало хлопот всем, так бывало, когда кто-нибудь из пленных пускался в бега или «по крайней нужде» сидел в уборной. Нередко охрана ошибалась при пересчете, и приходилось все начинать заново, пока цифры не сходились, случалось и так, что кто-нибудь из уже пересчитанного ряда незаметно переходил в еще непересчитанный, дабы на конец получилась нужная цифра. Был один охранник, который безошибочно мог считать только до тридцати, после чего сбивался и быстро начинал снова, но где-то на тридцати опять все кончалось. В конце концов он отводил душу чисто русским ругательством, а затем со словами: «Ну, хорошо!» отпускал всех. Ввиду того, что у него часто не сходились результаты - вероятно, он слишком торопился — мы прозвали этого добродушного маленького человека «Быстро». Кстати, слово «быстро» мы то и дело слышали на работе и при выкли к нему.

*

Вилли и Фогт вздрогнули от звука отпираемой двери. Вошел румын и знаком приказал следовать за ним. Он провел их на улицу перед домом. На углу стоял столик с двумя

стульями и сидели двое русских с листами бумаги. Рядом стояло несколько пленных румын, ответственных за размещенных в каменном здании. Русские что-то писали, и каждый пленный должен был ждать, когда его вызовут. Это уже была не просто поверка, а регистрация, проходившая ежегодно. Фиксировались все те же данные: имя, фамилия, имена отца и матери, дата рождения, место рождения, домашний адрес, специальность, национальность. Как я уже говорил, вначале мы считали повторение этих данных бессмыслицей, так как каждый уже сообщал их много раз, но позже сообразили: у русских наши данные, конечно, имелись, и они сравнивали с ними новые наши ответы. Возможно, кто-то что-то утаивал, говорил неправильно или врал, возникало разночтение, так как трудно было запомнить, что ты говорил в прошлый раз. Тот, кто изменял данные, попадал под подозрение.

Харрер и его товарищ тоже дали свои показания и снова встали в строй. Потом они увидели, как подошли несколько пленных в белых спецовках. К удивлению Харрера, они говорили между собой на чисто австрийских диалектах. Он обернулся и спросил одного из них, откуда они. Тот удивленно оглядел его и сказал своему соседу: «Я уж было подумал, что это русские оборванцы, однако это австриец!» Как выяснилось, это был Пауль Швайфер из Санкт-Маргаретена в Бургенланде, а обращался он к Карлу Вайбелю из Войтсдорфа в Верхней Австрии, тот был раздачиком еды и хлеба в лагерной кухне. Все, одетые в белое, были работниками кухни. «Откуда же ты?» — спросил его Пауль Швайфер. Харрер ответил, что он из Граца, лейтенант, прибыл в лагерь прошлой ночью, но никто о нем не заботится и не может ли Пауль дать совет, что предпринять. Тот сказал, что в данный момент не может помочь, поскольку сразу должен идти на кухню раздавать обед, но пусть Харрер спустится к бараку № 2, там он встретит немецких врачей и наверняка узнает, что предпринять. Но приставленный к ним румын был уже тут как тут и снова вернул в их каморку. Через несколько минут снаружи послышались быстрые шаги и характерный стук посуды. Харрер встал на нары и увидел через маленькую щель в окне, как со всех сторон пленные с посудой в руках устремились к стоящему далеко внизу бараку. Он предположил, что это и есть кухонный барак. Надо было как-то попасть туда. Стук посуды послышался и в их бараке, появилась надежда, что охрана пошла за обедом. Он толкнул дверь, оказавшейся незапертой и осторожно выглянул, чтобы узнать, не ушел ли часовой. Того действительно на месте не было. Вилли посоветовал Фогту остаться, а сам решил отправиться на разведку. На всякий случай он обогнул барак,

чтобы его не увидели из румынского корпуса, спустился к следующему бараку, предположив, что это и есть барак № 2. По дороге он встретил пленного, который подтвердил его предположения. Вилли вошел в барак с длинным коридором и, увидев санитаря, спросил его, где врач. Тот указал ему на одну из дверей. Вилли постучал и, войдя, увидел высокого рыжего мужчину с веснушчатым лицом. Это был старший врач Бёкелер, как потом выяснилось, хирург. Харрер представился. Тот посмотрел на него не очень приветливо, ведь выглядел Вилли, как грязный нищий в лохмотьях, а не как офицер и инженер. Может быть, врач принял его за доносчика, за какого-нибудь афериста. Доктор заведомо не видел в нем человека, нуждающегося в срочной помощи, а приглядываясь к нему, как у себя в клинике, определяя, кто явился к нему на прием: пациент больничной кассы или богатый частный пациент, или же это просто опустившийся бродяга, который сулит не гонорар, а работу и расходы и одним своим видом может распугать платных больных. Вилли рассказал врачу о своих фронтовых перипетиях, о тяжелых ранениях при пленении, о мучениях в лазарете, о гипсовом панцире, из-за которого нога осталась негнущейся, о длинном пути в Красноармейск, куда он прибыл совершенно изнуренным только вчера ночью, о том, что здесь о нем никто не заботится, что его заперли в румынском здании и не дают еды и что он нуждается в лечении. О негнущейся ноге врач только сказал: «Радуйтесь, что она хоть цела», а о еде добавил: «Вы должны знать, что в плену каждый должен сам соображать, как выжить, каждый сам себе ближний!»

Вышел Вилли в полной растерянности. За полгода он пережил так много трудностей, стремясь быстрее попасть в лагерь, с чем связывал надежду на лечение и выздоровление. Он прибыл в лагерь совсем без сил, ему срочно требуется помощь, а эти идиотские румыны зачем-то держат его взаперти. И вот от немецкого врача, назначенного, чтобы заботиться о пленных, он узнает, что в плену каждый должен беспокоиться о себе сам.

«Я понимаю, что творилось у тебя на душе»,— прервал я рассказ Вилли и привел ему аналогичный пример. В первые недели плена, когда нам было хуже всего, когда люди умирали не только от голода, но и от отчаяния и безысходности, многим из нас еще в «котле» плен казался единственной надеждой, и это помогало переносить тяготы. Нам и в голову не приходило, что для русских наша капитуляция обернется невероятной проблемой, связанной с размещением и обеспечением массы военнопленных. Сталинград был совсем разрушен, а окрестности опустошены. Немецкие интенданты

распорядились взорвать все продовольственные склады. Они даже собственным людям ничего не оставили. Русские из-за длительных боев сами не имели под рукой необходимых запасов, железные дороги были разрушены, Дон и Волга покрыты почти метровым слоем льда. К тому же транспорт всегда был слабым местом русских. А им, кроме своих боевых частей и гражданского населения, приходилось обеспечивать свыше 90 000 пленных жильем, продовольствием, медикаментами, да еще во время ужасной войны, которая забирала все силы и средства. Вначале мы получали очень мало еды, поэтому многие погибали от голода. Затем стали получать нормированный паек, а со временем - даже больше, чем гражданское население, хотя и этого было недостаточно, чтобы восстановить силы. Прежде всего, не хватало жиров и витаминов. Следствием были дистрофия, водянка, флегмоны, простуда, сводившие в могилу многих пленных. Чтобы справиться с этими трудностями, особенно с болезнями, русские стали назначать старостами бараков врачей, но это не оправдало себя, потому что врачи подвергались тем же испытаниям, что и все пленные. Они думали в первую очередь о том, как выжить самим. Сначала у них не было медикаментов, гонораров за работу им никто не платил, самое большее, что они могли иметь — скудное наследство умерших. Да и это они должны были передавать руководителям бараков. Среди оставшихся вещей попадались золотые или бриллиантовые кольца, которые можно было утаить и продать русским за хлеб. Каждому приходилось думать о собственном выживании, но оставаться при этом человеком. Не всем удалось продержаться долго. Всегда были врачи, которых пленные ценили за помощь и которые голодали как и мы. Но встречались и бездушные, черствые и высокомерные бюрократы, а иным просто не хотелось работать, и они создавали видимость работы. Вскоре врачей перестали допускать к руководству, их место заняли гаупт-фельдфебели немецкого вермахта. Они, по крайней мере, умели организовать людей и обеспечить порядок и чистоту. Врачей использовали только по специальности: в лазаретах, аптеках, медпунктах, причем заведующими лазаретами и всей медицинской частью были русские врачи. В здешнем лазарете это была рыжеволосая, веснушчатая русская женщина лет сорока пяти, которая в прошлом декабре выгнала меня из лазарета с тяжелым плевритом по настоянию старшего санитаря, тоже пленного, отомстившего мне за нелюбезный упрек. Немецкий врач, как я уже писал, отказал мне в помощи. Я рассказал Вилли, как в прошлую злму у меня развился панариций правого большого пальца, были жуткие боли, а лагерный врач

(пленный немец) не пожелал разрезать почерневшую опухоль. Это сделал молодой австрийский врач доктор Хацль, лежавший в малярийной лихорадке. Однако некоторые врачи при мало-мальски нормальных условиях стали опять такими, какими их желает видеть больной, но это произошло не со всеми, и уж никак не с теми двумя, которых я уже упомянул. Рыжий был хирургом, другой — имел на родине частную клинику. Два надменных ученых педанта, они думали только о своей выгоде, и наверняка не только в плену. Тип не столь уж редкий, для таких спецов человек — всего лишь материал, источник заработка. С того самого времени я не могу преодолеть неприязнь к хирургам и частным клиникам, где находишься полностью в их руках. Слишком многим врачам не удалось выдержать «искус», запах денег заглушал принципы.

Харрер продолжил свой рассказ. Ошеломленный беседой с немецким врачом, он надел русскую шинель и по длинному коридору пошел к выходу. Вдруг он увидел стоящих перед дверью нескольких полураздетых мужчин упитанных и сильных, настоящих быков. Он спросил одного, что здесь происходит. Тот ответил, что у них очередное контрольное обследование у русского главврача Кринкхаус. Харрер решил тоже попробовать попасть на прием, авось что-нибудь получится. Когда за очередным пленным открылась дверь, он заглянул в комнату. Там за письменным столом сидела седая женщина в белом халате, а рядом с ней — медсестра с бумагами. Он быстро разделся и, когда вышел последний пациент, постучался и вошел, сказав по-русски: «Здравствуйте». Женщина подняла голову и сквозь очки посмотрела на него своими умными глазами, а затем на ломаном немецком спросила: «Кто Вы?» Он ответил: «Я вчера прибыл с этапом». В этот момент он увидел, что сестра заерзала, и понял: это она отвела их ночью в баню. «Да, этот прибыл вчера ночью», — сказала сестра. Главврач обернулась к ней и строго спросила: «В чем дело? Почему не доложили?» Сестра что-то пролепетала про баню и запнулась. Доктор Кринкхаус грозно приказала: «Немедленно отведите его наверх в лазарет!» Вилли сообщил, что с ним прибыл еще товарищ, который находится в румынском корпусе. Она сказала, что позаботится о порядке. Сестра немедленно отведет их в лазарет. Он вышел вместе с сестрой и быстро оделся. Он заметил, что сестру трясло от злости, но она обязана была послушно выполнить приказ, даже поддерживала Вилли по дороге в лазарет, так как у него подкашивались ноги и он сам не смог бы подняться по ступенькам. Сестра открыла дверь в карантинное отделение. Он вошел. Вскоре появились румыны и сказали ему, чтобы он сел. Ему

часами пришлось сидеть и лежать на полу, по пол был деревянный, п Харрер не мерз. Его товарищ попал не в лазарет, а в немецкий каменный дом, где и остался, так как физически выглядел достаточно хорошо, не имел ран и повязок. У Харрера же были перевязаны голова и колено, а полуоторванная штанина обмотана марлей. Выглядел он очень жалко, особенно когда ковылял, опираясь на две палки. Уже вечером его отвели в баню, где его обработали санитары. Потом он попал в помещение с немногочисленными нарами, на которых лежали хлопчатобумажные синие одеяла и маленькие подушки. Он прилег и почувствовал, что наконец спасен. Он сразу уснул, а затем целыми сутками чередовал долгие часы сна с минутами полудремы, когда его будили для еды. Только через несколько дней он пришел в себя, начал интересоваться окружающей жизнью и обнаружил, что в комнате находились еще три австрийца: штириец Петер Шварценеггер, венец Лео Корнфайль и Тони Харольд из Нижней Австрии. Главной темой разговора была еда и ее приготовление. Каждый умел готовить и говор и л о своих методах и рецептах. Харрер чуть было не поссорился с Лео Корнфайлем, который готов был наброситься на Вилли, когда тот рассказал о своем рецепте приготовления «настоящей гречневой каши». Много лет спустя, в 1952 году, он опять услышал о Лео. Тот стал мужем лучшей подруги его жены.

«Да», — сказал я, — «и это состояние в первые недели плена мне хорошо знакомо. Такое наступает, наверное, тогда, когда после бурного и опасного периода становишься спокойнее и имеешь время для сна и безделья. Мы еще сильно голодали, а вы уже не испытывали такого голода, но все равно были трудные условия: холод, неволя, недостаточное питание».

Когда Харрер стал способен передвигаться, он начал ходить в столовую, где в глиняную плошку ему накладывали еду. Там он опять встретил Пауля Швайфера, который стоял на раздаче и всегда заботился о том, чтобы Вилли перепало кое-что из остатков. Это помогло ему набрать силу и отдохнуть психически. На десерт в качестве витаминной добавки часто давали пересохшие, крошащиеся кубики дрожжей. При этом много крошек оставалось в раздаточной посуде, и Пауль приберегал для Вилли несколько столовых ложек добавки. Сейчас это может показаться мелочью, но тогда имело большое значение.

Его сосед по койке немец Петцольд был заядлым курильщиком, и Харрер часто наблюдал, как свои 100 граммов белого хлеба, который выдавали только в лазарете, Петцольд совал в щель между стеной п оконной рамой, а к го-то передавал ему взамен сигареты. Это были самокуртки из газетной

бумаги с горсточкой табака или махорки. Харрер внушал ему, что нельзя отдавать свой хлеб за сигареты, так как он сам нуждается в каждом грамме и сам себя губит. Петцольд ему возражал: курение для него — все, и если он не сможет курить, то не сможет и жить. Так оно и произошло. Случилось это в марте. Как обычно, утром пришли румыны из хозяйственной команды и всех разбудили. Надо было ровно заправить все постели. Стали будить Петцольда, толкали его, трясли, кричали: «Вставай, приятель!», но тот не двигался, он был мертв. В 4 часа утра он еще сходил в уборную и выкурил сигарету, это была его последняя сигарета.

Харрер уже мог вставать и ходить, в лазарете он встречался и с другими австрийцами: Зеппом Лейтенбауэром и Тони Эренхофером из восточной Штирии. Я сам в то время находился в лазарете и сказал Харреру, что хорошо знаком с доктором Кринкхаус, она еврейка, прекрасный специалист и очень человечная врачиха. Она очень хорошо относится ко мне. Ей я обязан тем, что меня оставили в этом лагере, а не переводили в другие и не направляли в колхоз, на изматывающую работу. Если в квартире требовался ремонт электроприборов или проводки, она всегда приглашала меня. Помню, когда первый раз она вызвала меня, то спросила, где мой дом. Я ответил, что в Линце, в Верхней Австрии. Она как-то сразу потеплела и сообщила, что хорошо знает, где находится Линц, так как изучала медицину в Вене. Но это было уже так давно. Она упрекала в высокомерии тех немцев, которые считали русских глупыми. Но это далеко не так, сказала она, вы это еще заметите. Я ответил, что считаю эту позицию немцев совершенно беспочвенной, что у них отсутствует чувство понимания других народов и других условий жизни, так как каждый народ имеет свои особенности и по-своему решает собственные проблемы. Мы, австрийцы, наследники старого многонационального государства, привыкли общаться с представителями народов, очень разных по языку, мировоззрению и нравам. Главврач охотно со мной согласилась.

Харреру были назначены инъекции кальция. Однажды произошла накладка. После укола в плечо, сделанного неопытной сестрой, у него начались боли и опухло все предплечье. Ему стали накладывать холодные влажные компрессы, и опухоль постепенно спала; на спину ставили банки, которые посредством их всасывающего действия обеспечивали лучшее кровообращение и смягчение болей.

Мало-помалу к Вилли возвращались силы. Пища была неплохая, и для таких истощенных, как он, ее вполне хватало, им даже пять раз в день выдавали по стограммовому кусочку белого хлеба.

восстановление^!-физических сил пробуждались
венные ^интересы. * В лагере был немец-активист по имени
Пильц, который заведывал немецкоязычной лагерной библиотек
О» часто приходил в лазарет и предлагал книги. Харрер очень
интересовался литературой. Правда, он отдавал предпочтение -
что понятно при его тогдашнем состоянии здоровья — художе
ственно-развлекательной литературе, но она, к сожалению, была
дефицитом. Он читал «Капитал»; Карла Маркса, кое-что из произ
ведений Тургенева, Пушкина, Бределя и «Тихий Дон» Шолохова.
«Капитал» давался ему трудно. Если прочитывал две страницы,
то после этого с гарантией прекрасно спал несколько часов подряд.
Но Шолохов очаровал его своей книгой «Тихий Дон», где в захватывающей
манере описывалась трагическая история русского казачества в эпоху
первой мировой войны, свержения царя, в период смуты, революции —
вплоть до горького конца. Я сказал ему, что тоже прочитал много
книг из лагерной библиотеки, в том числе, и названные им. «Капитал»
я хорошо проштудировал и согласен, что это трудная книга. Раньше
я привык читать социально-критическую литературу, например, об
идеях христианско-социальных реформ в книге барона фон Фогельзанга;
с «Капиталом» я был знаком поверхностно, по названию, но эта книга
меня интересовала, как и «Майн Кампф» Гитлера или книга партийного
догматика Розенберга. Я стал понимать, что к чему, поскольку вырос
в семье, очень интересующейся политикой. Конечно, я тогда не мог
читать «Капитал», как читают роман, но ведь как роман нельзя
читать и книги по специальности, их приходится изучать, точно так же,
как труды Энгельса или «Вопросы ленинизма». Названные книги я
прочитал, находясь в лазарете, с особым интересом, так как дома
не мог этого сделать, иначе меня заподозрили бы в симпатиях к коммунизму. *

Мне было непонятно, почему Харрер находился в нашем лагере,
ведь всех пленных офицеров русские отправили в специальные
офицерские лагеря под Москвой. Оказалось, что в тот момент он
был нетранспортабельным и не смог бы перенести поездку, длив
шуюся несколько недель. Он остался здесь и как офицер, пользо
вался некоторыми привилегиями: его не перевели в общий барак,
оставив в лазарете и помещении для выздоравливающих. Позднее он
с тремя офицерами занимал небольшую комнату. Кроме того, ра
ботать он мог лишь на добровольную началах; еду получал без
очереди, хотя ту же, что и солдаты и в том же количестве. Когда
выдавали курево, офицеры вместо махорки получали табак мел
кой резки. Мы познакомились при выдаче

курева, и когда его и меня отпустили из лазарета, мы были уже хорошо знакомы.

В лагерь опять прибыла «большая комиссия», которая как обычно, вызвала всеобщее волнение. Она состояла из простых людей с фабрики, лагерного коменданта, главврача лагеря доктора Кринкхаус, несколько других врачей, старших по бараку и т. д. Пленным было приказано построиться в длинном коридоре лазарета, раздеться догола и по одному заходить в комнату для освидетельствования. Там наши жалкие скелеты обследовали и распределяли по следующим группам:

Группа 1 — полностью работоспособные.

Группа 2 - ограниченно работоспособные.

Группа 3 - выздоравливающие, нуждающиеся в реабилитации.

Группа 4 — дистрофики, делилась на три подгруппы:

а) дистрофики 1 — физически ослабленные и истощенные,

б) дистрофики 2 — более тяжелая стадия истощения, но есть шанс выздоровления,

в) дистрофики 3 — физически очень ослабленные. Их называли кандидатами в могильную яму.

Харрера, как и меня, отнесли к дистрофикам второй степени, он жил теперь в бараке № 17. Немного позже меня перевели в группу дистрофиков первой степени, а потом в третью группу, к выздоравливающим. Мы виделись почти ежедневно, когда я возвращался с электротехнических работ. В бараке № 17, где жили только дистрофики, старшим был капитан медицинской службы Людке, он с самого начала и до конца плена показал себя хорошим и добрым врачом.

В мае Вилли ничего не делал и лишь наблюдал, как по проходящей внизу железнодорожной линии, с Кавказа по направлению на Москву, проезжало по несколько эшелонов в день, каждый примерно по 60—70 вагонов, загруженных американскими автомобилями. Харрер насчитал около 20 000 машин. Он предполагал, что с их помощью начнется новое советское наступление. Так и произошло, в июне 1944 года на центральном участке восточного фронта началось наступление русских.

В конце июня прибыл новый этап военнопленных с этого участка фронта. Приказано было освободить для них бараки № 2 и № 17, которые становились карантинными. Харрер теперь попал в барак для выздоравливающих, в котором был и я.

Однажды, дело было на Троицу, в 1944 году, Харрер рассказал мне о радостном событии. Он сидел как-то перед своим баракком, когда к нему подошел пленный лет пятидесяти,

,ррета> сседыми коротко стриженными волосами. Это был берлинец по имени Карл Нойфельд. Он спросил, почему Вилли хромает и ходит с палкой. Тот рассказал, какие подучил ранения и как его лечили. Немец попросил показать ногу, так как работал до войны массажистом и раньше занимался подобными травмами. Харрер сказал, что врачи не оставили ему никаких надежд, нога сгибаться не будет, хорошо еще, что вообще ее не потерял. Нойфельд тщательно осмотрел ногу, ощупал и сказал, что, по его мнению, есть надежда на исправление. Если Вилли согласен, то он, Нойфельд, будет массировать ему ногу. Харрер, конечно, согласился, но предупредил, что ничего не сможет ему за это дать. Массажист заявил, что ему не надо вознаграждения, он хочет лечить ногу из профессионального интереса, чтобы не терять навык и попытаться достичь результата. В триицын понедельник состоялся первый сеанс массажа. Вилли лег на нары лицом вниз. Нойфельд сел ему на бедро и затем рывком попробовал согнуть ногу в колене. Вилли так закричал от боли, что, казалось, его крик услышит весь лагерь. Нойфельд объяснил, что вынужден был так поступить, чтобы достичь эффекта и чтобы сустав постепенно становился более подвижным. С тех пор Карл Нойфельд приходил каждый день, а когда стал работать на фабрике, то приходил массировать ногу после работы. Занимался он этим почти целый год, пока его не перевели в другой лагерь, вероятно, к лесорубам. Это лечение так помогло Харреру, что он мог сгибать ногу в колене примерно на 25—30°, и ходить ему стало легче. Правда, потом ему снова не повезло. Это случилось по дороге из кухни в барак № 17, когда он спешил на поверку. Вилли споткнулся о бугорок и упал в неглубокую канаву с водой перед кухней, да так неудачно, что вывихнул правую руку в плечевом суставе и ушиб ногу. Боль была безумной, и он не мог подняться. Товарищи подняли его и отвели в лазарет, где капитан медслужбы Людке рывком вправил ему плечо. Следствием, конечно, было сильное растяжение с отеком и последующим кровоизлиянием.

Когда его затем перевели в барак для выздоравливающих, он попал в комнату с двухярусными нарами. Вилли спал внизу, а над ним — один баварец. Из-за многочисленных клопов Харрер решил ночевать на полу рядом с нарами. Однажды ночью баварец спросонок прыгнул прямо на его большую руку и снова вывихнул ему сустав. Харрер взвыл от страшной боли и разбудил весь барак. Это произошло примерно около 4-х часов утра. Ночью время определяли по звездам, а днем по солнцу, разумеется весьма приблизительно. Так как в это время врача еще не было, то ему, несмотря

на сильные сверлящие боли, пришлось ждать начала приема. Врач снова вправил ему руку, при этом ассистировал русский врач и из-за сильных болей руку вправляли под наркозом. Затем руку стянули жгутом, потому что кровоизлияние распространилось почти до локтя.

За бараком № 17 было место для курения со скамейкой, на которой он часто сидел, работать ему было нельзя, и он слушал разговоры курящих. Однажды, когда он сидел на своем обычном месте и глядел на Волгу, его укусило какое-то насекомое, причинив при этом довольно странную боль. Затем все прошло, Вилли забыл об укусе. Но через две недели случился первый приступ малярии: насекомое оказалось малярийным комаром. Приступы повторялись и сопровождались депрессией, бывало и так, что один приступ тут же переходил в следующий. Это подрывало последние силы, и процесс выздоровления затягивался.

Как уже упоминалось, в конце июня прибыли пленные с центрального участка фронта. Многие из них были еще хорошо одеты, некоторые имели рюкзаки, набитые разными вещами. Хотя вновь прибывшие были отгорожены от прочих дополнительным рядом колючей проволоки и разговаривать с ними строго запрещалось. Харреру, как инвалиду, позволяли бродить по территории, и он мог общаться с ними через проволоку. При этом он констатировал, что вновь прибывшие немецкие пленные еще неколебимо верили в конечную победу, а теперешнее поражение считали лишь временной неудачей. Они не могли правильно оценить положение и еще находились под влиянием пропаганды.

Вилли познакомился с Зеппом Штамплером из Граца, который был обручен с дочерью мясника Лампля из Эггенберга. Вилли часто разговаривал с ним и завидовал его здоровью; будь он, Харрер, так же крепок, можно было бы не сомневаться в благополучном возвращении домой. Однако все произошло иначе. Штамплера после карантина направили в лагерь лесорубов, где он заболел тропической малярией и, возвратившись в старый лагерь, вскоре умер.

Картина в точности напоминала ситуацию первых месяцев моего плена, когда из-за голода и болезней, как правило, умирали крепкие, упитанные люди. Создавалось впечатление, что они сгорали физически и психически намного быстрее тех, кто казался не таким сильным. В то время я вновь встретился с одним земляком, бургенландцем, которого знал с начала нашего пленения. Он был выходцем из хорватской деревни на австро-венгерской границе, а в лагере его поставили бригадиром на фабрике, потому что как хорват он хорошо понимал русскую речь. Выглядел он здоровым, как бык. Я тогда был

глав и уже сомневался, сумею ли пережить плен. Увидел бригадир сказал: «Слушай, как же ты выглядишь, дев. ^{мсня}» - «дуоцаться!» Это стало для меня своего рода спальной оплеухой. Я взял себя в руки и стал понемногу ^тГопавЛЯвать; хотя это был единственный случай, когда выздоравлп

до несколько недель, и я уже не встречал

6oSSf бУРГенландца и не слышал его имени при упоминании ^{fi}г™ Боигады всегда назывались по бригадиру. Мне сообщили печальную новость: этот человек внезапно умер от ин-Sm™ Подробностей узнать не удалось.

Ч^ каоантинным бараком Харрер разговаривал с вновь ппибывшими, которые, кстати, интересовались, откуда он ро-ТГ™ «ком чине. Когда он ответил, они достаточно агресс-™«но *crljw* допытываться: если он на самом деле лейтенант, сивно с™; ^{него} такой убогий и поношенный мундир и нет военной выправки, словом, нет ничего офицерского. Он ответил что после всего пережитого им это неудивительно. Они ^I™ гями увидят, что делает с людьми длительный плен. У н^п вся надежда на то, что война скоро кончится и он верн^гя помой живым. Но они верили в то, что вермахт скоро нется Д^1" Харрер посоветовал им выбросить это из голо-™ ^В™1 кчк вермахт скоро будет вне России. На их вопрос, ^f™ же произойдет дальше, он убежденно заявил, что немецки ^еомахт проиграл войну. Тогда они невероятно рассви-^Ln« и только колючая проволока спасла его от расправы. п,Г Г Г ««в он был изменником, который не верил в окончатель-С одним

« ^{поо} ^{iv} ^з ную ^з изошел к. . позабавивший Харрера. Он видел, как лейте-

из таких упрямых новичков вскоре про-

изошел к. . ^ переведенный из карантина в барак для вы-!*ло4вливающих, молодежато шагал по коридору барака и здоровали ^{На другом} конце как раз появился русский врач ПОСВИСТЫР - ^{НСЫИ} и спросил: «Кто свистел?» Лейтенант Як^офон откликнулся: «Я». Тут русский врач дал ему звон-^п^плеуху и сказал: «Свистеть никс культура!» Это было Споком усвоения новой реальности. Позже Вилли с лейтенан-™\$г™6соном, обер-лейтенантом Лефлером и лейтенантом Рихтеом были помещены в маленькую комнатку в немецком к^йюм доме. Как офицеры они могли не работать и не ^{™л}™-алМ а проводили время за чтением книг или просто раоотали, ^{Ле}™тенант Рихтед был великолепным аккордео-ниДом и часто играл на разных мероприятиях. Со старостой каменного дома гаупт-фельдфебелем Кнебелем удавалось ла-камсний ^б^л «образцовым немецким фельдфебелем», вполне гггпяплся со своими обязанностями, несмотря на некоторые пя?«пглася между русскими и пленными, а также справляться с проблемами ежедневных поверок, однообразной еды и

обеспечения водой. Он помогал находить ошибку, когда число пленных не совпадало, а мы часами стояли и ждали. Кнебель неукоснительно выполнял все распоряжения русских и стремился, чтобы их выполняли и другие пленные, и строго наказывали тех, кто-нарушал запрет и пил воду из колодца, потому что от недоброкачественной воды многие заболели дизентерией, что являлось основной причиной смерти. Умыться приходилось «по-русски», набирая в рот воды, тонкой струйкой выплескивая ее на намыленную ладонь и уж затем растирая лицо. Мы все знали как осторожно надо пользоваться водой, и врачи тоже относились к этому очень серьезно, видимо, следуя распоряжениям русских, которые очень беспокоились о нас как о рабочей силе.

Однажды летом из-за сильных гроз с ливнями случилась настоящая беда. Вода из колодца, а затем и водопроводная вода из Красноармейска стала вдруг издавать трупный запах. Сразу 200 человек из нашего лагеря были доставлены в лазарет с признаками отравления. В городе вспыхнула эпидемия. Сколько человек там заболело, мы не знали, но, должно быть, много. На фабрике во время работы русские теряли сознание, и их уносили в медпункт. Специальная комиссия расследовала причины этого бедствия и пришла к заключению, что ливни размыли холм, расположенный выше нашего лагеря, где образовались канавы, вода проникла глубоко в землю и залила братские могилы, в которых было захоронено примерно 35 000 человек. Трупный яд попал и в грунтовую воду, служившую источником питьевой воды для водопровода. Многие видели, как после одного из ливней хлынувшая вода принесла к лагерю людские черепа и кости. Это случилось потому, что зимой военнопленным, которые хоронили своих же товарищей, трудно было копать могилы в мерзлой земле, поэтому захоронения были неглубокими. Потом все черепа и кости собрали и захоронили в братскую могилу. Наш колодец заперли на замок. Питьевая вода находилась в ведрах, но ее было явно недостаточно из-за сильной летней жары. После окончания войны колодец так и оставался запертым, а воду давали с добавкой углекислоты или подслащенной.

За это время Харрер привык к «домашнему укладу» лагеря: ежедневно, как и все, в ожидании своей порции, следил, глубоко ли повар опускает черпак в котел с супом и можно ли рассчитывать на похлебку погуще, старался, как и мы, заполучить вторую порцию каши, при раздаче хлеба взять кусок потолще, а когда давали рыбу, ухватить не голову или хвост, а среднюю часть. Мне порой приходило на ум, что за время плена я съел такое количество рыбы, которого хватило бы мне на всю жизнь и решил больше ее не есть. Правда,

дома 'я изменил отношение к рыбе, но соленую больше не ел!*

Вскоре Харрер убедился, что совсем неплохо свести знакомства с кем-нибудь из кухонной обслуги, то есть из лагерной аристократии, которая не голодала даже в плену. При поддержке своего друга Швайфера он смог получить хорошие брюки и китель, а позже и пару венгерских ботинок для горных стрелков. Никто этим не возмущался, ибо обычным официальным путем ему это сделать не удалось.

Мне вспомнилось, как в лагере после первой зимы я получил вместо своих меховых сапог два разных ботинка и оба на левую ногу: один - австрийский, с коваными гвоздями, а второй — обычный русский, хотя их выдавал немецкий фельдфебель. И то я радовался тогда, что вообще получил обувь. Я наловчился ходить в этих ботинках, правда, было немного непривычно. Изредка кое-кто из товарищей меня поддразнивал, но я им отвечал, что сам виноват, потому что при получении не мог достаточно быстро сообразить, что мне больше подходит, горные ботинки — как австрийцу или русские — как военнопленному. После этого они меня оставили в покое. Каждое общество имеет свои подчас строгие правила, но всегда есть «лазейки», чтобы легче к этим правилам приспособиться. Вскоре я заменил австрийский ботинок на русский, он был более удобен при работах на электролиниях, особенно при лазании по столбам.

Затем Харрер познакомился с Эдмундом Дункелем из Граца, который работал в лагерной пошивочной мастерской, где не только чинил одежду пленным, но и шил форму для русских. После своего возвращения на родину, в Грац, Дункель создал фешенебельное пошивочное ателье. Их дружба продолжилась и после войны.

Заканчивался апрель 1944 года, и русские готовились к празднованию 1-е Мая, который у них, наряду с годовщиной Октябрьской революции, отмечается как большой праздник. На фабрике из числа добровольцев формировались специальные смены, чтобы успеть выполнить все нормы и навести порядок. Нас тоже привлекали к этому. На электростанции, где работал одноцилиндровый двигатель на сырой нефти, мы должны были вычистить подземный бак, куда поступали остатки нефти. По случаю праздника двигатель не включали. Это была грязная, хотя не очень утомительная работа.

Мы быстро поняли, что часовые и охранники в такие дни настроены по-праздничному, все повторяют политические лозунги и, кроме того, получают дополнительную порцию водки. Мы старались не раздражать их, иначе последовали бы крепкие русские ругательства, удар ногой или прикладом,

а то и предупредительный выстрел. Мы были рады вернуться в лагерь, хотя отмываться пришлось долго. В лагере тоже был наведен порядок, даже повара постарались приготовить еду получше.

Мы слышали звуки праздника, оркестр играл русские марши и песни, а затем все пели, особенно мне запомнилась песня танкистов, которая заканчивалась одним и тем же припевом: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...» При этом преобладали высокие женские голоса, потому что мужчины были на фронте, а инвалидам и старикам было, видимо, не до песен. Но к вечеру мы вдруг услышали духовую музыку, звучали знакомые мелодии: «Дунайские волны», «Марш Радецкого» и др. Они казались нам близкими, но все же немного чужими, хотя нам, австрийцам, они напоминали о родине и пробуждали в нас симпатии к русским, убеждали нас в объединяющей силе музыки. Кстати, я никогда не слышал, чтобы русские играли немецкие марши.

На следующий день, когда я пришел с работы и сидел, греясь в лучах медленно заходящего солнца, ко мне подсел незнакомый товарищ. Завязался разговор. Говорили сначала о вчерашнем дне, о лагере, о нашей жизни, а потом к обоюдному удивлению установили, что мы оба австрийцы и даже из одного города, из Линца. Выяснилось, что его зовут Алекс Грюн, он артист цирка и работал на трапеции, но на войне получил тяжелое повреждение позвоночника и теперь, если вернется домой, то уж определенно не будет выполнять прежнюю работу. Он сильно тоскует по родине. Раньше он вел кочевую жизнь, и ему невыносимо трудно находиться в заключении. Дома осталась жена, которую он очень любит, но нацисты стерилизовали ее как цыганку. Когда его призвали в немецкий вермахт, он был водителем грузовой машины. Его посадили за руль автофургона с герметичной будкой, куда при езде поступали выхлопные газы. Через заднюю дверь в фургон загружали людей. Кто они были, он не знал, вероятно, евреи. Машина ехала и через какое-то время по приказу нацистов, останавливалась в глухом месте. Когда дверцу кузова открывали, все находившиеся в нем были мертвы, оставалось их только захоронить. Ему, стало быть, пришлось водить газовую камеру на колесах. Он рассказывал, как все это было ужасно, он до сих пор страдает от этих воспоминаний, а в душе таит злость на нацистов за их преступления, в том числе и за то, что они сделали с его женой. Сам он из цирковой семьи. Его отец выступал с шестью дрессированными тиграми. Отец брал его с собой в Малайзию охотиться на тигров, они отлавливали там и тигрят. Однажды зверь напал на него, и на спине у Алекса остались большие рубцы. Потом отец был

Однажды произошел неприятный случай. Мой новый друг[^] я об этом еще не упоминал, был занят на кухне на обработке рыбы. Почти ежедневно на ужин мы получали кусок (примерно 70 г) соленой рыбы, чаще всего селедки, но иногда и соленую речную рыбу. Эта рыба была для нас единственным источником белка. Ее поступление в лагерь определялось количеством пленных из расчета 70 г на человека. Но в этот вес входила голова и хвост. Поэтому случалось, что кому-то доставалась только голова, а кому-то только хвост большой селедки. Тогда приходилось есть все целиком, с костями, ели даже глаза. Я тоже однажды их попробовал, но потом долго не мог забыть противного вкуса, и впоследствии, если мне доставалась голова, я отдавал глаза тем, кому они были по вкусу. Разделка рыбы на порции одинакового веса была непростой задачей. Мой друг Пухвальд старался делить еду как можно справедливее. Будучи математиком, он сделал простой расчет. Полученное количество рыбы было ему известно, как и количество людей. Так что необходимо было поделить одно число на другое и таким образом определить вес порции. Но для этого требовались весы и гири. Весов не было, их предстояло изготовить. Он попросил сделать это меня. Через товарища, работавшего на фабрике, я достал алюминия из отходов и из них смастерил легкие, удобные и довольно точные весы. В качестве вознаграждения я получил, как обычно, 1 кг хлеба, половину которого должен был отдать тому, кто снабдил меня алюминием.

Однажды мы так увлеклись математическими упражнениями, что Пухвальд забыл про разделку рыбы, полученной в тот вечер немного позднее. Обычно он разделявал рыбу до наших занятий математикой. Дифференциальные уравнения так захватили нас, что о рыбе мы вспомнили только по возвращении рабочих бригад. В тот вечер весь лагерь остался без рыбы: заниматься ей было слишком поздно. Все получили рыбу утром на завтрак. К счастью, опоздание не было замечено, потому что и раньше были случаи, когда какие-то продукты не доставлялись вовремя. Но мы оба очень переживали, и хорошо, что все обошлось.

Под игом вредных насекомых

Особые неприятности доставляли пленным различные паразиты и, прежде всего - вши. Я уже рассказывал, какие муки мы терпели из-за них. Многие заражались сыпным тифом, не выдерживали болезни и умирали. В начале 1943 года я тоже заболел и перенес тяжелую форму сыпного тифа.

В то время? у меня было так много вшей на голове и теле, что когда* я притрагивался к зудящей под грязным бельем коже, то она казалась покрытой песком, так густо ее облепили паразиты. У тех, кому удавалось выжить, вырабатывался иммунитет к тифу, но вши оставались. Когда стало теплее, нам начали выдавать по небольшому кубику хозяйственного мыла, вроде того самодельного, какое у нас раньше варили крестьяне из древесной золы и нутряного сала. Беда большинства из нас состояла в том, что мы не знали, как бороться с насекомыми. Многие даже не догадывались, что хозяйственное мыло изгоняет вшей, что они его не терпят.

В бекетовском лагере был колодец с журавлем, можно было принести ведро воды, чтобы помыться с мылом и постирать белье, которое на солнце быстро высыхало, ведь другого у нас не было. Благодаря этому вшей становилось все меньше. Когда мы попали в лагерь под Красноармейском, там тоже выдавали по кусочку такого же примитивного мыла, и мы часто ходили в баню, находившуюся в подвальном помещении каменного здания. Там мы раздевались и мылись примерно в течение часа. В это время наша верхняя одежда находилась в дезинфекционной камере с температурой 100—120°. Затем мы одевали чистое белье и свою одежду. Такая эффективная обработка являлась лучшим средством борьбы с вшами. Правда, полностью они не выводились, так как отдельные гниды могли выживать, да и на нарах вшей тоже хватало.

Однажды при такой дезинфекции случилось очень неприятное событие, заставившее меня изрядно поволноваться. Я снял свою одежду, повесил ее в камеру и уже собрался идти мыться, как вдруг вспомнил, что в моем кителе осталась пачка запалов, которые мы использовали для получения огня с помощью, как мы выражались, «каменной зажигалки». Если эти запалы загорятся, то сгорит вся наша одежда. Если бы я об этом сообщил, то меня сразу посадили бы в карцер, потому что нам было строго запрещено иметь эти запалы. Я лихорадочно соображал: если сообщу, меня запрут в подвал, если запалы воспламятся — сгорит вся одежда. Надо решать, что мы, голые, будем делать. Но, с другой стороны, если сгорит одежда, мы получим новую. Найти виновника будет очень трудно, практически невозможно. А вдруг ничего не случится? Хоть я и нарушил дисциплину, но сохранял спокойствие и не подал виду. К счастью, все обошлось. Получив одежду, я осторожно осмотрел ее и успокоился: макаронобразные запалы сплавились, но не загорелись. У меня отлегло от сердца, но я зарекся когда-либо носить их с собой в баню.

А вот другой случай. Однажды я по рассеянности забыл в кителе алюминиевую кружку с маленьким кусочком масла, который мне принесли за рубль с базара. На сей раз мне было просто жаль масла, а волноваться не пришлось. Я сам пошел за вещами, не дожидаясь, когда их свалят в общую кучу. Поскольку китель висел, а не лежал, масло просто растопилось и не вытекло. Потом я намазывал на хлеб кориичневое топленое масло вместо обычного. Попали в него вши или нет, меня даже не волновало, я еще не мог себе представить, что когда-нибудь наступит жизнь без вшей. Харрер сказал мне однажды, что у него никогда не было вшей, но он очень страдал от клопов, из-за которых не мог спать на нарах и спал на полу барака.

Да, паразиты часто доставляли невыносимые мучения. Сначала нас кусали вши, затем — камышовые блохи, когда наши соломенные тюфяки обновлялись и вместо соломы заполнялись камышом, который специальная команда заготавливала на заволжских пойменных лугах. С камышом в бараки попадало множество блох, они прыгали повсюду и кусали нас, правда, только некоторое время, потом мы заметили, что они стали исчезать.

Затем появились клопы, причем количество их все время увеличивалось и они не покидали нас до самого отъезда домой. Против вшей была санобработка, блохи исчезли сами собой, а вот против клопов у русских не было никаких быстроедействующих средств.

К концу войны нам дали немного американского дуста для уничтожения вшей. Русские столь же мало верили в его действие, как и мы. Мы насыпали дуст на стол так, чтобы из порошка получилось кольцо, помещали внутрь вшей в ожидании их быстрой гибели, но они продолжали жить, даже когда мы их совсем засыпали. Мы, да и русские тоже, не знали, что ДДТ - нервно-паралитическое отравляющее вещество и действует смертельно на всех насекомых, но не мгновенно. На клопах мы его не испытывали. Они были слишком проворны, почти неуловимы, а при дневном свете глубоко прятались в порах штукатурки.

Чтобы понять секрет столь быстрого размножения клопов, нам пришлось изучить строение наших бараков. Они были деревянные и стояли на каменном цоколе. Снаружи стены были обшиты досками, под ними находился толевый картон, затем - деревянная конструкция из брусьев, внутри опять рубероид и на нем - толстая пористая штукатурка из глины, песка и навоза, побеленная известью. Между деревянными конструкциями был слой шлака. Такие стены очень хорошо защищали нас от сильных холодов, даже от

сорокаградусного мороза. Если внутри и появлялась наледь, то лишь на откосах больших окон, которые были заложены кирпичами и имели небольшой застекленный просвет наверху, служивший единственным источником дневного освещения. Там зимой образовывался небольшой слой льда. Наши бараки отапливались двойным способом: теплом печи и, в основном, дыханием людей. Пористая внутренняя поверхность стен имела много трещин, а иногда и отверстий, в которых гнездились клопы всех размеров. Часто они были такие маленькие, что при плохом дневном освещении были просто незаметны. Но достаточно было поковырять в щели тонкой щепкой, как они сыпали сотнями.

Как-то наш австрийский хор собрался в бараке, в котором уже несколько месяцев никто не жил. Я сидел на нижних нарах и вдруг почувствовал, что руки покрываются какой-то липкой жидкостью. Я не мог понять, в чем дело, хотя меня это удивило. Вскоре я ощутил усиливающий зуд на тыльной стороне ладоней. Я пригляделся и увидел, что руки в крови. То же самое случилось и с другими пленными. Мы поспешно покинули пустой барак и больше никогда в нем не встречались, предпочитая заниматься на улице.

Клопы в бараках особенно донимали нас в теплое время года по ночам. Мы уничтожали их как могли, делали все возможное, чтобы избавиться от этой напасти. Пришлось изучить повадки клопов. Прежде всего, мы пытались заткнуть и замазать всякое отверстие, каждую щель в штукатурке, что, конечно, принесло определенные результаты, но лучше было бы побелить заново все помещения известью, а нары разобрать и почистить на свежем воздухе. Но это было невозможно, такое могли себе позволить только лагерные «аристократы», вроде кухонных работников, которые за все могли платить хлебом, уворованным у нас.

Они заказали себе на фабрике кровати из арматурного железа, поставили под ножки консервные банки с керосином, чтобы клопы не могли заползать снизу. На потолке ввернули тысячеваттную лампу, которая ярко освещала всю комнату, так как «клопология» показала, что клопы при ярком свете не выползают из щелей и, разумеется, не кусают. Правда, спать приходилось при сильном свете, но это не так страшно, как укусы клопов.

«Лагерную аристократию» мы понимали, хотя и не имели возможности принять подобные меры, однако мы сообразили, что клопы, в основном, попадают на нары не снизу, а сверху, с потолка. Они бегают по нему в темноте, пока не почувствуют теплый воздух от дыхания спящего, затем падают вниз и начинают кусать открытые участки кожи. Но

под одеяло и даже под простыню они, как правило, не за-ползают. Поэтому если руки держать под одеялом, а лицо закрывать платком, клопы не кусают и можно спать. Однако в жаркие летние ночи накрываться было невозможно из-за ужасной духоты в бараках, поэтому каждую ночь нас безжалостно кусали насекомые. Утром руки, ноги и лицо были усеяны пятнами от укусов, а веки порой так распухали, что с трудом открывались глаза, а губы становились толстыми, как у негров. Как часто заставлял нас просыпаться ползущий по лицу жирный клоп. Прихлопнешь его, а лицо в крови, и кажется, будто все вокруг пропитано мерзким кисловатым запахом клопов, который я не могу забыть и по сей день.

Много позднее, во время поездок в страны, в которых условия ночлега оставляли желать лучшего, моя способность чують этот запах каждый раз помогала определить, есть ли в комнате клопы или она просто выглядит запущенной. Достаточно мне было принюхаться к запаху рваных обоев или штукатурки, особенно вокруг выключателя или розетки, и я безошибочно угадывал присутствие клопов по характерному запаху.

В конце лета 1945 года из-за клопов я заболел малярией. Жил я тогда в румынском корпусе. Румыны уже уехали домой, для них война была закончена. Стояло необыкновенно жаркое лето. Комнаты так нагревались, что ночью невозможно было спать. Клопы тоже чувствовали жару и невероятно быстро размножались. Их многочисленное потомство жаждало нашей крови, и все они, молодые и старые, кусали нас всю ночь напролет. Тогда мы брали свои тюфяки, выносили их на террасу перед домом и, пользуясь ночной прохладой, которой не любили клопы, крепко спали. На работе мы порой очень уставали, после чего спали беспробудно, и однажды нас даже застала во сне гроза. Хлынувший ливень разбудил нас, и насквозь мокрые, мы побежали со своими тюфяками в барак. В одну из ночей, когда я спал на террасе, меня укусил малярийный комар, и я заболел малярией. Но об этом расскажу особо.

Покушение на Гитлера

Когда у меня наконец зажил после панариция большой палец, хотя мне уже казалось, что этого никогда не произойдет, так как с гноем выходили кусочки костной ткани, я вновь стал работать лагерным электриком. Большой палец стал чуть короче, но я все же мог успешно работать пассатижами и отверткой. Я старался быть осторожным и следил

не заметь шрам на пальце. Эта привычка в какой-то мере сохранилась и по сей день. Мой прежний напарник Бернхард был переведен в другой лагерь. Некоторое время я работал один, таскал стремянку, сумку с инструментами, арматуру и детали, среди которых не было ни целых патронов и выключателей, ни настоящего провода. Недостающие части я вынужден был искать в разрушенных зданиях.

20 июля 1944 года меня направили в офицерский клуб, чтобы отремонтировать несколько выключателей. Меня сопровождал красноармеец-охранник, выглядевший, как настоящий монгол или татарин. Он был не очень высокий, широкоскулый, с узким разрезом глаз, желтоватым цветом лица и бритой головой. Особого доверия он не вызывал. Охранник встретил меня у будки и проводил к месту работы. В длинном подвальном коридоре, когда мы были одни, он подошел поближе, бросил на меня цепкий взгляд и на ломаном русском языке спросил: «Покушение на Гитлер, ты об этом знаешь?» Я ответил: «Нет, не знаю». Он еще не знал, к чему привело покушение, но спросил, что я об этом думаю. Я сказал: «Если Гитлеру капут, то скоро конец войне и будет мир». Тут он сказал: «Нет, это не так». А потом пояснил: «Только когда Сталину будет капут, тогда будет мир. Ты понял?» Я ответил: «Да, все понял». Кто-то вошел в коридор, и мы не успели закончить разговор. Я чувствовал, что ему хотелось еще о чем-то спросить.

Комендант лагеря капитан Барбасов, назначенный к нам в начале этого года, очень деятельно занимался техническим оснащением лагеря, и работы для меня как электрика всегда находилось порядочно.

Он также распорядился, чтобы мне выделили помощника, которым стал штириец Зепп Лейтенбауэр. Хотя большой помощи он оказать не мог, но от него веяло удивительным спокойствием, да и работать вдвоем было веселее и легче. Ему хоть и удалось потом вернуться с войны домой, но прожил он недолго, так как будучи хозяином питейного заведения, не устоял перед ежедневным искушением. В электричестве он разбирался неважно и всегда ждал моих указаний. Он носил лестницу и держал ее, когда я работал, стоя на перекладине. У лестнице не хватало специальной перекладины, чтобы разложить инструменты и детали, а сумки у меня не было, зато был Зепп, который обещал мне, что будет идеальным помощником и сразу подаст все необходимое. Если, стоя на лестнице, я кричал: «Зепп, подай мне молоток!» он невозмутимо отвечал: «Сперва выкурю штучку». Он считал, что прежде всего надо покурить. Зепп спокойно насыпал махорку на клочок бумажки, делал самокрутку, подносил самодельную зажигалку

и затягивался, а я стоял на лестнице и ждал. Тут никакая ругань не помогала. Чаще всего мне приходилось спускаться и самому брать все необходимое. Если бы я пожаловался, то такого помощника моментально убрали бы, но мне не хотелось этого делать. Он был очень истощен и нуждался в моей ежедневной литровой порции каши, которую я как электрик получал дополнительно, но не мог есть, поскольку не переносил пшена. Стоило мне съесть чуть больше обычной порции, то есть четверти литра, как тут же начинался понос. Я думаю, это было следствием дизентерии. В остальном я мог есть все, что мы получали. За короткое время от моей дополнительной каши Зепп заметно поправился.

Меня часто вызывали чинить электричество в квартиры лагерной обслуги. Обычно мне, некурящему, давали за это горсть махорки. Ее я продавал курильщикам в лагере по обычной цене за рубли, которые те получали на работе, но никогда не менял на хлеб, так как придерживался мнения, что не имеющие денег курить не должны.

Иногда за ремонт электроприборов мне давали несколько черных сухарей. Мне очень нравились эти сухари своим сладковатым и как бы солодовым вкусом. Их грызут, как кекс, или размачивают в чае. Каждая русская семья держала под кроватью большую коробку или корзину таких сухарей. Когда возникали трудности в снабжении хлебом — главным продуктом питания у русских — их выручал запас сухарей. Иногда мне давали за работу сушеную рыбу. Ее обычно распластывают, погружают в рассол, а затем сушат на солнце. Она становится ломкой и покрывается кристалликами соли. Ее можно потом размачивать в воде или просто грызть сухой, что мы обычно и делали. Почти каждый русский с берегов больших рек имеет в кладовке запас такой вяленой рыбы. Эту кладовую можно легко узнать по рыбному запаху. Однажды меня послали на квартиру коменданта лагеря капитана Барбасова. Там нужно было починить «кипятильник». Однако я не знал, что это за прибор. Зепп пошел со мной, его помощь могла понадобиться. Жена капитана уже стояла у дверей и ожидала меня. У нее был маленький ребенок, она хотела его купать, но не было горячей воды, испортился «кипятильник». Она показала мне конструкцию из жести, бакелитовой прокладки и провода со штепселем. Это было русское изобретение, о котором я до сих пор только слышал — гениально простое, эффективное, но и опасное при неправильном обращении. Она все повторяла слова: «Кипятильник капут». Я внимательно осмотрел эту вещь и понял, что бакелитовая прокладка разделяла две жестяных пластины, каждая из которых присоединялась к изолированному

проводу Если это устройство поместить в сосуд с водой, ток проходит через воду и нагревает ее в силу сопротивления: В это время нельзя зажигать огонь, так как может вспыхнуть образующийся при нагревании гремучий газ. Опускать в воду руку тоже нельзя - попадешь под ток. Русские это знали и соблюдали осторожность. Я починил контакты на пластинах, и молодая мамаша (ей было примерно лет двадцать, а мужу под сорок) была счастлива. Она сразу включила прибор, и вскоре вода в ведре забурлила. Теперь мы все убедились, что он исправный, но я предупредил о мерах предосторожности. Хозяйка пригласила нас к накрытому столу с пирогом и чаем, затем отвела в угол комнаты, где лежала большая куча яблок,— зрелище, от которого мы за многие годы отвыкли. Она предложила нам взять яблок, но заметила, что они кислые. Мы не знали, что означает это слово, отмахнулись и взяли по несколько штук. Но она предложила взять еще. Мы набили полные карманы, но женщина настаивала, чтобы мы брали больше. На нас были стянутые внизу брюки горных стрелков. Она сказала, что этим можно воспользоваться. Мы наполнили штанины, так что с трудом могли передвигаться. «Вот видите,— сказала хозяйка,— а яблок на полу почти не убыло». Это была красивая и доброжелательная русская женщина. Конечно, мы горячо благодарили ее. Скоро нам стало понятно, что означает слово «кислые», но это нам не мешало. Так как съесть много, а тем более все яблоки сразу, было невозможно, часть их я продал пленным, прибывшим несколько недель назад, и получил за это мыло и кисточку для бритья, несколько пачек бритвенных лезвий и зубную пасту. Старые щетка и лезвия, которые я после каждого употребления точил о брючный ремень, уже пришли в негодность. Теперь я снова мог чистить зубы и обходиться своей бритвой. Я всегда был чисто выбрит и подтянут, чего требовал и от Зеппа, чтобы тот не опускался. Правда, часть моих лезвий у меня отобрал низкорослый охранник, которого мы прозвали «Быстро». С тех пор мы видели его чисто выбритым. Спасибо ему и на том, что он взял только половину моих лезвий.

Позже я по образцу русского «кипятильника» изготовил много таких приборов. Проблема была одна — материалы. Изолирующие прокладки я обычно доставал из патронов, которые находил в воронках на развалинах, там же находил провода и штепсели, а металлические пластины получал от одного товарища, который работал в бригаде слесарей на фабрике. Часто это были алюминиевые пластины или куски оцинкованного железа. И те, и другие быстро разлагались при прохождении переменного тока через воду. Для меня

это имело положительные последствия, так как выходявшие из строя «кипяtilьники» вновь сдавали мне в ремонт. Но имеющаяся конструкция уже не удовлетворяла меня. Мне хотелось найти такой материал, который бы не так быстро разлагался, и в крице концов я остановился на графите. Но испытать графит я не мог, и не потому, что было трудно его достать, для этого можно было использовать угольные щетки в моторах. Проблема заключалась в их изоляции, так как щетки имели форму стержня. Прикоснувшись к воде или металлическому сосуду с водой, можно было попасть под ток. Я хотел ликвидировать эту опасность с помощью металлической предохранительной сетки вокруг кипяtilьника, присоединенной к заземлению, но его в сети никто не предусмотрел, были только «фаза» и «ноль». Так что я продолжал изготавливать кипяtilьники по русской схеме. Все продолжали пользоваться этими гениально простыми, дешевыми, хотя и не очень надежными и не очень безопасными приборами.

Шло время, война продолжалась, покушение на Гитлера не увенчалось успехом, как нам сообщили русские на политической информации. Из оперативных сводок мы узнали о высадке союзников во Франции и в Италии, о постоянном отступлении немцев с их союзниками. В лагерь прибывали все новые военнопленные, среди них были и австрийцы, с которыми мы стремились познакомиться поближе.

В лагерь прибыл даже один оперный певец, который охотно радовал нас своим пением. Он был высокого роста и тощ, но имел благозвучный бас. Любимыми вещами его репертуара были: арии из опер «Почталъон из Лонжюмо», «Виндзорские проказницы», старая студенческая песня «В глубоком погребке сижу». Я еще дома увлекался пением, любил басовые регистры, и не только в вокале, но и в музыке. Поэтому моими любимыми инструментами были виолончель и контрабас. Вот почему меня радовали и побуждали к подражанию выступления певца. Когда я бывал один и пробовал петь, я обнаружил, что мне не хуже, чем нашему певцу, удаются низкие ноты. В то время как раз создавался немецкий хор и ему требовался второй бас, я охотно предложил свою кандидатуру. Позже, когда был создан австрийский хор, я в нем пел вторым басом. Этот хор исполнял почти только австрийские народные песни, а в немецком хоре, который был создан на базе «Новой Германии», пели на официальных мероприятиях новый русский гимн, патриотические песни и те, что любил Сталин (причем по-русски), «Интернационал», «Партизанскую песню» и другие. Я охотно пел новый советский гимн, так как партия второго баса звучит в нем осо-

бенно эффектно. Вообще, в лагере часто проходили культурные мероприятия. На гармонии всегда играл один немец. Его звали Макс Бем, он был активным членом «Новой Германии», организации немцев, которые отвергали нацизм, но стали истово служить коммунистам. Эту организацию очень поддерживали русские, но большинство из нас это не волновало. Многие из нас не хотели перевоспитываться политически, хотелось просто облегчить себе жизнь и отвлечься от войны. Еще в гимназии мы выучили латинское изречение: «Сначала жэть, затем философствовать!» Да, вот такие были дела! Голодная смерть *уже* не грозила, мы получали столько, сколько нужно для жизни, конечно, без всяких излишеств. Изредка за свои рубли, которые я выручал за махорку и кипятильники, я мог приобретать кое-что с базара: чеснок, лук, молодые луковички с перьями, редиску, яйцо, немного масла, черный хлеб (который стоил 30 рублей за килограмм, а по карточкам — 96 копеек). Пленные, работавшие на фабрике, получали 50 рублей в месяц, а мне за работу электриком в лагере ничего не платили.

Иногда у меня появлялось особое желание хотя бы за едой быть немного цивилизованнее. Почти каждый день мы получали на ужин кусок в 50—70 г соленой рыбы. Сак-то я решил не просто съесть хлеб и рыбу, а сделать себе бутерброды. Я попросил принести мне с базара (разумеется, за деньги) вареное яйцо и редиску, а вечером после раздачи еды отправился в укромное место за немецким каменным зданием и сел на остаток кирпичной стены в тени куста бузины. Примерно в десяти метрах от меня начиналась пятиметровая, всегда свежевскопанная полоса ограждения, позволявшая быстро обнаружить следы сбежавшего. Так что охраняли нас очень надежно. По ту сторону проволоки стоял часовой в каске и с винтовкой. Представляю, как ему было жарко! Я положил дощечку на кирпич, тонко нарезал хлеб складным ножом, который изготовил из кусочка железной пилы и медного листа, нашинковал яйцо, лук и рыбу и положил их на хлеб, получились очень аппетитные бутерброды.

Охранник все время наблюдал за мной, и когда я начал с аппетитом уплетать свои бутерброды, крикнул мне, чтобы я ушел. На мой удивленный вопрос он ответил, что я нахожусь на защитной полосе. Я сказал, что это неправда, что полоса в десяти метрах от меня. Он снова приказал уходить. На это я заметил, что его дело не заниматься заключенными, а охранять лагерь снаружи. *Сам же я не даю повода думать о побеге Тут он крикнул, что если я не уйду, он будет стрелять Я сказал- «Ничего!» Тогда он снял винтовку и зарядил ее. Но я оказало! быстрее К ца я ЛР г ч» > см действите ьно

хочег выстрелить, я мгновенно скатился в находящуюся рядом канаву. Он выстрелил, и пуля пролетела у меня над головой через весь лагерь и попала скорее всего в один из стоявших за лагерем барачков для русских офицеров. Тут рядом с нами появился старший лейтенант Клейнман из НКВД. Он меня сравнительно хорошо знал и был ко мне расположен. Он даже не стал нас ни о чем расспрашивать, а сразу цакинулся на часового: «Ты что рехнулся» свинья!», затем повернул обратно и побежал БИЙЗ^К будке, Фткудеа по телефойу распорядился, чггобы часового немедленно сменили. Позже мои товарищи упрекали меня в том, что я Отказался незамедлительно подчиниться часовому, ведь по отношению к пленным он являетда начальником. На это я ответил: «Вы завышаете, что мы уже не в немецком вермахте, где все^строилось на рабском повиновении любому начальству. Там мы были рабами, а 1еей**ас мы пленные, мы опять стали людьми и находимся под защитой Женевской конвенции. Часовой сильно превысил^свои полномочия* и я этого не потерпел». Мне тут же возразили: «Но он мог тебя убить!» -* «Да, это верйо, но я оказался проворнее Человек из НКВД был на моей стороне и велел сменить часового. Меня он ни о* чем -не спрашивал Он признай мое право свободного передвижений яо лагерю и за!ВдйГ41л^0т^щр^йзв0ла *охрїННїма»у Я^с&азал,*что**нїИаIвижу беспрешждовное райское послушание в немецком вермахте, Юн© недостойно свободного, современного человеками йвляется позорнвш пережиткош йроШлого. Идеино оно позволило высокопоставленным чинам начать йбїну по приказу сумасшедшего из Браунау, они до сих пор слепо выполняют его приказы, хотя пора бы им уже разглядеть его умственную ущербность и несостоятельность как верховїогб главнокомандующего. Недостаток гражданского мужества у этих вояк стоял жизни миллионам людей, принес непомерные страдания гражданскому населению, а это дало возможность большинству*a&стрийцев убедиться, что их заветная мечта о «Великой Германїи» является ужасным заблуждением. Но зато окрепло ^австрийское самосознание». Мы с вами — жертвы бредовой ^«великодержавной политики».

Основные электротехнические работы в лагере подходили к концу. Был установлен последний осветительный столб с 1000-ваттной лампой. Кухню оснастили машинами, которые сконструировали и изготовили пленные. Например, картофелечисткой, которая обслуживалась всего тремя человеками и за ночь чистил» до 1500 кг картофеля. Она чистила даже самые мелкие клубни, которые с трудом поддавались ручной обработке, при этом в отходы уходило только 3%, а значит боьше клртосьБеля сдавалось д^гя еды Раньпк команда

двадцать пять человек чистила эту норму целую ночь, отходов было до 25%, да еще приходилось эту ораву чистильщиков обеспечивать дополнительным пайком. В ту пору чистка картофеля была желанной работой. Многие немцы были помешаны на картошке и не хотели верить, что ее питательность э три раза ниже, чем у русского черного хлеба, а некоторые отдавали свой черный хлеб за картошку. Конечно, мы сознавали, что в картошке содержатся важные для нашего ритания соли и витамины» но в ней было мало калорий, а калории для нас были очень важны. За время плена многие из нас хорошо научились оценивать наш паек по калорийности и другим параметрам. Это помогало выживать.

Я уже упоминал, что каждая лампочка, каждый инструмент, каждый мотор были украдены пленными на фабрике, правда, с ведома, а часто и по желанию охранников. На фабрике, например, цеха были освещены гирляндами лампочек. Если в лагере требовалась лампочка, то здесь она или исчезала, или заменялась перегоревшей. Специализировавшиеся на этом пленные контрабандон выносили даже моторы мощностью от 1,5 до 16 квт> хотя в проходной всех подвергали тщательному контролю. «Контрабандисты», или «организаторы», как их называли, вознаграждались хлебом из лагеря.

Среда^ нас, был инженер^ХрДлияка, позже он, кажется, стал президентом Рабочей палаты в Вене, а до войны, говорят, работал в России. Он сконструировал наши кухонные машины. Рассказывали, что для русских он создал машину для уборки сахарной свеклы.

Так как надобность в постоянном лагерном электрике, за исключением необходимости в общем наблюдении, практически отпала, а я уже набрался сил, мой друг из Грюнбурга помог мне устроиться на фабрику. Я уже давно хотел пойти туда работать, ведь там платили деньги, но слабость организма не позволяла это сделать, к тому же в лагере хватало электротехнических дел. Теперь все изменилось, и меня направили на работу в бригаду, работавшую в слесарной мастерской. Однако первым моим заданием стало участие в доставке в соседние помещения нескольких несгораемых шкафов, высотой примерно 2 м, шириной 1 м и глубиной 60 см. Они были сделаны в нашей мастерской из семимиллиметрового стального листа. Не знаю, сколько они весили, но тяжесть была неподъемная, двенадцать человек, взявшись за штанги, просунутые под первый шкаф при помощи кругляков, смогли лишь на мгновение оторвать его от пела. Сдвинуть же с места не удавалось. Бригада состояла из немцев и венцев, командовали венцы. Все вновь и вновь раздавались команды на венском диалекте, как при перекачивании вин

ных бочек: «Хб...рук! Хо...рук! (И...раз! И...раз!), Взяли! Взяли!» Но никак не получалось, чтобы все двенадцать человек поднимали свои штанги одновременно. Это не удавалось из-за разной величины плеча, и, кроме того, все поднимали с разной силой, в любом случае невеликой. Рабочий процесс напомнил мне строительство пирамид древними египтянами. У них была та же проблема, и они, как мы предполагаем, решали ее путем перекачивания глыб по цилиндрам. Убедившись в нашей беспомощности, я сказал товарищам, что нам надо поступить, как древние египтяне: положить на пол пару деревянных рельсов, а поперек — кругляки диаметром 5—10 см и длиной примерно метр, получится деревянный настил с подвижными роликами-катками. Для транспортировки необходимо с помощью багра поднять стальной шкаф и подsunуть под него кругляки, а затем, как на колесах, передвигать вперед. Но надо следить, чтобы под шкафом всегда было достаточное количество катков. Поэтому освободившиеся позади катки и доски-«рельсы» следует тут же переносить вперед и укладывать новый отрезок пути. Мне удалось всех убедить в преимуществе этого способа. Мы быстро нашли доски с катками, и шкафы были переправлены к месту назначения сравнительно малыми усилиями. Мой совет, который существенно облегчил работу, удостоился похвальных слов: «Вы, ученые умники, слишком ленивы, чтобы работать!» В этих словах я узнал особый «шарм» венцев.

Транспортировка стальных шкафов была разовым заданием. Обычно мы выполняли всякие слесарные работы. В мастерской были разные механизмы и станки: токарные, сверлильные, шлифовальные, тиски, Приборы для электро- и автогенной сварки и много всякого инструмента. Работа меня захватила, хотя вся техника была старой и запущенной и к концу дня ты был весь в грязи. Рабочая обстановка была неплохой, работали обычно вдвоем или втроем. Большинство членов бригады знали слесарное дело. А я как подмастерье учился обращаться с пилой по металлу, работать напильником, зубилом, нарезать резьбу, высверливать и выкручивать сломанные стержни болтов, сверлить на станке отверстия диаметром до 10 мм. Я быстро овладел этой операцией: сначала в нужном месте кернилось углубление, чтобы не соскальзывало сверло, потом плавным нажимом на рычаг опускось сверло, и когда оно прошивало деталь, надо было быстро ослабить нажим. Дело немудреное, но требующее внимания. Если передержать нажим, деталь может закрутиться, а это грозит увечьями. При сверлении мы всегда менялись, сначала один из нас нажимал на рычаг, а затем держал деталь. Каждый был в и \1ател*[†]Т*Тсю че случалось

Однажды мне дали в подручные двух северных немцев. Мы сразу не понравились друг другу. Один из них, невысокий черноволосый парень лет двадцати, все время выпендривался, что привело к драке между нами. Правда, для настоящей драки у нас не хватило сил, к тому же нас быстро разняли товарищи. Другой немец был старше нас, но очень тупой и упрямый. Некоторое время мы сверлили поочередно в привычной манере. Нажимая на рычаг[^] я, как всегда, подавал сигнал: «Осторожно! Проходит!» и сразу ослаблял усилие, так что отверстие безупречно просверливалось до конца. Затем за рычаг взялся блондин, а я держал металлическую деталь. Я видел, как сверло проникало все глубже и скоро должно было пройти насквозь, поэтому сказал ему: «Не налегай»[>] проходим». Но он нарочно нажимал сильнее., Сверло прошло, захватило и закрутило деталь, я не смог ее удержать, и она своими острыми краями сорвала мне кожу с кончиков пальцев правой руки. «Ты мог бы быть внимательнее» — это все, что я ему сказал. Но вместо извинения услышал ругань: «Вы, австрийцы — глупый народ, плевать на вас охота». Пальцы сильно кровоточили, их перевязали бинтом из аптечки мастерской, и[^] некоторое время я не работал.

После этого я снова пришел в слесарную мастерскую и гад.. *рнботать вместе с ^ядотероя* •» художественной* шовки Крафтом из Саксонии, Из алюминиевых пластин, медных отходов и использованных снарядных гильз он изготавливал красивые люстры для русских. Было ли это его официальной работой или только заданиями для «мастера» (русские тоже употребляли слово «мастер» для заводского умельца), сказать не могу. У него я научился штамповать алюминиевые ложки, которые хорошо шли «а рынке. Из тонких кусков алюминия я наловчился с помощью Крафта делать портсигары и украшать их красивым цветочным орнаментом. Для этого он изготовил из стали простые пуансоны, * на которых были прямая линия, точка, дуга, другие знаки, посредством которых он ударом молотка мог делать все орнаменты. Например, пользуясь слегка полусферическим пуансоном, он получал красивую рельефную поверхность. Я видел, как, стоя у наковальни, он изготавливал великолепные решетки из раскаленной стальной полосы. Было интересно наблюдать за его ювелирной работой с необработанным материалом: железом, кусками и обрезками меди и алюминия.

В этой мастерской я овладел также электросваркой. Для защиты глаз использовался щиток с темным стеклом. Однажды меня так увлекло наблюдение за процессом сварки, что я обжег глаза и на следующий день не мог их открыть. Тогда мне дали мазь, и черс? день я уже годился для работы

Особенно опасной была работа с большими наждачными кругами. Они были настолько изношены, что в любой момент могли разлететься на куски. Я видел, как курильщики, в том числе и русские, прижимали к большому кругу стальной прут, раскаляли его и прикуривали. На круге уже образовалось несколько глубоких канавок. Однажды один немецкий пленный пренебрег техникой безопасности и стал работать без защитного очков*. Круг неожиданно раскололся и распорол ему живот. Человек умер на месте.

* Уже глубокой осенью шам приказали помочь в монтаже отопительного котла в новой котельной. Мне это было очень интересно, так как я учился гнуть трубы, придавая им самые различные очертания. Для этого всегда имелся шаблон. Мы гнули трубы диаметром от полдюйма до двадцати дюймов одним и тем же методом. Делалось это так. Отрезали трубу нужной длины. Разводили огонь под железным листом, на него насыпали мелкий песок и раскаляли до тех пор, пока песок не станет совсем сухим. Один конец трубы закрывали деревянной пробкой, а через другой в трубу засыпали песок и тоже затыкали пробкой. После этого трубу в месте сгиба нагревали до тех пор, пока она не раскалится, а затем медленно и осторожно выгибали, прижав указанный предмет и таким образом добивались «ужной» конфигурации. При этом те части трубы, которые надо было оставить прямыми, постоянно охлаждались холодной водой. Под руководством русского мастера это делалось так искусно, что я не помню ни одного неудачного случая. Толстые трубы приходилось нагревать и гнуть несколько дней, при этом огонь поддерживался даже ночью. Сгибали трубы обычно вокруг забитого столба из твердой древесины, который тоже постоянно поливали водой. К моему удивлению, нам поддавались даже большие трубы.

У меня вновь начался тяжелый дизентерийный понос, и меня отправили в лазарет. Повое держался более 2-х недель и так меня измотал, что я с трудом вставал. Чтобы подняться с нар, мне приходилось призывать на помощь всю силу рук. Об отжиманиях и приседаниях, которые раньше были ежедневной гимнастикой, не могло быть и речи. Слабость не позволяла мне вставать до самого выздоровления. Почувствовав себя лучше, я опять попробовал сделать упор лежа, но вначале мне это не удавалось, я падал, приседания получались немного лучше. Правда, руками приходилось держаться за боры нар. Понемногу я все же набирался сил и окреп, потому что не прекращал гимнастических упражнений.

Вскоре я начал работать, иногда приходилось работать даже тогда, когда мне приносили и привозили лекарства, шприцы,

кипяильники, выключатели, штепсельные розетки, и я чинил их прямо на одеяле, а когда поправился, то смог и устанавливать их. Из лазарета меня выписали неработоспособным, нуждающимся в отдыхе и сразу назначили лагерным электриком.

Осень была на исходе, стало очень холодно, темнело рано, поэтому сильно увеличилось потребление электроэнергии и начались повреждения в осветительной сети. Надо учесть, что ток вырабатывался на местной электростанции, которая приводилась в движение одноцилиндровым дизельным двигателем на сырой нефти. Электроэнергия тратилась неэкономно. Из-за дефицита бытовых лампочек снова появились гирлянды ламп от грузовых автомобилей, лампы соединялись в основном последовательно и выдерживали напряжение в 220 вольт. Особую проблему создавали в лагере кипяильники, которые потребляли много энергии, но вести с ними борьбу было бесполезно, собственно говоря, ее никто и не вел в тех условиях.

Пришла зима. С каждой ночью становилось все холоднее. Русские выдали нам зимнюю одежду: настоящие русские валенки без единого кусочка кожи, стеганки, ватные штаны и меховые шапки. Я получил белую сибирскую шапку из овчины и немецкую шётную куртку с капюшоном, которую; при суровом морёзе и вьюге натягивал на ватник и на меховую шапку, открытыми оставались только глаза, кончик носа* и часть Щек. За махорку я приобрел варежки из заячьего меха. Все пленные были одеты очень тепло. Несмотря на хорошую экипировку, зима доставила мне много хлопот и тревоги. Снова у меня начался понос, я попал в лазарет и потерял место лагерного электрика. Правда, на этот раз я болел не так долго, но выписали меня как непригодного для работы.

На пороге было Рождество, хотелось хотя бы очень скромно его отпраздновать. Мне удалось за 30 рублей, заработанных на заводе, купить небольшой кусок копченого сала. Эта скромная снедь напомнила мне о родных краях, о той поре, когда я ездил на каникулы в деревню к родственникам. Неужели там все по-прежнему? Вернемся ли мы домой хотя бы относительно здоровыми? Несмотря на все перипетии, меня никогда не покидала надежда, я твердо верил, что вернусь домой, но только в 1946 году, как предвещал мне сон в ночь на 2 мая 1941 года. Русские отмечают Рождество еще по старому, юлианскому календарю, когда мы празднуем Крещение. Поэтому во время нашего Рождества у них были обычные рабочие дни. Но в лагере среди пленных царило праздничное настроение, к которому мы привыкли с детства.

Зима оказалась очень холодной, к тому же температура резко менял<'<~т (; пчя [температуре мибус 10 15° было

пасмурно и шел снег. Затем усилился северо-западный ветер, прояснилось, температура стала постепенно понижаться, а при минус 30° ветер совсем прекратился. Большие морозы стояли около недели. Затем начал дуть юго-восточный ветер и постепенно теплело, температура даже поднялась выше нуля и достигала в солнечные дни плюс 10°. Снег начал таять и везде образовались лужи. Потом в течение недели установились морозы до минус 20°. Такой цикл составлял четыре недели и длился вплоть до конца марта. А потом быстро наступила весна. Снег таял быстро, везде появились лужи и маленькие озера, земля не успевала впитывать воду, и все утопало в грязи.

Наше лагерное руководство учло особенности этой зимы, особенно температурные колебания, и позаботилось о том, чтобы пленные не болели из-за мокрых: валенок. Как только наступала оттепель, нам меняли валенки на ботинки. Валенки просушивались в дезинсекционной печи, и когда опять начинались морозы, выдавались снова, а ботинки сушились. Смена обуви происходила обычно вечером, после раздачи еды. Мы думали, что всем этим обязаны* новому лагерному руководству, но много позднее узнали, что тут проявил инициативу доеркго из, тодковых пленных, работавших в лагерном управлении, а русские оказали им содействие.

Однажды вечером — 8 ноября 1944 года — меня вызвали в русский офицерский клуб. Мне сообщили, что офицеры собрались, чтобы отметить праздник, а освещение было слишком плохое. Я зашел в праздничный зал и едва разглядел офицеров, уныло сидевших за праздничным столом: люстра в середине зала почти не давала света. Они попросили наладить освещение, чтобы нормально провести свой праздник. Я сразу обнаружил, что напряжение тока упало наполовину, как и в прошлом году, и сказал, что необходимо заменить лампочки, рассчитанные на 220 вольт, 110-вольтовыми. Лампочки сразу появились, я произвел замену, офицеры обрадовались хорошему освещению, пожалуй, самому яркому в радиусе действия нашего трансформатора. Я предупредил, чтобы сразу после празднования лампочки заменили старыми. Офицеры были очень благодарны, говорили, что я не дал угаснуть праздничному настроению.

1945 год

Конец войны близок ¹

Новый год начался с сильных морозов. Для лагерного электрика работы было * мало, меня признали трудоспособным и послали на фабрику подсобным рабочим. Там нашей задачей была переноска пустых ящиков из-под боеприпасов. На одно плечо клали два ящика общим весом Примерно 25 кг, а на другое — палку для поддержки ящиков снизу. Их йеобходимо 'было перейосить из Одного 'цеха в Другой, то есть проделывать немалый путь, и притом быстрб. Мы подсчитали, что нам нужно будет *пройти* примерно 25 км. В 17 часов, йосле конца работы, когда мы уже совсем устали, нашей бригайе было дано особое задасние. Мы 'должна бь*ли отправйтсь на железнодоробръжну1# платформу фабрики' и загрузить вагон бомбами. Это были такие же бомбы, как русские с&моЛеты йа фронте сбрасывали на нас по йочам. У меня с этим связаны сйМые 'плохие воспоминания, так как работа довела нас до смертельной усталости. Отработав *Свои* восемь часов, все другие бригады отправились домой, а нашей работе, казалось, не будет койца. Еще то*шо помню, как кроваво-красное солнце, заходящее за горизонт, опускалось очень медленно, но я знал, что оно обязательно 'сядет, утешая себя мыслью, что и работа когда-нибудь кончится. Я занимался непривычной для меня примитивной работой. Наш бригадир, немец, как и русский мастер, бели себя по-хамски. Они обходились с нами невежливо и грубо, особенно это было Заметно, кдгда мы просили их о каком-либо одолжейии. Нам, пленным, не разрешалось ходить за покупками на «черный рынок». Обычно это делали для нас русские мастера, для чего брали с собой наших бригадиров. До сих пор все делалось честно, никто нас не обманывал Но наш тогдашний мастер не брал с собой бригадира, а деньги за покупки принимал, однако либо ничего не приносил, либо требрвал двойную цену Полученные деньги он, видимо, оставлял себе и грубо отмахивался, если ему напоминали о них, или вообще отпицал получение денег

На свое счастье, в этой бригаде я пробыл только две недели. Искали электрика в мастерскую, которая занималась капитальным ремонтом слаботочных генераторов- стартеров, осветительных генераторов для автомобилей и тракторов, а также электромоторов и генераторов сильного тока. Сначала туда назначили только профессионалов. Из-за примитивного оснащения мастерской многие работы приходилось делать вручную, а многие электрцки этого не умели, так как привыкли* работать только с помощью специальных механизмов. Рабочих рук не хватало. Так я и мой помощник Зепп Лейтенбауэр попали на предприятие под названием «Сельэлектро». Оно находилось не на заводе, а в одном из ближних сел. Правда,-несколько километров приходилось идти пешком и выходить еще затемно, часто при трескучем морозе, но мы были не единственными на улице. Мы проходили через учебный армейский плац, видели новобранцев, ползущих по-пластунски по снегу при ледяной снежной буре. Мы думали при этом, что находимся в лучшем положении, так как работаем в теплой мастерской и выполняем достаточно интересную работу. Вначале? мы демонтировали отработанные стартеры неисправных машин, осветительные генераторы автомобилей и тракторов, разбирали, чистили и после ремойга^дет&лей опять собирали. Мы учились не только бережно разбирать такие агрегаты, обновлять подшипники, устанавливать новые обмотки в коллекторах, которые были обработаны на токарном станке, но и вычищать промежутки, чтобы имеющаяся там слюда опять становилась изолятором. Я научился также бескислотно припаивать присоединительные клеммы перемотанных сердечников к пластинкам, для этого мы клали сердечник для разогрева на теплую печь. С нами работали двое пленных, которые занимались обмоткой магнитов осветительных генераторов и их сердечников, а необходимые для этого провода предварительно изолировали в мастерской лаковым покрытием. Один наматывал провод на сердечники и магниты для электродвигателей мощностью до нескольких киловатт. Другой все обмотки проверял самодельным простым прибором, выясняя, нет ли в них короткого замыкания, хотя каждый слой был проложен гуттаперчевой изолирующей пленкой. Приходилось также перематывать трансформаторы. Лучше всего справлялись с работой те мастера-любители, которые и дома работали не в лучших технических условиях. Обстановка в мастерской поначалу была хорошая, даже наш бригадир из Слшезии, который до сих пор не уяснил, кем себя считать — немцем или поляком, не внушал неприязни. Только уж очень он старался угодить русским

Когда производство было налажено, русские решили повысить норму. При такой работе это было очень затруднительно, так как мы имели дело только со старым изношенным материалом, работа с которым в различных случаях требовала разных усилий и затрат времени. Любителя мастерить трудности не пугают, главное для него - достичь результата, не считаясь со временем. А русские не хотели признавать различную затрату времени и повысили норму, что привело к увеличению брака. Я не был свидетелем дальнейшего развития событий в «Сельэлектро», так как с наступлением весны опять стал лагерным электриком.

Хотелось бы еще описать нашу встречу с верблюдом. Большой верблюд с длинной, косматой шерстью в сосульках привозил нам ежедневно обед на санях, похожих на те, которые у нас дома использовали женщины для доставки продуктов на базар. Такие сани обычно тянула женщина вместе с весело лающей собакой, что не доставляло им особого труда. Вес нашей еды вместе с посудой на верблюжьих санях составлял максимум 30-40 кг. Верблюд обычно устраивал настоящий спектакль: кричал, брыкался, скалил зубы, разъяренно глядел на нас своими налитыми кровью глазами и ни в какую не желал тащить сани. Может быть, он считал это недостойным для себя занятием и терпеть готов был только седок. Встречая порой людей с явно завышенной самооценкой, я вспоминаю этого верблюда.

Как уже говорилось, зима выдалась очень 'Холодной, *ночи* были для нас непривычно звездными, так как воздух имел минимальную влажность. Луна тоже сияла зачастую так ярко, что, казалось, можно было различить каждый бугорок на ее поверхности. Ежедневно мы возвращались в наш барак очень уставшие, ели свою вечернюю кашу, суп, рыбу я*пили чай, если он был, в противном случае довольствовались кипятком без заварки. Весь день у нас не было потребности выйти по нужде, так как наши сердца были ослаблены, чтобы поддерживать нормальную деятельность почек. Бараки, несмотря на холод, не отапливались, а только слабо освещались. Поэтому мы рано ложились на свои двухъярусные нары, под одно-единственное одеяло. Мы вынуждены были спать в одежде или накрываться ею, а поверх клали одеяло. Я предложил Зеппу Лейтенбауэру спать рядом, чтобы можно было укрываться двумя одеялами. Таким образом в эту зиму мы мерзли меньше других. Мы спали в тепле, но не в «пылу», так как сексуальных желаний друг к другу никто из нас не испытывал, да и были мы слишком ослаблены, чтобы что-то такое ощущать.

В эту вторую зиму нашего плена, когда почти каждый уже отек от голода, нам приходилось, как и в проиг юм году,

бегать морозными ночами к новой, сооруженной из жести уборной за пределы барака, а утром совсем обессиленными идти на работу. Но лагерное руководство на этот раз быстро среагировало на наше предложение установить у входа в каждый барак деревянный чан, который по мере наполнения дежурные относили бы к отхожему месту. С некоторого времени начальство стало заботиться о том, чтобы пленные за СВОЮ работу на производстве получали бы как можно больше процентов (стахановская система), а для этого они должны быть работоспособными. Теперь следили за сменой обуви в зависимости от перемены погоды. Мы получали каждый раз сухие валенки или сухие ботинки. ^Чувствовалось влияние наших представителей, работавших в управлении.

В феврале, в очень холодный день, русские созвали нас по особо важному для них поводу. Нас информировали о создании «Организации Объединенных наций». Нам прочитали все параграфы устава ООН. Выслушивать их пришлось, стоя на сильном морозе, мы даже боялись обморозиться и приняли информацию без особого энтузиазма. *

Когда наступила весна, русские часто приносили нам оперативные сводки и постоянно информировали о военном положении. Мы узнавали о немецких потерях, о постоянном отступлении вермахта, причем нам сообщали о каждом городе, которым овладели русские или их * союзники. Эти сообщения вначале принимались скептически, но затем им стали верить и шее <болыпе*Фбсу,&дали их. Это повлекло за собой пробуждение австрийцев от той летаргии, в которую вверг их Гитлер насильственным присоединением и последующей войной. Появилась новая надежда на воссоздание независимой, свободной Австрии. Немцы нас часто втягивали в жаркие дебаты, осыпали упреками, что сейчас, когда война явно проиграна, мы не хотим встать на их сторону. Но ведь это естественно, возражал я, так как у нас силой отобрали свободу и ввергли в войну, которая была нам не нужна и которую мы всегда, как и многие немцы, осуждали. Кроме того, мы не бодшаны» которых можно заставить принять сторону тех, кто всегда помыкал нами. В ответ я услышал, что это не так: скорее уж немцев угнетал один неистовый австриец. Я продолжал спорить: хотя Гитлер родился в Австрии и провел там детство и свои школьные годы, а затем в Вене безуспешно пытался чего-то добиться в жизни, он всегда отвергал Австрию и даже уклонился от службы в австрийской армии. Во*время Первой мировой войны он служил в немецкой армии, стал ефрейтором и был награжден Железным крестом. Командир, вручивший ему Железный крест, в эту войну комапдова т 44-й п/ \с 'ой ши ^ в Ж'}/отт с і ч нл

и я. После Первой мировой войны Гитлер занимался политической деятельностью в Германии, а не в Австрии. В крепости Ландсберг, будучи заключенным, он написал свою книгу «Майн Кампф», основал нацистскую партию вместе с штурмовыми отрядами и карательными службами, а затем создал немецкий вермахт и напал на Австрию, которая стала первой его жертвой. Хотя многие австрийцы вначале и приветствовали его, как создателя Великой германской империи, однако на деле она выглядела совсем не так, как они себе представляли. Вместо свободы и лучшей жизни нас ожидали насилие и подавление всякого инакомыслия, полицейский сыск, тюрьмы, смерть и концентрационные лагеря, а относились к нам как к колониальному народу. Из нашей страны тоже сделали милитаристское государство. Но вот наступило отрезвление.

Все время спорили о том, что нам, австрийцам, следовало делать, когда Гитлер 13 марта 1938 года вступил в Австрию. Мы, австрийцы, восхищались всем, что совершали немцы. Только возрожденный Гитлером милитаризм с СА и СС нам не нравился, хотя и у нас имелись радикальные военные формирования — хаймвер и республиканский шуцбунд. Лишь очень немногие, даже из правоверных нацистов, читали «Майн Кампф» и сочинения Розенберга. Во время учебы в Вене я вел многочисленные споры со своими противниками, чаще всего с преподавателями. Я им зачитывал соответствующие пассажи из «Майн Кампф», но они не хотели слушать, их единственный аргумент состоял в том, что я слишком молод. Я видел, конечно, бедственное положение громадной армии безработных. В то же время тот, кто имел работу, хорошо получал за нее. Правительство Дольфуса и его преемника Шушнигга начало создавать рабочие места, привлекая государственные средства, и при этом снизило австрийский золотой стандарт на 25%. В Австрии по желанию можно было тогда получить в кассе банка 100 шиллингов банкнотой или золотой монетой. Существовали валютные залоговые с начислением 8%. Строилась дорога через Гросглокнерский перевал, которая была открыта в 1935 году. В Линце и Вене построили высокоскоростные дороги, а также — многие отрезки федеральных дорог. При этом частично использовался и труд помещенных в лагерь нищих и бездомных. Но Гитлер установил въездную пошлину в 1000 марок, которую должен был платить каждый немец, желающий провести отпуск в Австрии. Одна имперская марка равнялась тогда 1.32 шиллинга, что соответствовало стоимости 1,5 л пива в Клостергофе и 1,3 часа работы каменщика. 1000 тогдашних имперских марок — это примерно 40 000 шиллингов сегодня.

Иностранный туризм в то время имел большое значение для бюджета. Наша стальная индустрия, «Альпине Монтан», была в немецких руках и не получала из Германии заказов, поэтому вынуждена была увольнять рабочих. Ежедневно в телефонных будках и перед витринами еврейских магазинов взрывались бомбы, подложенные нацистами. 25 июля эсэсовцы пытались устроить путч в государственной канцелярии и застрелили австрийского федерального канцлера Дольфуса, но не были поддержаны СА.

Это было первое поражение Гитлера. Он был разгневан и отрицал свою причастность к этой акции. Он не хотел второго поражения, когда Шушнигг, после своего воззвания в Оберзальцберге, срочно назначил референдум по вопросу присоединения Австрии к Германии.

Поэтому Гитлер и воспрепятствовал его проведению внезапным вторжением в Австрию 13 марта 1938 года.

Я не устал утверждать, что если бы Гитлер проиграл референдум, он все равно направил бы войска в Австрию. Если бы мы оказали сопротивление, это повлекло бы за собой международно-правовые последствия. Разумеется, не обошлось бы без жертв, но не таких громадных и бессмысленных, как во Второй мировой войне. Гитлеру не удалось бы как просто включить австрийцев в свой вермахт, а каждый, кто вступил бы в него, считался бы коллаборационистом. Именно так обстояло дело во Франции, Голландии и Бельгии после их оккупации. Война могла бы закончиться заслуженным освобождением без оккупации державами-победительницами.

Политическое положение Австрии в то время было очень сложным. У нас была великогермански ориентированная социал-демократическая партия, кстати, с самой радикальной программой из всех социалистических партий Европы. Но ее вожди, несмотря на пламенные воскресные речи, которыми они провоцировали и пытались запугать своих противников, совершенно обуржуазились. После событий 12 февраля 1934 года эта партия, вместе со своей собственной армией — республиканским шуибундом — была распущена и запрещена и питала злобу к правительству Шушнигга, опиравшемуся на Муссолини и фашиствующий чаймвср, собственные военные формирования Штархемберга, Пфримера, Штайлле, а христианско-социалистическая часть партии стремилась к созданию в Австрии сословного государства. При этом постоянно предпринимались попытки восстановления монархии, как в Венгрии. Тут впервые была пущена в ход концепция исконности австрийской нации, утверждалось, что в силу более ранней принадлежности к «Священной римской империи

германской нации» австрийцы являются и самыми истинными из немцев.

Но в правительстве Шушнигга министерское кресло занимал навязанный Гитлером в Оберзальцберге предатель австрийских интересов Зейс-Инкварт. Усилия Шушнигга прийти к соглашению с социал-демократами не дали положительного результата. Но тут вмешался Гитлер, который после договоренности с Муссолини об уступке Южного Тироля сорвал референдум, введя свои войска в Австрию 13 марта 1938 года, так как после событий 25 июля 1934 года он мог ожидать от австрийцев чего угодно. Федеральный канцлер и Верховный главнокомандующий Австрии не отдал приказа о сопротивлении вторжению, ссылаясь на то, что стремился избежать кровопролития. Это казалось мне нелогичным, потому что в 1934 году федеральная армия получила приказ об открытии огня, хотя имела дело с внутренним врагом. Почему же не последовало такого приказа в 1938 году, когда речь шла о внешнем враге, угрожающем независимости страны? Однако, как видим, не было референдума и не было приказа о сопротивлении. Общественное настроение австрийцев страдало двойственностью, и поначалу они примирились с оккупацией. Потом расправы эсэсовцев над евреями в «хрустальную ночь» с 9 на 10 ноября показали сущность гитлеровского режима во всей его жестокости и разбудили от летаргии многих людей у нас и в Германии, но не во влиятельных кругах других стран, продолжавших идти на уступки Гитлеру. Неужели политики других держав не видели агрессивной политики Гитлера, а евреи были так слепы? Неужели никто из них не читал «Майн Кампф» с рассуждениями об «окончательном решении»? Или книг Пауля Хайдена «Путь Гитлера к власти» и «Один против Европы», в которых описаны бесчеловечные методы Гитлера и поддержка его крупным капиталом?

Прочитав эти книги, я пришел в ужас. В «Майн Кампф» указывалось, что задачей прессы является распространение нужной для партии информации. Как бы далека ни была она от истины, в нее поверят, если ее часто повторять.

Многие вынуждены были задуматься о том, как можно противостоять жестокой силе. Я пошел по пути пассивного сопротивления, насколько это было возможно. В самом начале я хотел эмигрировать, но не получил паспорта, потому что был военнообязанным. Несмотря на новый режим, я пытался выхлопотать у земельного правительства обещанное мне ранее, еще до вступления немецких войск, место работы; в администрации у меня были друзья. Но я не вступал ни в партию, ни в СА, НСП и СС и даже отказался от чиновни-

чьей службы, когда мне ее предложили, иначе я должен был бы присоединиться к ним или вступить в партию. Как дипломированный инженер я располагал большей свободой в этом смысле, нежели как юрист. Я часто бывал на выездных работах, а так как нигде не состоял, то мне вменялось в обязанность проходить доармейскую подготовку в СА по воскресеньям, куда меня обычно вызывали повестке*!. Когда приходила такая повестка, жена сразу давала мне знать, и я просил директора строительства письменным распоряжением направить меня на неотложную выездную работу. Так как по вызову я не являлся, за мной приходили из СА, но не заставляли дома. Жена говорила, что она сама меня почти не видит, так как я постоянно нахожусь в командировках на срочных работах. Постепенно они отстали. Однажды начальство решило послать меня на курсы шоферов, но когда я узнал, что в армии требуются водители грузовиков, то сразу прекратил учебу. Точно так же я повел себя, когда искали лыжников, хотя достаточно хорошо ходил на лыжах. Наконец, меня призвали в армию, и один человек из СС принял мои строительные объекты.

Я попал в подразделение связи, восемнадцать месяцев служил радистом и стал ефрейтором, каковым и оставался до конца, так как не стремился в унтер-офицеры. Я всегда следил за тем, чтобы своим поведением не вредить товарищам. Я не чувствовал себя связанным военной присягой, потому что служить в немецком вермахте меня принудили, а отказ означал бы верную смерть. Никто не заметил, что, стоя в торжественном строю, я не произносил текста присяги. Пленение русскими в Сталинграде было для меня желанным концом принудительного участия в военных действиях немецкого вермахта. Окончание войны принесло освобождение и оккупацию страны четырьмя державами, что явилось, к сожалению, неизбежным следствием войны, в которой многие австрийцы повели себя не лучше, чем немцы и эсэсовцы. Я слышал от товарищей из Австрии, особенно из Вены, что во Франции, немецкое командование позволяло им «делать все, только не попадаться!»

Гитлер и его режим безусловно не имели бы успеха, если бы каждый, кто не принимал его, вместо «исполнения долга» поступал бы так, чтобы не делать ничего сверх необходимого, поскольку собственная совесть важнее исполнения долга.

Я все время подчеркивал, что в австрийском вермахте я приложил бы все силы, чтобы стать офицером, хотя ненавижу жизнь по команде. Не отвергаю я и присягу, но она должна приниматься добровольно. Каждый человек должен ясно понимать, что будучи гражданином любого государства он обя-

зывается служить ему в случае внешней угрозы. А если не хочет, пусть выбирает другую страну, где этого не требуется.

Не все соглашались со мной, но многие задумались о том, всегда ли правильно поступали.

Эти дискуссии, как правило, собирали много людей, среди них я часто видел немецкого обер-лейтенанта из Рейнской области. Когда мне пришлось отбиваться от многих оппонентов, он вступил в спор и признал мою правоту в отношении немецкого гнета. Он сказал, что был в оккупированной Хорватии, которая когда-то относилась к Австро-Венгрии. Он нашел общий язык с хорватами, и они часто дискутировали. Они говорили, что их предки когда-то жили под властью Австро-Венгерской монархии, к которой добровольно присоединились для защиты от турок, но затем были разочарованы. При разделе монархии в 1864 году они оказались в венгерской части империи и почувствовали себя угнетенными. В 1918 году, когда монархия развалилась, они вместе с сербами и словенами основали свое государство. И тут австро-венгерский гнет сменился сербским, и снова хорваты почувствовали крушение надежд. И вот немецкие «освободители» пообещали им собственное государство, что на деле обернулось немецкой оккупацией. Так что теперь они на собственном опыте знают, что такое угнетение.

Некоторые с удивлением спрашивали меня, что я, собственно, имею против Гитлера. Он же навел порядок и заботился о лучшей жизни. «Вот именно,— говорил я,— каждый свиновод беспокоится о хорошем хлебе и сытном корме для своей скотины, прежде чем пустить ее на колбасу. Вы же сейчас именно в этом положении, вас обрекли на плен, и вы не знаете, попадете ли когда-нибудь домой целыми и невредимыми. Пора бы об этом задуматься. Сколько миллионов легковых уже лежат в земле! Война рано или поздно закончится, жизнь будет продолжаться без Гитлера и нацистов, мы тоже, может быть, будем опять дома, а австрийцы опять станут свободными». — «Если мы вернемся домой, тебя вздернут как изменника!» — кричали мне. — «Этого уж точно не случится, мы никогда больше не позволим вам напасть на нас, а в страну пустим только тех, кто будет вести себя как подобает гостю, а не как колонизатору!» — отвечал я.

Приближающийся конец войны усилил размежевание пленных. Немцы пытались сплотить соотечественников вокруг «Новой Германии», что очень поощрялось русскими. Румыны, которые еще раньше тяготели к обособлению на языковой почве, еще более усиливали свою национальную группу, а хорваты уже исчезли из лагеря. Теперь и австрийцы, которых в лагере было примерно сто двадцать человек, спло-

тились более тесно, не давая себя втянуть в споры и трения с имперскими немцами. Вначале мы основали общий немецкий хор (без инструментального сопровождения) и пели многоголосные народные песни. Руководителем хора был мюнхенский профессор музыки Керних, а когда он уехал домой, его место занял тирольский преподаватель математики Пухвальд. Потом был создан австрийский хор. Я пел вторым басом в австрийском хоре и одновременно — в немецком, против чего никто не возражал. Мы с немцами не были врагами, хотя отдельные немцы враждовали с нами. Постепенно у нас образовался маленький круг земляков, которые почти ежедневно собирались после ужина: Харрер, Карл из Грюнвальда, доктор Вагнер из больницы Франца-Иосифа в Вене, Лео Пухвальд из Тироля и я. Это был круг, в котором можно было говорить обо всем — содружество совершенно открытых собеседников, какое едва ли возможно дома. Все мы ничего не имели, кроме жизни, сохранить которую нам пока удавалось. Мы уже так много испытали на себе и осознали, как мало нужно человеку, когда он умеет ценить саму жизнь. Ибо сам факт существования жизни является чудом природы, тем более, что оно совершается в узких температурных границах от 4-50 оС до -50 оС. Ниже температуры 273°, то есть ниже абсолютной нулевой точки, заканчивается любое молекулярное движение, а внутри небесных светил температура достигает миллионов градусов. Поэтому жизнь нужно беречь, как чудом зажженный огонь, даже если она только теплится. Жить — значит преодолеть все проблемы, которые ставит сама жизнь. Смысл нашей жизни не только в материальном удовлетворении, а в постоянном преодолении возникающих трудностей, в крепнущем чувстве уверенности, что разрешимы все проблемы: как сегодняшние, так и грядущие.

Однажды вечером, собравшись у Вилли Харрера, мы заметили, что суп и кашу он ест не своей обычной деревянной ложкой, как было до сих пор, а какой-то благородной, даже изысканной, похожей на серебряную. Мы спросили его, кто ему дал такую красивую ложку и действительно ли она серебряная. «Да,— сказал он,— вы будете удивлены, но она действительно серебряная. Я ее вчера выменял на свою деревянную у унтер-офицера Нагеля. Вы же его знаете, у него собственная бригада на заводе. Каждый день он проходит через контроль, когда возвращается в лагерь, бригадиров обычно не обыскивают, а его обыскивали неоднократно, и ему приходилось идти на разные ухищрения, чтобы спрятать ложку. Вчера он мне об этом снова рассказал при встрече. Его опять обыскивали, и лишь случайно ему удалось уберечь

ло^ ку Ему оч< нь не хейзел, чооы л а ложка, которую он взял в качестве сувенира в одном из замков Франции, досталась русскому охраннику. Нагель сам предложил обменять ее на деревянную. Тебе, мол, все равно, тебя как офицера не обыскивают, да и из лагеря ты выходишь редко».

Так они обменялись ложками. Харрер благополучно принес ложку домой и теперь намерен хранить ее как память.

«Я убежден, что охранник не имел права отнимать ложку и его наказали бы, если бы Нагель пожаловался в НКВД, — сказал я, — Ему же ложка была необходима ежедневно для еды, другой у него не было, а лагерное управление никогда не выдавало пленным столовых приборов. В худшем случае, ее могли бы конфисковать, как ценную вещь, и положить в лагерном управлении на хранение, как собственность пленного с обязательным возвращением при отъезде домой, кроме того, взамен выдали бы другую ложку, хотя бы деревянную». — «Может быть, ты и прав, — сказал Харрер, — но Нагель никогда не осмелится жаловаться. Ты не допускал произвола и до сих пор цмеешь бритвенный прибор и прочее, Я же хорошо помню, как ты отстаивал свои права перед часовыми».

После своей неудавшейся »попытки к бегству я уже не мирился с превышением власти со стороны русских охранников, У меня все еще цаходидць аттестатах первых и вторых государственных экзаменов, семейные фотографии» зубная щетка, бритва с лезвиями, кистью и мылом, и брился я всегда сам. Капитан НКВД возвратил мне мои вещи и сказал, что я могу их себе оставить. Все это я носил в мешочке и не позволял его отобрать. Если что, я всегда ссылался на капитана НКВД. Но однажды рано утром нас так быстро подняли с нар, что я не успел взять свой мешочек, висевший рядом на стене, мне удалось лишь зажать в кулаке перочинный нож, который целую неделю я мастерил из куска стальной пилы и снабдил рукояткой из листовой меди. За владение ножом меня посадили бы под арест не менее, чем на две недели. Часовой ощупал все тело, но не заметил сжатый кулак. Я всегда так прятал нож и даже привез его домой, но затем потерял во время прогулки в лесу за горой Пёстлингберг, местом паломничества к северу от Линца.

Стоявшие вместе со мной в строю тогда насмехались, дескать, вот и уплыл твой мешочек, больше не можешь бриться и сикоз бороды тебе обеспечен. Я сказал, что если часовые присвоят мои вещи, я этого не потерплю и буду жаловаться их командиру, старшему лейтенанту Сковеронскому, который меня хорошо знал. На гражданке он быД преподавателем математики. Они считали, что в этом случае я получу пинка вместо своих вещей Я ответил- «Вы забываете, что

мы уже не в немецком вермахте, где всякий, кто сiарuе по званию, может' куражиться над младшим, как ефрейтор над простыми солдатами, мы — военнопленные, которые находятся под защитой Женевской конвенции и уже имеют некоторые права, 12 пунктов которых вывешены НКВД на лагерном стенде. Личных вещей у меня было не больше, чем разрешено этими предписаниями, и охранники обязаны вернуть мне все, в общем-то они соблюдают правила».

Когда осмотр был закончен, я сразу же побежал в барак и обнаружил, что мешочек, как и следовало ожидать, исчез. Я поспешил обратно к коменданту, который еще стоял у входа вместе с часовыми. Я спросил, что, собственно, они у нас искали. Оказалось, инструменты: клещи, щипцы, которые были украдены на заводе. Я заявил, что часовые взяли мой мешочек и перечислил вещи, добавив, что капитан НКВД разрешил мне иметь их при себе. Он согласился со мной, но сказал, что охранники не могли их присвоить. Я уверял, что они все-таки взяли мешочек, а стало быть, украли. Он страшно возмутился и закричал, что я оскорбляю русскую армию. Я заметил, что в каждой армии могут быть негодяи, в том числе, и в русской. Он выругался и пригрозил, сейчас же построить всех своих охранников и осмотреть их, но если ничего не найдет, то арестуют м^ця на три цедели. Д* оказал тольдо «Ничево!» Тут он велел всём охранникам построиться и поднять руки, как делали мы, и начал тщательную проверку. Мешочек обнаружился уже у третьего по счету, комендант закричал, ударил солдата по лицу и дал ему пинков под зад. Затем предложил мне проверить, все ли вещи ШЛы. Я убедился, что все в порядке, и поблагодарил, но он заметил мне, что аттестаты надо сдать в комендатуру, а получить можно при выходе из лагеря. Аттестаты он все-таки оставил мне, и я их привез домой.

В лагерь все продолжали прибывать новые пленные, и мы узнавали о наступлении русских, американцев и англичан. Информированы новички были не очень хорошо. Некоторые говорили о чудо-оружии, которое переломит ход войны, другие уже не верили в конечную победу, казались удрученными и апатичными.

Русские, наоборот, все более проникались уверенностью в близкой победе. Они были очень щедры на информацию, часто собирали нас и знакомили с военными сводками. Все чаще звучали названия городов, которые заняла Красная Армия. Фронт постепенно приближался и к Австрии. Мы слышали о боях за Будапешт, затем с большой радостью узнали, что Красная Армия перешла австрийскую границу, узнали о падении Вены и первом временном правительстве Реннера в Австрии. Затем — о попытке адмирала Дёница достичь

та того мира и об О1^а.зе союзников по ашштлеровский коалиции, о смерти Гитлера, о безоговорочной капитуляции Германии.

Вот война и закончена. Что будет дальше? Мы видели вполне понятную радость русских по поводу окончания этой ужасной войны. Сталин использовал это время, чтобы воспитать свой народ в духе патриотизма и стойкости при освобождении отечества. Ведь раньше понятие «отечество» считалось пережитком «буржуазного» прошлого. Россия, Советский Союз стали вдруг нацией, появился национальный гимн, в котором были такие слова:

«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь, Да
здравствует созданный волей народов
Единый могучий Советский Союз' Славья
Отечество наше свободное, Дружбы
народов надежный оплот' Знамя Советское,
знамя народное Пусть от победы к победе
ведет'»

Или песня с такой строфой:

«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек. Я
другой такой страны не знаю, Где
так вольно дышит человек»..

Как нам сказали «Интернационал» — гимн коммунистов — уже не соответствует времени и заменен новым.

Для Советского Союза началась новая эра. Но что сделают с нами, военнопленными? Попадем ли мы наконец домой или нас будут держать как своего рода средство политического давления?

Харрера еще раньше тревожила мысль о том, что после окончания войны ничто не помешает русским жестоко расправиться с нами. Мы много раз обсуждали эту проблему, но меня это не беспокоило. Еще до войны я внимательно приглядывался к России и к русским. У меня создалось впечатление, что даже диктатор Сталин стремился выглядеть перед Западом не жупелом восточной угрозы, а государственным деятелем, который защищал свою родину от гитлеровской агрессии всеми средствами и добросовестно выполняет международные обязательства по обращению с военнопленными Я вспоминал также «Московскую декларацию», где отмечалось, что восстановление Австрии является политической целью Советского Союза, так как Австрия была первым го-

сударством, подвергшимся гитлеровскому нападению и потерявшим независимость. Я верил в это обещание русских.

Кроме того, некоторые приметы указывали на усвоение русскими некоторых западных стандартов. Вместо «комиссариатов» появились «министерства», в обиход вошло даже словосочетание «президент государства».

Наконец, мы узнали о Ялтинском соглашении, где Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились якобы о том, что немецкие военнопленные должны оставаться в России до тех пор, пока Россия, и особенно Сталинград, не будут подняты из руин. В городе везде были видны строительные отряды военнопленных, убирающих обломки и восстанавливающих разрушенные здания. Появилось также много пленных немецких девушек, которые использовались как подсобные рабочие на стройках. Для этих работ они были слишком слабы. В России женщины имеют не только равные права с мужчиной, но и работу выполняют мужскую. Некоторым из нас удалось поговорить с этими девушками, выяснилось, что они получают слишком мало еды, так как не могут выполнить норму. Я не знаю, скольким из них посчастливилось вернуться домой.

Пленные «капитулянты»

В один из жарких дней где-то в начале сентября 1945 года меня включили в бригаду, командированную к баракам, находившимся вне лагеря, мимо которых проходила дорога к вокзалу. У нас было задание покрыть крыши бараков смолой, а затем — толем. И тут в открывшейся нам сверху панораме* мы увидели вдалеке медленно двигавшуюся вверх по дороге колонну военнопленных, их было человек сто пятьдесят-двести. Спереди и сзади шагали по два охранника с винтовками и несколько конвоиров по бокам. Когда они подошли ближе, стало понятно, почему колонна так медленно движется. Все было тяжело нагружено. У каждого в обеих руках было по чемодану, а у некоторых еще и полный солдатский ранец. Они являли собой странное зрелище: их можно было бы принять за туристов, если бы не вооруженный конвой. Когда они проходили мимо нас, мы крикнули: «Куда вам столько чемоданов? Вы что, насильщики? У вас же все отберут в лагере! Нам это уже знакомо!» В ответ мы услышали: «Мы не военнопленные, мы — капитулянты». Кто-то из наших крикнул: «Вы просто дураки! Смыться вовремя не сумели¹ Вы еще увидите, что с вами будет¹»

Кои да мы вернулись в лагерь, они уже находились в карантинной зоне, отделенной от лагеря колючей проволокой

и выходили из приемного барака уже без чемоданов и ранцев. Выглядели они немного растерянно. Потом их стали кормить. Мы почти с завистью смотрели на выданный им белый хлеб, на куски соленой рыбы, которые были вдвое больше наших, видели, как они пьют настоящий чай, даже с сахаром. Но они только ругали эту, по их мнению, отвратительную пищу. Некоторые даже бросали соленую рыбу на барачную крышу, только недавно покрытую толем и смолой. Но через несколько дней они уже были голодные, ели все подряд, даже соленую рыбу. Через две недели голод настолько усилился, что они стали собирать на крыше ими же брошенные куски. В конце концов, они съели всю рыбу, проявившуюся на солнце и отдававшую смолой.

После трехнедельного пребывания в карантинной зоне их перевели к нам, и мы узнали, что происходило у нас дома в конце войны. Один венец рассказал, как его взяли в плен и с большой колонной погнали через всю Вену. Им говорили, что направляют в Чехословакию, где вручат увольнительные документы. Путь его проходил по городской улице, где жили его родственники. Он их увидел, и они крикнули ему, чтобы он в суматохе постарался смыться. Это вполне можно было сделать, но он верил русским и не рискнул, о чем впоследствии горько жалел.

Был еще один, прибывший даже из Линца. Будучи раненым, он лежал в военном лазарете в Урфаре, совсем близко от моего дома. Его пленили американцы и через несколько недель, когда он выздоровел, передали русским, которые переправили его в наш лагерь. Он также мог бы сбежать, но не сделал этого, так как после американского плена чувствовал себя уверенно и в русском. Ведь он ничего не знал о соглашении, по которому всех воевавших в России надлежало передавать русским.

Среди «капитулянтов» было много венгров, в том числе венгерских офицеров, которые также чувствовали себя обманутыми, так как при капитуляции им обещали, что отпустят на родину, если они сдадут оружие. Они с яростью говорили, что если бы знали, что их увезут в Россию, тем более сюда, они уж точно продолжали бы воевать. Мы знали от русских, как фанатично эти венгры защищали Будапешт и как были рады русские, когда венгры и немцы капитулировали.

Постепенно кое-что в лагере улучшалось. Однако Харрер, как он выражался, страдал приступами «лагерного бешенства» от постоянного созерцания колючей проволоки, сторожевых вышек и недосыгаемо далекой Волги. Для офицеров отрицательным моментом было как раз то, что им не разрешалось работать. Мне, как ефрейтору, в этом отношении

было лучше, так как я, если не болел, всегда имел работу, нередко вне лагеря и даже на частных квартирах. От скуки Вилли иногда помогал фельдфебелю Дёрнигу из второго барака при расчетах рабочих бригад, чтобы каждый получал свой хлебный паек согласно выработке.

Однажды, когда в лагере не было никакой рабочей силы, Харрер уговорил других офицеров поехать к Волге и привезти — разумеется, с охраной — в лагерь дрова. Лейтенант Рихтер взял с собой гармонию, они выехали через лагерные ворота и спустились к деревянному складу на Волге. Пока они загружали прицеп, часовой уехал с машиной, а охранять остался калмык в военной форме, но без оружия, который, по-видимому, боялся их больше, чем они его. Пока грузовик отвозил дрова в лагерь, они решили впервые за несколько лет поплавать в реке. А лейтенант Рихтер в это время пошел к стоящим поблизости домикам и начал играть на гармошке веселые мелодии. Сразу со всей округи потянулись женщины, обступили его и наслаждались музыкой. Тут из-за угла появился русский лейтенант с несколькими солдатами и отругал женщин, которым, по его мнению, не пристало слушать игру военнопленного. Но женщины обрушились на него с такими сочными выражениями, что лейтенант со своими солдатами поспешил ретироваться.

В августе Харрер как-то вызвался привезти в лагерь рыбу из Сталинграда. Вместе с тремя другими пленными в кузове трехтонки он поехал к раздаточному пункту. Сопровождающим был снабженец — подозрительного вида грузин с автоматом. Он сидел спереди, в кабине. В город они прибыли под палящим солнцем. Предстояло принять груз соленой селедки, прибывший из Астрахани. Когда они более внимательно осмотрели несколько рыбин, то у каждой в жабрах обнаружилась личинка. Это принудило снабженца отказаться от груза, после чего начался скандал, и они услышали, как служащий рыбного склада кричал: «От этой рыбы никто не умрет, а пленные должны радоваться, что их вообще кормят!» Но этот диковатого вида грузин остался тверд, как камень, и отказался принять рыбу. Пришлось им сидеть под палящим солнцем и ждать. Весь берег был устлан стальными листами, а Вилли был босой и ему казалось, что подошвы его поджариваются. Он еле добежал по горячим листам до воды. Наконец им указали грузовую баржу. Вилли как самый высокий, спустился через грузовой люк в трюм. Вся баржа была заполнена пластами селыш. Вниз летели ивовые корзины. Он должен был укладывать в них рыбу и подавать через люк наверх. Под палубным перекрытием стояла ужасная жара и острая селедочная вонь, а укусы от укусов и голи так жгло.

, их опустили в крапиву. Все это было почти невыносимо, но приходилось терпеть. В конце концов работа закончилась и кузов был доверху заполнен рыбой. Когда ехали домой, пленные сидели за кабиной прямо на рыбе.

Это напоминало мне поездку весной сорок третьего на грузовике, загруженном трупами, которые мы отвозили для захоронения в Котлубань. Правда, трупы были накрыты брезентом, но при езде его откидывало ветром так, что прохлывавшие мимо русские издавали крики ужаса. Вспоминалась мне и поездка в кузове грузовика осенью того же года, когда электрики демонтировали испорченную высоковольтную линию и при возвращении домой сидели на мешках с раками. Это вызывало странное ощущение — будто сидишь на подстилке, которая только что бегала. Мне было жутковато.

Так как в кузове лежало целых три тонны рыбы, то Вилли и его товарищи подумали, что несколько рыбин — сущий пустяк и хоть один раз можно съесть ее столько, сколько захочется, а не довольствоваться лагерной порцией в 70 г. Поэтому каждый взял по рыбине и стал откусывать лучшие куски от спинки. Но рыба была очень соленой, и вскоре все стали испытывать невыносимую жажду. К их счастью, грузовик вдруг остановился, так как у снабженца были какие-то дела. Они сразу прыгнули вниз и стали искать воду, но обнаружили только пару луж после вчерашнего грозового дождя. Кто-то бросился к лужам и стал глотать воду, но сам Вилли дотерпел до продовольственного лагеря, где был водоразборный кран. Вилли отвернул его и направил себе в рот тугую струю, такую сильную, что он думал — живот от воды лопнет. Один из них не смог удержаться и прихватил две селедки. Он подвесил их к поясу кальсон, по одной с каждого бока, чтобы они свисали вдоль бедер и хотел пронести через охрану у ворот. Но его ощупали, как обычно, и обнаружили рыбу. Охранник взял селедку за хвост и несколько раз ударил его рыбиной по обеим щекам, а затем еще и пинков надавал. Вилли предвидел это и не взял рыбы в лагерь, а то, что они наелись вне лагеря, русским было все равно. Запрещалось лишь проносить на территорию, а тем более, не дай бог, сбывать.

На другой день было полное солнечное затмение. Небо заволочло тучами. Пленным разрешили пойти на Волгу просто поплавать, при этом Руди Киршке чуть не утонул. Вилли перешел остров и оказался перед главным руслом Волги. Громадная река произвела на него большое впечатление. Он вошел в воду и поплыл, успев сделать полсотни взмахов, он не знал, что река имеет сильное течение, и когда стал плыть обратно, его отнесло на 100 метров и пришлось выбиваться

из сил, чтобы вернуться на берег. Это его так измотало, что он едва мог выйти из воды.

Не удивительно, что многие наши товарищи теряли само[^]обладание, когда распространился слух: перспектива попасть домой реальна только для тех, кто болен настолько, что уже не годен к труду. Все мы знали, как вредно употреблять много соли, от этого опухали суставы и появлялась водянка, чего я остерегался даже спустя годы после возвращения. Мы и так получали соли больше, чем достаточно, с ежедневной порцией рыбы, которая никогда не вымачивалась. Некоторые покупали на базаре крупную русскую соль и ели ее. Курильщики меняли свой хлеб на табак и еще больше курили. Многие умирали, особенно из вновь прибывших. Сколько из них умирало от того, что преднамеренно губили организм, я не знаю, но было их немало. Многие из вновь прибывших особенно страдали от недостатка питьевой воды. Ведь жара летом достигала иногда +40 оС, что требовало достаточного количества жидкости, а мы получали ее главным образом в виде супа, каши и 1/3 литра чая вечером, этого явно не хватало. Пленные, работавшие вне лагеря, имели больше доступа к питьевой воде, так как они работали, как правило, в контакте с русскими. Но и это не всегда спасало. Я сам работал некоторое время в бригаде на заводе, на таком рабочем участке, где водопровод подавал только воду из Волги. Было строго запрещено пить ее некипяченой, чтобы избежать тяжелых расстройств кишечника. А что делать, если больше невозможно терпеть жажду, а вскипятить воду негде? Я тоже изредка пил воду для хозяйственных нужд, и каждый раз это заканчивалось тяжелым поносом. То же самое происходило с вновь прибывшими, вышедшими из карантина и по какой-либо причине не покидавшими лагерь или не получавшими достаточного количества воды на рабочем месте.

Как уже говорилось, в лагере был колодец, но он не всегда давал воду, годную для питья. Считалось, что он накапливает грунтовую, непитьевую воду, но после ливня, подмывшего место захоронения, она стала просто отравленной. Днем никто не смел приближаться к колодцу, а ночью кое-кто тайно пробирался к нему и утолял невыносимую жажду, результатом чего была тяжелая диарея. Сколько человек умерло в результате этого, я не знаю, но понос приводил к опасному для жизни ослаблению организма, и выздоравливали люди очень медленно. Я познакомился с «капитулянтвал», пожилым австрийцем, который рассказал, что был капельмейстером у Ронахера в Вене и что под конец войны в возрасте старше шестидесяти лет его призвали в ополчение. Он говорил, что больше не может выносить несусветную жару и прошлой ночью

из і душного клоповного барака пробрался к запретному колодцу и напился из него. Он уже чувствует, что это не пошло ему на; пользу. На следующий день я его не увидел, а потом узнал; что его положили в лазарет с тяжелой диареей. Это было очень опасно для него, так как ко всем проблемам пожилого неловека, психически сломленного пленом, добавилась еще и болезнь. Больше я его никогда не видел, так и не знаю, пережил ли он свою болезнь и вернулся ли домой.

Среди «капитулянтов» был также помещик Домбровски из Восточной Пруссии, приятный малый. Он рассказывал о своем имении и конном заводе, название которого мне было известно из иллюстрированного журнала. Там остановились русские, и он явно понимал, что уже не увидит своего владения. Я ему говорил, что прочитал мемуары барона Фогельзанга, у которого в Восточной Пруссии было дворянское поместье с таким же названием, и он должен был оставить его, так как стал католиком. Он описывал тогдашние условия, по которым очень богатые землевладельцы могли выбрать только две социальных роли: помещика или офицера. Любая другая профессия, даже если она требовала высшего образования, считалась не подобающей положению. Но основная часть населения состояла из бедняков и полностью зависела от помещиков. Домбровски полагал, что в этом, к сожалению, мало что изменилось. Я ответил, что по этой причине немецкая колонизация Восточной Пруссии оказалась несостоятельной и этот край, вероятно, станет коммунистическим. Он тоже так считал, потому что помещики убежали, офицеры дискредитированы войной, а население привыкло к тому, что им правят.

Среди вновь прибывших был также князь Витгенштейн. Я предполагал, что он откуда-то из Рейнской области. С ним было очень приятно разговаривать. Но русские обращались с ним так же, как и со всеми остальными военнопленными.

Среди вновь прибывших оказался и офицер СС. Русские, вопреки обыкновению, не изолировали его как особого врага, одного из главных виновников нацистских преступлений, а назначили старшим барака прибывших пленных. На наш вопрос, знают ли в НКВД, что он был офицером СС, нам ответили, что знают, но дали понять, что их политику мы никогда не уразумеем. Однако мы эту политику хорошо понимаем: послушный офицер СС был очень необходим русским. Они наверняка знали о его эсэсовском прошлом, потому что каждый пленный раздевался догола и осматривался на предмет наличия татуированной метки СС.

Часто наш разговор сводился к тому печальному факту, что никто из нас не имел часов и невозможно было мало-

мальски точно определять время. Мы обычно ориентировались по командам русских: когда нужно было вставать, идти за едой, строиться у будки для отправки на работу или когда проводилась проверка. Так как большую часть года светило солнце, я вызвался соорудить солнечные часы. Сначала пришлось поломать голову: мы находились не на московском меридиане и даже не знали, сколько градусов было между меридианами Москвы и Сталинграда. Но я нашел выход. Надо было определить южную точку не по положению солнца, а по часам, то есть узнать от русских точное время полдня, взять планку и посредством самостоятельного визира с гвоздиками направить ее ночью на полярную звезду. Если затем на эту планку наложить деревянный диск с делениями, обозначающими 24 часа так, чтобы диск вращался перпендикулярно к оси, то нужно будет только дожждаться, когда солнце даст самую короткую тень, и тогда у меня будет полдень по местному времени. Затем уточнить у русских, имевших часы, время московского полдня, и тень оси маркировать точкой — 12 часов, а уже от нее плясать, нанося деления до и после.

По этой системе я сделал солнечные часы в верхней части лагеря, а затем, выполняя всеобщее пожелание, еще одни в нижней части. Время, которое они показывали, удивительным образом совпадало.

Но часы были побочным занятием, потому что я опять работал электриком. И снова у меня возник конфликт с русским охранником, который всегда давал мне рабочие задания. Нулевой провод подводящей к лагерю линии был порван и свисал вниз. Мне было приказано немедленно снять и починить его, а затем вновь повесить. Я сказал, что это возможно лишь при отключении 380-вольтовой линии в трансформаторе, иначе работа будет связана с большим риском.

Как раз за несколько дней до этого я столкнулся с очень опасным случаем. Я залез на осветительный столб лагеря, чтобы заменить перегоревшую 1000-ваттную лампу. Эту работу я считал безопасной, так как оголенный провод проходил выше лампы, а к выключателю шла изолированная проводка, которую, правда, прокладывал не я, а кто-то другой: я в то время болел. Заменяв лампу, я начал спускаться и своей «кошкой» зацепил столб немного выше выключателя, таким образом попал под напряжение, и у меня сильно закружилась голова. К счастью, я смог быстро оторвать «кошку», иначе определенно упал бы вниз. Затем я увидел причину своего злключения. Провод над выключателем оказался оголенным. К тому же, столб был влажным. В другой раз из-за плохой изоляции я попал под ток на кухне. Чтобы не

^T > nt L , А р и ь с О1Клл іа і ь юл, ч неисправность под напряжением Тогда меня отбросило далеко в сторону, и мне стало плохо. Этих приключений мне хватило с избытком. Теперь меня заставляли ремонтировать оборванный провод без отключения тока. При этом у меня был только страховочный монтажный пояс из оголенного медного провода, не было даже хорошо изолированных пассатижей. Поэтому я сказал русскому, что эту работу нельзя делать без отключения тока, это опасно для жизни и нельзя исключать смертельного случая. Тут русский в бешенстве закричал, что если я не подчинюсь, он расценит это как отказ приступить к работе и посадит меня на три недели под арест, на паек в 200 г хлеба. Я ему возразил, что я военнопленный и меня нельзя принуждать к такой опасной для жизни работе. Если же он меня и посадит, то я, вероятно, как-нибудь переживу три недели, но если начну делать эту работу, то определенно буду покойником. Тут он выматерился и отстранил меня от работы. На следующий день, при содействии моего друга Карла из Грюнбурга, я попал в бригаду слесарей, работавших совсем близко от лагеря. Бригадиром был бургенландский крестьянин из хорватского села вблизи Нойзидлер-Зее. Помнится, его звали Уманн, и для меня он был во всех отношениях самым приятным начальником. Наш русский мастер, еврей, вроде бы член Коммунистической партии, оказался очень интеллигентным и деловым человеком. Вся бригада сгуща до вечера занималась слесарными работами. Вначале я не понял, в чем именно состоит задача, видел только, как кузнечным зубилом они пытались разрубить на части листы семимиллиметровой толщины. Одни пленный держал зубило за рукоятку, а другой ударял по нему тяжелым кузнечным молотом. Грохот был сильнейший, а результат — минимальный. Эта работа -выполнялась под открытым небом при палящем зное, и к вечеру все были совершенно обессилены. Меня же мастер отвел в холодок и сразу же начал выяснять, что я умею делать. Во всяком случае, как я заметил, это не имело ничего общего с работой остальных. Я был ему необходим для «халтуры». Позже я узнал от своего друга из Грюнбурга, что мастер искал квалифицированного электрика, вот земляк и рекомендовал меня.

В первый же день мастер принес какие-то ребристые чугунные резервуары на колесиках, сверху закрытые крышками с толстыми и тонкими проводами. Я понятия не имел, что это за электроаппараты, так как никогда таких не видел. Он сказал, что они испорчены и поинтересовался, смогу ли я их исправить. Я подумал, что сначала их надо разобрать

и поискать неисправность, вероятно, все дело в проводах. Ему я сказал, что попробую отремонтировать. Потом я узнал от бригадира, что этих штук, назначение которых он тоже не знает, полным-полно на заводской свалке. Из инструмента я получил гаечный ключ, пассатижи, молоток, зубило, отвертку и т. д. и вскрыл корпус. Внутри находились две обмотки — одна вставлена в другую — из оголенного медного провода, снаружи шел пятимиллиметровый, а внутри — сплавившийся в одном месте десятимиллиметровый. Я открепил внутреннюю обмотку, вытащил ее и соединил оплавленные концы отдельных медных проволок, скручивая их пассатижами, а затем все снова собрал. Я сказал мастеру, чтобы он залил в аппарат масла, и тогда можно испытывать. Тот немедленно включил аппарат и с радостью убедился, что он снова функционирует. Только тут я узнал, что это были сварочные дроссели, служившие для того, чтобы при сварке дугу приводить в соответствие с толщиной листа. От перегрузки у них оплавилась обмотка.

Вечером, когда мы возвращались в лагерь, нас встретил взволнованный охранник. В нем я узнал того русского, который давал задания электрикам. Он попросил меня отойти с ним в сторону и обескураженно сообщил о случившемся происшествии. После моего отказа отремонтировать линию он нашел другого электрика — жителя Саара по фамилии Гирлингер, если не ошибаюсь. Тот был профессиональным электриком и очень приятным человеком. Русский поручил ему демонтировать свисающий нулевой провод и починить его без отключения тока. Гирлингер якобы сказал, что дома на работе он такое нередко делал. «Возможно, — ответил я, — но там у него наверняка имелось другое оснащение, а страховочный пояс, надо полагать, был не из оголенной медной проволоки». Русский сказал, что этот человек погиб. Он сорвался, ловис и попал под ток. Весь ужас его смерти я смог себе представить, когда позднее услышал рассказ пленных, видевших, как в течение получаса он находился под воздействием тока и никто не мог ему помочь, а он медленно обугливался. Когда русский отыскал меня, было слишком поздно. Ток уже отключили без меня. Совершенно потрясенный, я сказал русскому: «В гибели виноват ты. Ты — убийца! Я же тебя предупреждал, чем это может кончиться. Для тебя пленные не люди, но представь себе, что ты — военнопленный и тот, кто распоряжается тобой, поступает так же, как ты». Русский был настолько подавлен случившимся, что мне стало жаль его.

Затем я починил провод и подключил его к трансформатору

.xf»На?< следующий день я опять пошел в слесарную мастерскую* и снова мастер принес мне сломанные сварочные дроссели: Я ремонтировал их по единой схеме, сколько их прошло через мои руки, не знаю, а мастер продавал их на черном рынке, на чем и наживался. Мне и всей бригаде он записывал по 150% выработки, как стахановцам; правда, моя выработка приносила денежную выгоду только ему. На основе наших процентов мы получали в лагере дополнительно хлеб и кашу. У меня с ним не обходилось без конфликтов, когда он требовал чего-то явно невыполнимого. В таких случаях ни я, ни остальные двенадцать членов бригады не получали дополнительных процентов, даже если работали как полагается.

Потом я чинил электродвигатели, в которых не требовалось перематывать провода, и даже менял обмотку трансформаторов с тонкими проводами. Наконец, мастер попросил, чтобы я изготовил ему репродуктор. Я подробно обсудил это дело с одним радиолюбителем из пленных, пока не уяснил, как и из каких материалов я мог бы сделать радио. С деталями проблем не было, требовался только магнит. Нам пришло в голову использовать автомобильные катушки зажигания, но для этого нужно было сделать 2000 витков из тончайшей изолированной проволоки. Работая вручную, мы все время ошибались в счете, поэтому я изготовил обмоточную машину, которая одновременно отмечала количество витков. Проволока часто рвалась, и каждый раз мне приходилось ее паять, вновь изолировать лаком и между каждым слоем прокладывать резинку как особое средство изоляции. Наконец, дело было закончено, но тут у меня украли катушку, и нужно было сделать новую, а проволоки для обеспечения необходимого напряжения не хватало. Я не знал, на какое напряжение рассчитан репродуктор, и изготовил маленький трансформатор, который имел несколько выходов, начиная с 6 вольт, с удвоенным напряжением в каждом следующем. Когда репродуктор был готов, мы не могли его испытать, так как у нас не было радиосети. Тем немногим русским, кто имел радио, подключали репродукторы к воздушной радиолинии. Но в мастерской она отсутствовала. Для проверки я мог лишь использовать мгновенный контакт с электросварочным аппаратом, при этом слышался глухой шум. Катушка ток проводила, это было единственное, что я теперь знал. Испытать репродуктор на квартире русский мне не разрешил, ему отнес репродуктор мой бригадир. На следующий день русский мне сообщил, что прибор не функционирует. Однако бригадир, побывавший на квартире начальника, сказал мне, что приемник работает очень хорошо, русский просто решил сэкономить килограмм хлеба, обещанный

мне за эту работу. Меня больше интересовало, работает ли репродуктор, а об обещанном хлебе пришлось забыть.

В это время бригада трудилась над особым заказом. Из семимиллиметровых стальных листов строили две уборных для нашего лагеря. Каждая состояла из открытой коробки размером 5х3х1,5 м; Передняя сторона имела высоту 2 метра, в середине был проем для входа. Справа и слева коридора метровой ширины находились продольные возвышения, сваренные из стальных листов с одинаковыми отверстиями, так что нужду справлять могли двенадцать человек одновременно. Между отверстиями не было перегородок, как во дворцах древнего Рима. По-видимому, в Красноармейске для этой цели было проще достать стальные листы, чем древесину.

Мне казалось, что из-за веса и громоздкости коробки могут возникнуть трудности с транспортировкой. Но тут я недооценил импровизационный талант русских. Они велели приварить к нижним ребрам по узкой, закругленной с краев стальной полосе, и получилось что-то вроде саней. Затем коробку подцепили к списанному танку Т-34 без башни, и в большом облаке пыли по грунтовой дороге потащили в лагерь. Весь этот поезд выглядел очень необычно, но все же догромыхал до цели. Широкие гусеницы танка оставляли рубцы на дороге, но влекомая им стальная коробка выравнивала поверхность. После этого дорога выглядела, пожалуй, лучше, чем раньше. Выбоин на ней уже не было, зато значительно прибавилось пыли.

По этому образцу наша слесарная бригада соорудила из стальных листов сначала вторую, а затем и третью уборные. Но с третьей возникла заминка у пропускного пункта завода, так как заказ был оформлен только на две. Третью мастер хотел протащить, так сказать, контрабандой. Сумел ли он это сделать, я не знаю. Наверное, на нее у него был свой заказчик, который из экономии предпочел нелегальный путь.

Для меня у мастера сразу появились новые заказы. Война в Европе закончилась, но советская экономика еще не могла удовлетворить нужды своих граждан. Производственные задания, определились в пятилетних планах центральной властью. Мнением простых граждан, приученных к диктату властей, при этом нисколько не интересовались. Даже за время войны руководящие функционеры не уразумели, что существует проблема элементарного дефицита, например, топлива, хотя бы для приготовления пищи, не говоря уже о том, чтобы учитывать это в мирное время. При «капиталистической» системе подобная проблема решается людьми, которые ломают голову над ее решением просто постольку, поскольку могут на том заработать. Но с точки зрения коммунистов —

это уже, эксплуатация, а получение всякой прибыли — смертный грех-и $\gamma > i_t$

Вообще же при коммунистическом строе есть люди, которые думают и действуют не столь ортодоксально. Одним из таких был наш начальник, еврей, правда тоже член партии. Если до сих пор он извлекал выгоду из моих работ по починке электроприборов, а затем поручил изготовить репродуктор, то потом у него возникла идея «помочь» домохозяйкам, а именно — делать простые электроплитки и продавать их на рынке. Я ему сказал, что изготовить изолирующий корпус из шамотного кирпича с канавками для спирали — не ахти какая проблема, тоже самое — муфты, труднее будет со спиралью, тут требуется провод из никелина. Про такой провод он не слышал и велел взять оцинкованную железную проволоку, она, дескать, сгорит не сразу. Мне ничего не оставалось делать, как наматывать такую проволоку в качестве нагревательной спирали на изогнутом остове электрода, зажав его в тиски, а затем вставлять эту спираль в плитку. Один из наших слесарей изготовил подставку. Таким образом мы сделали дюжину плиток, и начальник быстро сбывал их. Но через неделю поступили первые рекламации — спирали перегорали. Мы изготавливали для починки плиток новые спирали, но снова из оцинкованной железной проволоки. Они, конечно, опять перегорали. Только теперь он мне поверил, что необходима никелиновая проволока. Но где ее взять?

Тут мы узнали от товарищей, что на завод постоянно прибывают грузовые поезда, вагоны которых загружены машинами и станками, вывезенными из Германии, среди которых есть современнейшие специальные токарные станки. Их осторожно разгружали и устанавливали в пустые цеха, которые постоянно охранялись специально выделенными постовыми. Только от нас русские и узнали, что эти станки были демонтированы как военные трофеи на фабриках занятых территорий. В лагере, конечно, тоже знали об этих станках с тонкой настройкой механизмов управления, без которых они не могли бы работать, проведали и о том, что никелиновый провод в них — важнейший элемент. Об этом мы сообщили начальнику. Теперь он только и думал о том, как бы подобраться к станкам, чтобы извлечь никелиновые катушки. Порча станков его ничуть не волновала. Он подобрал специальную группу из двух сведущих пленных и охранника, с их помощью ему удалось добыть несколько никелиновых катушек, и мы стали изготавливать безукоризненно работающие электроплитки, которые он выгодно продавал на базаре.

Лето опять выдалось очень жарким. На работе я этого не почувствовал, так как трудился в сносно проветриваемом

помещении. Когда утром мы шли на работу, было еще не так жарко, а вечером, когда возвращались, жара уже спадала. Мучения начинались ночью в жарком каменном здании, где раньше жили румыны, вернувшиеся домой почти в полном составе. Русские были очень расположены к ним, так как те вовремя отделили свою страну от немцев. Затем отправка оставшихся румын почему-то застопорилась. Наконец, стало известно, что русские изменили отношение к ним и больше им не доверяют, потому что в Румынии застрелили русского генерала, посланного «исключительно ради помощи при реорганизации страны с дружественными намерениями».

Борьба с клопами и малярия

Итак, мы заняли здание, где раньше жили румыны. Каменные стены в течение дня очень сильно нагревались, к тому же они были сплошным гнездилищем клопов. Ни одну ночь мы не могли спокойно спать от жары и укусов. В конце концов мы брали свои мешки с сеном и выходили спать на свежий воздух, о чем я уже писал.

Внезапно у меня опять начался сильный понос. Я пошел в амбулаторию, потому что чувствовал себя нетрудоспособным, то и дело приходилось бегать в уборную. Дежурный немецкий врач доктор Лютге, который меня уже давно знал и был осведомлен о моих частых поносах, сказал, что не считает диарею моей единственной болезнью. Это лишь побочное явление, он думает — у меня малярия. Когда он узнал от меня, что из-за жары и клопов я уже некоторое время сплю на улице, то еще более утвердился в своем диагнозе и сказал, чтобы с этой минуты я остался в лазарете, так как вскоре у меня определенно будет приступ, а малярию можно вылечить, если начать лечение при первом же приступе. Иначе возбудители малярии, трепаносомы, инкапсулируются в печени и станут почти неуязвимы. Я не совсем верил в его диагноз, но остался в лазарете, чтобы подлечить кишечник. Понос сравнительно быстро ослаб, но на третий день в половине второго ночи у меня вдруг начался озноб, температура повысилась до 39. Меня сильно трясло, я чувствовал себя отвратительно. Находящиеся рядом товарищи вызвали медсестру. Ее звали Нина. Это была светловолосая молодая украинка. Она уже была проинформирована врачом относительно малярии и предупреждена, что при первом приступе должна его позвать. Он немедленно пришел. Несмотря на сильный жар, я еще точно помню, как он почти с удовле-

творением сказал: «Я же говорил, это — малярия». Мне сразу дали зеленые таблетки. Он сказал, что так они выглядят из-за красителя, это — русский медикамент, он более эффективен, чем наш атебрин, который действует только профилактически. Я должен принимать это средство длительное время. На первых порах - каждые два часа, днем и ночью. Сестра позаботится. И вот каждые два часа сестра приносила мне эти таблетки в течение многих дней и была неизменно благожелательна. Когда только она успевала спать? Во всяком случае, каждые два часа она появлялась у моей кровати. После каждого приступа, которые меня очень изнуряли, жар исчезал на один день, затем снова повторялся приступ, и всякий раз за полчаса до полуночи. Постепенно они становились все слабее и, наконец, прекратились. Врач, ощупав мою печень, велел принимать лекарство в меньшей дозе, уже не так часто, но в течение еще нескольких недель. Когда приступы малярии у меня прекратились, я решил, что исцелен. Но малярия меня очень ослабила. Поэтому я должен был еще некоторое время оставаться в лазарете и беречься. Мое состояние уже позволяло осмыслить все, что происходило вокруг нас. Мы получали хотя и русскую, но хорошую, вкусную пищу с белым хлебом и жирной кашей из пшена, перловой крупы и гречки. Ее поставляли с кухни в ведрах, и начальник лазарета, типичный служака из Восточной Пруссии, обер-вахмистр, лично раздавал ее черпаком по 1,4 л. При этом я обнаружил, что он раздавал не все содержимое ведра, а каждый раз оставлял не менее 1 литра каши. Другие товарищи тоже это заметили и возмущались, когда он уходил с остатком каши: это свинство, ворчали они, каша для нас, а он и так получает с кухни причитающееся ему лазаретное питание, так что нечего ему нас обворовывать. Они, мол, знают, куда он деваает кашу. Достаточно только посмотреть на него и его походку, он и на пленного-то не похож, вышагивает как бравый вояка, спрыгнувший со своего скакуна, лощеный и надушенный, в мундире на заказ и в начищенных офицерских сапогах. Такое расточительство стоит денег, а в плену каша — та же валюта. Так они, а это были немцы, ворчали целый день. Я им посоветовал: если его действия их не устраивают, они должны ему об этом сказать. Но они отклонили мое предложение, так как не осмеливались на это.

Меня тоже злило, что свои личные прихоти он удовлетворял за наш счет и притом так открыто. Злило также его надменное поведение, все же мы не на плацу. Я всегда ненавидел плац и громкие команды мастеров муштры, ухитрившихся превратить всякого лояльного гражданина во вра-

га военных, даже если он хорошо понимал, что без военных, к сожалению, нельзя обходиться. Но кому охота терпеть унижения от твердолобых солдафонов?

Теперь и меня взяла злость, раньше я мало что замечал вокруг из-за апатии, вызванной малярией. Моей натуре претят бесполезное хныканье или заглазное обвинение кого-либо. Я всегда взвешиваю возможность реально что-либо изменить и, приняв решение, действую уже, так сказать, не взирая на лица. Если я убежден, что положение дел изменить невозможно, то и не завожу об этом речи.

В данном случае можно было что-то сделать, справедливость была на нашей стороне, и не исключалась возможность отстоять ее, правда, с некоторым риском. На следующий день, в обед, когда обер-вахмистр, как обычно, раздал не всю кашу, я спросил, почему он так поступает? Тут он рывкнул, что это меня не касается и что мое дело молчать в тряпочку. Я пригрозил сообщить о его проделках старшему лейтенанту Клейнману из НКВД, с которым я хорошо знаком. После этого он тут же раздал весь остаток и показал нам пустое ведро. С тех пор это стало правилом.

В один из последующих дней лечащий врач при обходе обратил мое внимание на одного больного, который лежал неподалеку от меня. Врач сказал, что больной крайне апатичен, ни с кем не разговаривает и весь день мрачно глядит куда-то в пространство. Трудно понять, что с ним. Хорошо бы попытаться войти с ним в контакт и вывести его из опасного состояния. Я сел на край нар, на которых лежал молчун, и заговорил с ним. Мне было даже неизвестно, какой он национальности. Он очень быстро отреагировал на мои слова, устремив на меня удивленный взгляд. Я вкратце рассказал о себе, он поддержал разговор. Оказалось, что это - румын, инженер-строитель и владелец строительной фирмы в Бухаресте. Я поинтересовался, почему у него такое подавленное настроение, почему он так молчалив? Этот человек был одним из немногих румын, которые еще оставались в лагере. Он сказал, что очень страдает от плена, в который попал в конце сталинградского разгрома, а особенно от невыносимых для него условий. Помимо профессии, он все силы души отдавал музыке, без которой жить не может. Я его утешал, что плен продлится недолго, он скоро будет дома и опять сможет жить своей работой и музыкой. Оказалось, что как раз это его и беспокоит, так как будущее Румынии туманно. Я ему возразил, что мы также не знаем, что принесет будущее, но как-нибудь справимся.

Вам, австрийцам, ответил он, будет легче, так как у вас однородное общество со здоровой структурой, в Румынии же

все намного сложнее. Тут очень резкое социальное разделение. Есть настоящие румыны, которые считают своими предками римлян, и некоторое количество немцев. И те, и другие относятся к высшему слою и были опорой режима, который недавно свергнут. Существует еще низший слой — это примитивные румынские цыгане, бедняки, полуграмотные и совсем неграмотные. Прежнего режима не существует. Новый формируется под сильным воздействием русских. Что станет с Румынией, когда будет господствовать низший слой? Что станет лично с ним как предпринимателем и владельцем строительной фирмы? Что будет с его семьей? Я сказал, что все мы не знаем, чего нам ждать в будущем, и можем только гадать на этот счет. Мы радуемся, что закончилась война и что людей больше не заставляют убивать друг друга. Все мы вынуждены будем приспосабливаться. У нас дома тоже многое разрушено.

Мы все чаще вступали в разговоры, и вскоре выяснилось, что оба мы посещали гуманитарные гимназии и учили латынь и греческий. Мы стали беседовать на философские темы и декламировали начальные строки «Илиады» и «Одиссеи» Гомера. Я всегда — и после плена тоже — быстро сходился с людьми на какой-либо общей основе, когда узнавал, что мой собеседник — выпускник гуманитарной гимназии. Ничто не объединяет людей больше, чем настоящий гуманизм.

Я помог ему преодолеть отчужденность и почувствовать прилив жизненной энергии. Наш врач был очень доволен и спросил, как мне это удалось. Я рассказал. В ходе беседы я убедился в том, что врач тоже по складу гуманитарий и не случайно выбрал гуманную профессию, он не мог спокойно наблюдать душевные страдания человека.

Но на другой день мой друг из Бухареста неожиданно подошел к моим ногам, и взгляд его показался мне каким-то странным. Соседи по палате громко обсуждали слухи о том, что ждет всех нас, пленных. Я лежал и читал книгу Тургенева. У меня было такое чувство, что моего нового друга что-то угнетает, однако он не заводит об этом разговора. Я спросил, откуда он так хорошо знает немецкий язык. Он сказал, что хотя и является румынским подданным и был призван в румынскую армию, его семья происходит из Трансильвании и является немецкоговорящей. В Бухаресте он учился в высшей школе и познакомился со своей теперешней женой. Но особой его любовью всегда была музыка. Будучи скрипачом-виртуозом, он, однако, не мог выбрать эту профессию и по желанию своего уже довольно старого отца (он был, как говорится, последышем) учился на инженера-строителя, так как имел также большие способности к математике. Я ему сказал, что и я

выпускник высшей школы по прикладной математике и тоже очень увлекаюсь музыкой. Правда, исполнитель я не слишком искусный, но охотно слушаю хорошую музыку. Когда-то я прочила книгу Джеймса Джейнса, главного астронома обсерватории в Доркинге, о «математических основах музыки», которая подробно истолковывает связь между музыкой и математикой. Книга произвела на меня сильное впечатление, ход мыслей автора увлек меня новизной.

Конечно, я чувствовал, что сосед хотел поговорить со мной не только о музыке, сколько о других проблемах, которые приводили его в уныние. Чтобы иметь обеспеченную жизнь, он стал инженером-строителем. В школе танцев он познакомился с девушкой, которая произвела на него впечатление очаровательного существа и удивила своей начитанностью. Они часто встречались на праздничных вечерах и в доме ее родителей. Они были румынами, говорили только по-румынски и плохо знали немецкий. Отец и мать принадлежали к высшему слою общества, владели большой строительной фирмой. Дочь же в совершенстве говорила по-немецки, так как каникулы часто проводила у своей тети, преподавателя немецкого языка в румынском городе Германштадте. Родители имели большой дом со слугами и вели барский образ жизни. Но сам он тоже был не из бедных, вырос в немецкой трудолюбивой, экономной семье. Он понравился ее родителям, да и сами молодые считали себя хорошей и любящей парой. Они поженились, и он стал сотрудником фирмы ее отца, который был уже достаточно стар и не мог работать с прежней энергией. Фирма имела много заказов по строительству во всей Румынии, в том числе и военных, а когда началась война, работать приходилось до изнурения, кроме того, вскоре стало не хватать специалистов. Часто приходилось ночевать на работе, а если и удавалось вернуться домой, то очень поздно, чуть не валясь с ног от усталости. Дома нужен был прежде всего покой, что не встречало понимания со стороны молодой жены. Она желала разговоров, развлечений, удовольствий. Ее мать, знавшая лишь комфортную жизнь, и бабушка, почтенная матрона, которая жила с ними, всегда держали сторону своего «бедного ребенка».

Кроме того, жизнь осложняли еще и сексуальные проблемы Жена была очень хорошенькой и очень следила за внешностью, ибо ценила ее выше всего, наряду с начитанностью и богатством. При этом она совершенно забывала, что и т о й другое преходяще, а в совместной жизни решающую роль играют совсем другие ценности и прежде всего любовь к спутнику жизни и способность понимать его. В тяжелые военные времена обнаружилось, что милая приветливость и

веселый шарм были только лоском, одной лишь видимостью, исчезавшей в узком кругу при малейших трудностях. Она быстро теряла терпение, всех домашних, особенно его, тиранила громкими истериками. К тому же не ладилась интимная жизнь, трудно было угодить беспрерывно фыркающей кошке, когда сам не готов на это, да к тому же пансионное и семейное воспитание сделали ее фригидной. Все, что относилось к сексуальной жизни, она рассматривала как нечто заведомо аморальное и позорное для женщины. Она ни в малейшей степени не поощряла его, а лишь холодно терпела. Так что совместная жизнь у них не ладилась. В ярости она назвала его импотентом. Ей и в голову не приходило, что как женщина она оказалась неспособной для совместной жизни, впрочем, может быть, она просто не хотела этого признавать.

Вот пришел приказ о его призыве в вермахт, что он воспринял почти как спасение. Тут жена решила, что хочет ребенка. Он пошел ей навстречу, но не без внутреннего принуждения.

За все военные годы он ни разу не имел отпуска. Она писала ему о своей беременности и затем о рождении сына, которого он никогда не видел, так как был пленен в Сталинграде. Он сполна испытал всю тяжесть боев за этот город, нужду в «котле» Сталинграда, плен, которого многие не выдерживали, и убогую, так медленно меняющуюся к лучшему жизнь в лагере (правда, не в нашем, к нам он прибыл недавно). Как и я, он целые годы ничего не слышал о своей семье, жене и сыне, ему даже неизвестно, живы ли они еще. Дома его определенно не числят в живых, так как он давно считается пропавшим без вести. Что будет, когда из плена его отправят домой? Где его родина, если в Румынии его, румынского немца, рассматривают как нациста? Что будут делать новые властелины Румынии со своими немцами? Как к нему отнесется жена, румынка из высшего общества, которая еще в мирное время так усложняла их жизнь, никогда не умела довольствоваться малым, знала только роскошь и благополучие? Как начинать жизнь с ней заново? Он страшится своего будущего. Охотнее всего он остался бы в России и работал бы инженером-строителем. Эта страна определенно могла бы его использовать как специалиста, но в России он не видит будущего, ведь это коммунистическая страна, а он воспитан при другом строе. Нет, уж лучше податься на Запад, принять как печальную необходимость всю неясность послевоенной ситуации и использовать каждый шанс, который дает жизнь. Лучше работать на свободе, даже если работа вначале не будет соответствовать образованию и жела-

ниям, чем, совершая насилие над самим собой, чахнуть при диктаторском режиме до конца своих дней.

Жизнь для нас, конечно, не остановится, но она пойдет иначе, чем до сих пор. Эта проблема волнует почти всех нас. Такова жизнь, она все время меняется, как вода в реке. Еще в древней Греции философ заметил: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Большинство из нас тревожили судьбы оставленных жен и семей. Это удивительно выразил Гомер в «Одиссее», однако не каждая жена — Пенелопа. Греческие драмы очень подробно показывают, какие жестокие удары ждали троянских «героев» после их возвращения домой. Да и Гомер не дает нам понять, стала ли Пенелопа снова счастлива с Одиссеем, вернувшимся через двадцать лет. Кого-то из нас мучает вопрос, сможет ли он вообще еще быть полноценным мужчиной после многолетнего голодания. Этот вопрос нас до сих пор не особенно интересовал, потому что все думали только о выживании. Сексуальные проблемы были актуальны только для нескольких лагерных аристократов.

Некоторые из пленных Сталинграда знали или предчувствовали, что ожидает их по возвращении домой. Мирная жизнь будет совсем другой, чем до этой бесчеловечной войны. Мы тоже стали совсем другими. Мы можем лишь надеяться, что найдем дома человека, который встретит нас с пониманием и будет думать не только о тех бедах и ужасах, которые пришлось пережить в тылу, о бомбовых атаках, нужде и разрушениях. Все это далось нелегко, но все же люди были на родине и пользовались свободой, хотя она и была ограничена беспощадной диктатурой.

В углу палаты, где собрались другие больные, разгоралась дискуссия. В размышлениях и спорах о будущем слышалась большая тревога. Одного берлинца спросили, какую он избрет профессию, ведь он был кадровым военным — больше ничему не обучался, тем более, что Германия разделена и в Берлине властвуют русские. Он сказал, что в каждом государстве, при каждом режиме требуется учреждение, которое заботится о спокойствии и порядке. До сих пор он не мыслил свою жизнь без мундира, и будущую тоже не мыслит. Ему все равно, какой государственной системе он будет служить. После всех испытаний он имеет одно желание — жить.

Я думаю, он прав. Мы все мечтали о продолжении нашей жизни, сохраненной ценою таких испытаний. Но не каждый из нас был готов идти ради этого на любые уступки и находить достойной любую жизнь, каксж бы она ни была.

Дискуссия вспыхнула после того, как один из больных повторил слух о том, что скоро больных отправят на родину. Трудно было понять, как этот слух зародился: был ли он

чьей-либо фашазпей *или* имел под «обои реальную подоплеку. Вскоре мы узнали, что слух распространился по всему лагерю и, наверно, имеет какие-то основания. Нас волновало множество вопросов. Вся наша жизнь на фронте и в плену была непрерывным испытанием. Перенесли ли мы его без непоправимых психических и физических последствий? Можем ли мы считать себя тем «материалом», который еще пригоден в условиях гражданской жизни среди людей, которые тоже были подвержены испытаниям? Сумеет ли мы когда-нибудь забыть пережитое и вернуться к нормальной жизни?

Когда меня выписали из лазарета, я был еще нетрудоспособным и меня записали в ОК (в отдыхающую команду), то есть отнесли к выздоравливающим.

Расставаясь со мной, врач сказал, что у него есть возможность отправить меня домой, так как скоро больных австрийцев должны везти на родину. Он предложил включить меня в их число. Мне эта перспектива казалась просто невероятной, совершенно нереальной. Ведь у меня перед глазами стояла картина, увиденная во сне 2 мая 1941 года в венской казарме, в первую ночь моих солдатских будней. Мне снилось, как я вернулся домой, мой сын шел рядом со школьным ранцем за спиной; это могло случиться не ранее позднего лета 1946 года, когда сын стал бы уже школьником, если он вообще остался жив. Вот уже более двух с половиной лет меня считают без вести пропавшим.

Меня вызвали на русскую комиссию, где решающее слово было за доктором Кринкхаус и старшим лейтенантом НКВД. Оба были ко мне расположены, знали о моих многочисленных болезнях, в том числе и о последней — малярии, видели, как она меня потрепала. Разногласий не было, и меня, как больного и нетрудоспособного, внесли в список отправляемых домой. Отpravку больных и нетрудоспособных нельзя рассматривать только как некий акт милосердия, тут руководствовались и трезвым рассуждением: «Они не являются для нас рабочей силой, это — лишние едоки. Война закончилась, пусть противник сам заботится о своих людях, об их лечении и питании».

Меня послали в складской барак, и я получил там другой, чистый мундир и более добротную обувь. Все это казалось мне чем-то нереальным. На следующий день нас, всех австрийцев, которые должны были ехать домой, вызвали к караульной будке, чтобы затем строем везти на вокзал. Это было в воскресенье утром. Все* вызывали поименно, кроме меня. На мой вопрос, почему меня не вызвали, мне сказали, что я зарегистрирован как немец и поэтому не могу ехать, так как отправляют только больных австрийцев. Я сказал,

ч го, видимо, произошла ошибка при регистрации Я всегда указывал, что я австриец и могу доказать это документами Я показал им мои государственные аттестаты Они посмотрели их и сказали, что ничего не могу! сделать, как как в воскресенье канцелярия не работает. На следующий день я смогу внести ясность относительно своей национальности и меня отправят следующим этапом для больных, который отбывает через несколько недель. Но он формировался из немцев, и я снова не мог ехать, так как был австрийцем.

Когда я вернулся к баракам, мои австрийские товарищи никак не решались заговорить со мной. Они думали, что я совсем убит горем, мое спокойствие было для них полной неожиданностью. Я им сказал, что был бы очень удивлен, если бы все прошло гладко Кроме того, при моей слабости после болезни я мог бы не перенести длинную дорогу.

Я напомнил им, как в тяжелые часы плена я всегда говорил, что надеюсь и верю в наше возвращение домой. Ч го касается меня, то это будет приурочено к началу учебы сына в 1946 году. Я же видел его в последний раз в сорок первом, когда ему было всего 10 месяцев, а в свидении он шел рядом со мной в синем матросском костюмчике, матросской шапочке на голове и со школьным ранцем за спиной. Именно таким он меня и приветствовал, когда 15 августа 1946 года я действительно вернулся. Правда, ранец еще лежал в комнате и сын не надел его, потому что занятия в школе начались лишь через три недели.

И перед этой неудавшейся отправкой у меня было смутное предчувствие неудачи, и я даже начал сомневаться в пророческом смысле сна, который за четыре года войны и плена сначала тревожил меня, а потом неизменно ободрял и укреплял в моих надеждах. Наконец, я истолковал сон как лишь указание на то, что дома я окажусь очень нескоро, хотя это непременно произойдет. Меня не особенно удивляла способность, позволявшая мне предвидеть будущие события часто весьма точно. Этот дар был у меня всегда, сохранился и поныне Я родился под созвездием Стрельца, говорят, что люди, рожденные в эти дни, могут обладать такими способностями.

Весть о моей неудаче из-за неправильной регистрации распространилась по всему лагерю и имела важные последствия. Другие австрийцы тоже стали выяснять, как их обозначили в соответствующей графе. Особенно это касалось тех, кто уже давно был в плену, так к^ при первой регистрации переводчиком был немец из Рейнской области, Августин, в общем-то, приятный малый. Каждому он задавал вопрос насчет национальности С итьямицами, юлтандцами, румынами, хорваыми не бы «о проГ^Т о ко ы к ю-либо на и,шал с сои л гс пит

цсм, как л о всс1да делал я, он говорил, чю ,аких больше не существует: «Вы немцы, как и мы». Я каждый раз возражал ему, но какую он делал запись, я не знал. Мой друг из Грюнбурга решил это проверить, что при его работе было совсем не трудно. Он увидел, что и сам зарегистрирован как немец. Многим землякам Грюнберг помог соответствующим исправлением в регистрационном листе. Все они были жертвами милого Августина.

По инициативе доктора Кринкхауз, которая явно благоволила к австрийцам, Харрера также вызвали на комиссию. Но у него все произошло по-другому, домой его не отправили по иной причине. Он с грустью рассказал мне об этом. Намного раньше, чем все мы, он узнал о готовящемся этапе для больных и втайне питал надежду. Его вызвали на принимающую окончательное решение «большую комиссию» в поликлинику. Он, как обычно в таких случаях, должен был раздеться догола (мы называли это осмотром мяса) и предстать перед комиссией, которая состояла из гражданских и военных и куда входили также врач Кринкхауз и старший лейтенант Клейнеман из НКВД. Когда подошла его очередь, доктор Кринкхауз объяснила, что он инвалид и непригоден для работы, что он уже перенес много различных заболеваний, в том числе дизентерию и малярию, а также несколько несчастных случаев. Как рабочую силу его рассматривать никак нельзя. Поэтому она предлагает отправить его домой. Он понимал, о чем говорят русские и был уже преисполнен радостных надежд. Но Харрер делал вид, что ни слова не понимает по-русски. Затем ему сказали, что он может идти, он повернулся и уже хотел выйти, но тут старший лейтенант Клейнеман преградил ему путь и спросил: «Лейтенант Харрер, вы ведь офицер?» Вилли сказал: «Да». Тот взмахнул перед его носом рукой, как строгий учитель, и огорошил: «Офицеры не отправляются домой!»

Для Вилли это было ужасным ударом, и в первый момент он лишился дара речи. Затем только и смог выдавить: «Когда-нибудь наступит день, когда и офицеры поедут домой. Буду ждать».

Когда он вышел из поликлиники, у него слезы текли по щекам. Однако его мрачное настроение рассеялось, как только он узнал о моем злосудии.

В число отъезжающих все же попал один венец, который перед самым окончанием войны предпринял попытку к бегству и был схвачен. Избитого до крови, его приволокли в лагерь и три недели продержали в карцере на воде и 200 г хлеба. Разумеется, от этого он вконец отощал и затем попал в чазарет к дистрофикам и как неработоспособный бы ч с

первым же рхапом отправлен домой. Вот уж, действительно, ирония судьбы, за попытку к бегству он был награжден первоочередным освобождением, а другие, будучи работоспособными, еще долго оставались в плену. У Харрера еще стоят перед глазами три товарных вагона, в которые люди из лагеря носили солому, а «счастливики» усаживались на нее, чтобы первыми вернуться домой. Он утешал себя мыслью, что их будущее тоже не совсем ясно и, может быть, лучше пока оставаться здесь. Кто знает, как встретят их любимые и близкие и будет ли новая жизнь лучше прежней?

Условия в лагере все улучшались. Но мы еще не знали, что решающую роль в этом играла умелая и энергичная организаторская работа наших товарищей в лагерном управлении, постаравшихся завоевать доверие русских служащих, с которыми некоторые из пленных даже стали друзьями, так что просьбы заключенных часто находили понимание. Мой друг из Грюнбурга был одним из них, я знал, какую положительную роль он играл, хотя из скромности он никогда об этом не говорил.

Я медленно поправлялся после малярии и вскоре вновь пошел работать, правда, опять лагерным электриком. Вечно что-то было испорчено. С фабрики по-прежнему тайком выносили моторы для разных нужд, и линия, идущая от трансформатора, была весьма перегружена. Однажды принесли двигатель мощностью 15 квт, чтобы установить насос в нашем колодце, который требовал максимум от 2 до 2,5 квт. Насос чуть слышно всхлипнул, и ток во всем лагере отключился, причем, электродвигатель не сделал ни одного оборота. Для меня было загадкой, как, несмотря на контроль, сумели пронести через фабричные ворота этот большой и тяжелый мотор. Чего не сделаешь ради буханки хлеба! А вот зачем понадобилось качать воду электрическим насосом, мне было непонятно. Ведь вода залегала очень близко к поверхности, кроме того, была заражена трупным ядом и опасна для здоровья. Однажды, в октябре, снова началось большое волнение: готовился новый этап, на этот раз с немецкими больными военнопленными. Вновь собралась «большая комиссия» для отбора больных. Я тоже заявил о себе, так как мне обещали, что я смогу поехать следующим поездом, который пойдет в Мюнхен. Но и в этот раз меня не взяли, потому что теперь я был зарегистрирован как австриец, а отправляли только немцев.

Работать лагерным электриком становилось все неприятнее, время было дождливое и быстро холодало. Однажды ко мне пришел Харрер и сказал, что вызвался работать автомехаником, после переключк^ поляк ВПВС сделал такой за-

прос. Вилли узнал, что необходимо отремонтировать немецкий тягач. Имеются три негодных тягача, и из их деталей требуется собрать один действующий. Он решил рискнуть, так как в немецком вермахте несколько раз ремонтировал такие тягачи. Кроме того, ему разрешили подыскать себе помощника, и он подумал обо мне. Моя работа зависит от погоды, а зимой лучше трудиться под крышей. Я обратил его внимание на то, что никогда не занимался этим, но охотно поработал бы с Вилли, если я ему нужен. Он ответил, что ему надоело слоняться по лагерю, а после окончания войны офицерам разрешено браться за любую работу.

На следующее утро мы отправились к находящейся неподалеку от лагеря автомастерской с бензоколонкой. При этом он мне рассказал о разговоре с Витусом.

Витус распределял пленных по бригадам, и когда Вилли вызвался идти на работу, тот первым делом заговорил об ущербе, который нанесли немцы России, а теперь обязаны возместить его. Но если бы это действительно было возможно, то каждый пленный должен был бы прожить в Советском Союзе почти шестьдесят лет. Как офицер, заметил Витус, Харрер может не работать, но моральная обязанность каждого немецкого пленного — хорошо и добросовестно работать, чтобы помочь ликвидировать эти потери. Этот заученный монолог поляк повторял часто. К этому его обязывало и положение верного слуги русских.

Сначала он послал Вилли в бригаду каменщиков на стройку, где уже закончили кладку. Нужно было установить стальные конструкции на крышу. При этом Харрер стоял на узкой кирпичной стене на втором этаже и принимал тонкие стальные конструкции, которые поднимались лебедкой. От высоты у него так кружилась голова, что он еле устоял. Его нога еще не была достаточно подвижной, хотя лечение массажем дало некоторые результаты и она уже немного сгибалась. Для работы, при которой приходилось нагибаться, сгибать ногу в колене и держать равновесие, он еще не годился. Поэтому работать по-настоящему он не мог. Он был очень благодарен своим товарищам, которые щадили его и давали посильные задания, иначе он сорвался бы уже в первый день. Вилли прилагал все усилия, чтобы первый день прошел без несчастного случая. Многие за него делали товарищи. Работать в этой бригаде и во второй день он никак не хотел, ибо определенно упал бы, да и совесть не позволяла переваливать работу на чужие плечи. Спасение пришло вечером после перековки, когда Витус объявил, что ищут автомехаников.

Еще за день до разговора со мной Харрер побывал в мастерской, все осмотрел, потовори с начальником и сказа г

что ему иуж^н помощник. Русский поручил ему самому подыскать себе помощника, и он сразу подумал обо мне. Мы стали вместе работать в мастерской, менее чем в 300 м от лагеря, у самой железнодорожной насыпи. Вилли показал мне тягач, который мы должны были отремонтировать, и два других, предназначавшихся на запчасти. В отличие от подлежащего ремонту, два других тягача были так занесены песком, что наружу выступали только отдельные части. Но его не испугало это унылое зрелище, хотелось взяться за работу. Сразу возникли трудности, так как подходящий инструмент практически отсутствовал. Мне это было давно знакомо: меня всегда немного смешила русская команда: «Взять инструмент!» — и при этом имелись в виду лом и кувалда. В автомастерской им тоже находилось чрезмерно широкое применение. Было еще несколько тупых зубил, обломанных напильников, изношенных гаечных ключей. Вилли сказал, что я внушал жалость, когда вечером, усталый и измотанный, возвращался в лагерь: плохой инструмент очень осложнял работу. Мы с Вилли образовали как бы отдельную рабочую группу из двух человек в бригаде Гёрке и так проработали месяц, пока тягач не был готов к эксплуатации. Вилли точно знал, что подшипники, которые ему удалось подогнать и отшлифовать лишь вручную, долго не выдержат, и теперь боялся, что машина испортится еще до первого испытания. И у него были основания для опасения, хотя все произошло совсем по-другому.

Он завел машину и выехал во двор. Вилли умел ездить на таких машинах, так как раньше как офицер пользовался ими в разных условиях. Он не успел объяснить русскому мастеру, как обращаться с машиной. Как только она появилась во дворе, русский сразу кинулся к ней и, не желая ничего слушать, сел за руль. Он не знал, что управлять надо с учетом поворота гусениц, а не только передних колес, как он это делал. При той скорости, которую он включил, этого было мало. Он поехал, вернее, машина с ним поехала на полной скорости вверх по откосу высокой насыпи железнодорожной линии, идущей с Кавказа на Москву через Сталинград. Он пересек ее, перескочив через рельсы, и покатился вниз. И вдруг машина внезапно остановилась, так как сломался топливный насос. Белый как полотно мастер вылез из машины. Ему просто повезло. А что было бы, если бы в этот момент шел поезд или машина перевернулась?

Харрер, конечно, попенял ему, сказав, что машина вышла из строя по причине неосторожной езды и потому вновь нуждается в ремонте. Но в то время, когда заканчивался еще первый ремонт, русский сообщил в лагерь, что мы < > в боль

шс не нужны, и нам должны были дать новую работу. Машина снова была поломана, и мы вновь понадобились ему на некоторое время. Но заполучить нас ему не удалось, потому что, как сказал Витус, он ничего не платил лагерю за нашу работу.

Наступило время уборки урожая. Харрер вспоминал о той поре как о лучших днях своего плена. В ближнем колхозе проходили практику студентки автомобильно-механического института Сталинграда, которые частенько проезжали мимо нас на грузовой машине, и когда она ломалась, Вилли устранял неисправности. Милые студентки были за это очень благодарны ему и приносили за работу огурцы и помидоры, крупную соль или кусок черного хлеба. Они были хороши собой и всегда в отличном настроении. Приятно было смотреть на них, босоногих, в воздушных платях.

С русским он договорился, чтобы тот ежедневно записывал им 101% выполнения, что означало дополнительные 200 г хлеба и черпак каши. Тогда не надо будет перечислять лагерю деньги в качестве премии. Как рабочая сила мы его мало интересовали. Но это длилось недолго. Рядом с нашей мастерской была вторая, которая тоже обслуживалась бригадой Гёрке. Начальник той мастерской часто приходил к нам и смотрел, как мы работаем. Когда он услышал от Гёрке, что мы со следующего дня будем свободны, он привел нас в свою мастерскую.

Мастерская состояла из просторного помещения с ремонтной ямой и закрывалась железными дверями. Кроме того, был еще один закрытый цех со станками для ремонта автомобилей. В этой мастерской ремонтировали грузовые автомашины, разбирали и дооснащали двигатели. Повсюду лежали разобранные моторы, которые нельзя было собрать из-за отсутствия каких-либо деталей. Снаружи цеха имелись навесы, под которыми тоже проводились разные работы, например, разборка двигателей. Здесь тоже их ремонтировали и готовили к эксплуатации, если удавалось найти недостающие запчасти. Многие двигатели нередко пускали на запасные части. Некоторые запчасти невозможно было доставать, так как на них был слишком большой спрос, например, малую ведущую шестерню, кольца и вкладыши для поршней, конические шестерни, детали дифференциальной передачи. Я разбираю дифференциальную передачу и промывал детали в керосине. Чаще всего приходилось извлекать отколотые зубья малой шестерни и плоского конического колеса. Если у нас еще были малые шестерни, то плоских конических колес почти не было. Но тут нас выручала совсем юная, пятнадцатилетняя электросварщица, которая мастерски приваривала отломанные ^бья сва-

рочным трансформатором, то есть пользуясь переменным током. Каждому, кто что-нибудь понимает в автомобилях, известно, с какой точностью изготавливаются эти эвольвентные фрезерованные зубья и как легко вывести их из строя. Сварочные швы на зубьях, конечно, приходилось шлифовать вручную. Отремонтированные детали показывали начальнику, он их проверял, и только потом их устанавливали. Долгой нагрузки они не выдерживали, и в скором времени автомобили опять поступали в ремонт. Харрер специализировался на ремонте грузовиков марки ЗИС. Эти тяжелые машины часто ездили по бездорожью сильно перегруженными, так что дифференциалы ломались, а затем снова ремонтировались.

Были также большие трудности с установкой шин. Мы не имели манометра. Давление в шинах приходилось определять наугад. Это нередко вызывало поломки и случалось, что грузовик доезжал до нас на обод ах.

Моей задачей было также разбирать под руководством мастера двигателя, снимать коленчатый вал, менять вкладыши подшипников и устанавливать новые уплотнительные кольца на поршнях. У нас был хороший бригадир — разумеется, поляк — который хорошо знал двигателя, умел обращаться с ними и приводить в порядок даже в примитивных условиях. Мне не доставляло особого труда выполнять столь непривычную для меня работу, так как бригадир или Харрер предварительно подробнейшим образом инструктировали меня. Убереечь одежду от грязи, конечно, не удавалось, спецовок нам не выдавали. В лагере каждого из бригады Гёрке узнавали по замасленной одежде.

Особенно этим отличался Харрер, ведь он часто работал в яме, сливая старое загустевшее моторное масло. Когда он отвертывал сливную пробку, черное масло по руке стекало на мундир. Эту работу он, конечно, не любил, но она имела одно преимущество. С каждым днем становилось все холоднее, возникала проблема отопления. Поначалу сжигали старое масло, при этом образовывалось большое количество дыма, который заполнял цеха, а в яме дышать было легче. Тут человек хоть как-то защищен был от холода, кроме того, над головой сохранялся слой сравнительно чистого и прозрачного воздуха, в то время как вокруг стоял сплошной чад. Промежутки дощатых стен были заполнены опилками. Выломав доски, выгребали опилки, поливали их маслом и жгли. Можно себе представить, какой при этом валил дым! Но запас опилок быстро таял. Вскоре им нашли замену, используя столбы телефонной линии, проходящей вдоль дороги. При густом тумане кто-нибудь, вооружившись «кошками», поднимался на с голб, перепиливал его под изоляторами и гнускал-

ся. Затем столб подрезали внизу, быстро распиливали и пускали на дрова. Когда туман рассеивался — и держался он порой не один день - открывалась странная картина: между двумя столбами раскачивался на проводах линии обрубков с изоляторами. Уцелел лишь каждый второй столб. Все деревянные ограды и все, что могло гореть, постепенно исчезало, превращаясь в топливо.

Благодаря образцовой работе Вилли Харрер - русские его звали Василием — был на лучшем счету у начальника. Однажды тот привел его в свою контору, где уже сидели трое русских. Начальник велел ему присесть, достал из ящика стола стакан, бутылку водки, наполнил стакан и предложил ему выпить. Вилли сказал по-русски: «Не могу... военнопленный!» Однако начальник настаивал. Вилли не хотел обижать начальника, к тому же ему дали еще и хлеба. Он выпил водку и съел хлеб. Но водка оказалась ему не по силам. Он еле добрал до гаража, а вскоре предстояло возвращение в лагерь. Вилли был почти не в состоянии идти, во всяком случае — без помощи. Он рассказал нам, как было дело. Употреблять алкоголь военнопленным строго запрещалось, и Вилли мог на несколько дней угодить под арест. Мы решили взять его под руки и, окружив с двух сторон, повели в лагерь, охране у будки мы сказали, что у него только что был приступ малярии. Так мы довели его до нар. Ему же было не до ужина, он сразу прилег и уснул. На его счастье, все обошлось без последствий.

Харрер рассказал мне, что в начале года старший лейтенант Клейнеман вызвал его в свой кабинет и спросил, чем он, собственно, занимается. Вилли сказал, что из-за ранения стал инвалидом с негнущейся ногой и может выполнять лишь вспомогательную работу. Клейнеман ответил ему, что офицеры вермахта гнали своих солдат в атаку, вели их на гибель, а в плену о земляках не заботятся. Было бы разумно, если бы Харрер побольше уделял внимания пленным австрийцам. Клейнеман дал ему брошюру, изданную антифашистским комитетом австрийских военнопленных.

В этой брошюре были и написанные ими статьи, и материалы о расстановке политических сил в Австрии и военном положении. Вилли, в частности, узнал о новом правительстве во главе с Карлом Реннером. Кто был издателем брошюры, выяснить не удалось. Получив брошюры, Вилли созывал как можно больше земляков и читал статьи вслух, что затем переходило в горячие* дебаты. После этого его часто вызывал Клейнеман и расспрашивал о реакции товарищей. Вилли описывал ее в самом общем виде, но русский офицер этим не удовлетворялся и хотел точно знать, кто что сказал. Вилли

же никому не |келал навредить. Зная по опыту, что из него пытаются сделать доносчика, имен Харрер не называл.

Я вспоминаю, что этот энкаведешник меня тоже вызывал к себе и задавал подобные вопросы. От меня он также получал лишь общую информацию, но никогда не слышал имен. В конце концов он оставил меня в покое. У Харрера он допытывался о взглядах наших земляков на Советский Союз. Но Вилли уже убедился в том, что от военнопленного нельзя ожидать продуманных, зрелых политических суждений по таким вопросам и опять-таки давал общую картину взглядов, но не говорил, кому они принадлежат. У русского, видимо, создавалось впечатление, что Харрер либо не хочет, либо не может дать нужную информацию, так как не подходит для такой задачи, может быть, слишком глуп. Во всяком случае, с того времени его оставили в покое, как и меня.

Наступил ноябрь, и Харрера вновь вызвали в НКВД. На этот раз там сидел молодой мужчина, который говорил на хорошем немецком языке, даже с австрийским акцентом. Это был явно не военнопленный, а, скорее, принадлежал к детям рабочих, скрывавшихся от властей после февральского выступления 1934 года. Он говорил на самые разные темы, но не о личном, а затем коснулся вопроса о предстоящих выборах в Австрии. Он спросил Вилли, за какую из трех партий: социалистов, христианскую народную или коммунистическую тот бы проголосовал. Вилли ответил, что голосовал бы за социалистическую партию, и привел свои аргументы. Затем его спросили об общих впечатлениях о Сталинграде, особенно о лагере. Ответы Вилли вряд ли пришлись по вкусу. После этого его-спросили, интересуется ли он политикой и не хочет ли повышать свое образование. Вилли ответил, что охотно расширял бы свой политический кругозор. Поскольку он инвалид и не может работать, то имеет достаточно времени для чтения. Все, что ему предлагали, было интересно, и он использует всякую возможность для получения новой информации. На этом разговор закончился. Своего собеседника Вилли встретил еще раз, много позже, в декабре сорок пятого в лагере № 165 в Талице.

В это же время меня тоже вызвали в НКВД к тому же молодому человеку, и я был вовлечен в довольно эмоциональную политическую беседу. Помимо всего прочего, я сообщил, что уже с самого начала отвергал национал-социализм, как только прочел «Майн Кампф» Гитлера, и отказался от службы в качестве государственного чиновника. Потому что иначе пришлось бы стать членом НСДАП или хотя бы одного из ее детищ — СА, националистического клуба автомобилистов или СС. Прочитав опус «фюреру я пой «ч тто

Гшлсер и его люди ютовили, а затем неожиданно развязали вторую мировую войну. Я знал о свирепом антисемитизме нацистов, но ничего не знал о массовых казнях. Я обдумал все и решил, что просто не вынесу участи официального чиновника. Я понимал, если они выиграют войну, то меня, как штатного служащего, пошлют куда-нибудь на периферию и наверняка будут считать заблудшей овцой. Если же они проиграют войну, на что я надеялся, то мне как «наци» пришлось бы расплачиваться за убеждения, которые я всегда ненавидел. Намного легче держать ответ за собственные взгляды.

Наконец, он меня спросил, хочу ли я продолжить свое образование, ибо для меня есть возможность посещать «антифашистские курсы». Я сказал, что согласен. Конечно, я с самого начала понял, что русские пытаются сделать из нас своих сотрудников. Для этого они готовы преподать нам основы марксизма. Но именно это и интересовало меня. Я же вышел из политически активной, строго католической семьи, затем вник в идеи национал-социализма и пережил его губительные последствия. Теперь мне представлялась возможность ознакомиться с третьей, актуальной в то системой взглядов. Правда, я не знал, как отнесутся ко мне, когда узнают, что коммунизм вызывает у меня чисто теоретический интерес. Ведь я согласился на антифашистскую, но не коммунистическую учебу и сделал это в строгом соответствии со своими убеждениями.

Поездка на курсы антифашистов

21 ноября 1945 года Вилли и меня, наряду с некоторыми другими австрийцами и немцами, поименно вызвали к будке охраны, где сообщили, что нас переводят в другой лагерь. До этого нам выдали чистые мундиры. Этап был укомплектован, и в тот же день мы прибыли в лагерь № 108 в Бекетовке. Вечером был концерт в духе варьете, который давали военнопленные. У нас возникло чувство, что теперь, после долгих лет пребывания в пустынной местности под Красноармейском, которая летом выгорала от жары, а зимой застывала от мороза, для нас понемногу начинается новая жизнь. Может быть, этому отчасти способствовало варьете, может быть, гамбургская песня «Под красным фонарем Санкт-Паули», которую многие из нас слышали впервые. Варьете и особенно песня еще выше подняли радостное настроение, которое охватило многих из нас еще при отъезде из Красноармеиска

На следующий день нас погрузили в вагоны. В центре каждого из них находилась маленькая железная печка с трубой, выведенной на крышу, справа и слева от нее располагались нары. Было уже очень холодно. На ближайшие две недели вагон становился нашим домом. Начальником караула был русский младший лейтенант. Путь пролегал через студеной снежный край, и по мере продвижения на север снег все плотнее укрывал землю. Проблем с едой поначалу не было, но с топливом вскоре возникли трудности, так как об этом заранее не позаботились. Пришлось обеспечивать, или — как говорили в армии — «организовывать» его самим. Часто это происходило так: поезд останавливался на каком-нибудь глухом полустанке, железнодорожный служащий выходил из служебного помещения для выполнения своих обязанностей. В это время несколько пленных выскакивали из вагона так, чтобы он не мог их видеть, бежали в пустое, никем не занятое помещение, снимали дверь и приносили ее в свой вагон. Там ее разбивали, дружно ударяя каблуками, и превращали в дрова.

Запас еды вскоре стал истощаться, и наконец ее не осталось вовсе. Был ли в этом виноват младший лейтенант, который, возможно, плохо распределял дневной рацион или использовал продукты для каких-то иных целей, мы не могли знать. Во всяком случае, в последние дни у нас не было никакой еды. Высказывалось предположение, что нам дали с собой продуктов на одну неделю, а поездка продолжалась две недели. Положение — хуже некуда, ни еды, ни тепла, а дороге конца не видно. И тут надо было как-то выручать самих себя. Нередко на остановках нам попадались на глаза эшелоны с зерном, кое-кто из нас подползал под вагон и находил в днище плохо закрепленную доску или трещину. Тут пускали в дело острый железный прут, проделывали отверстие и подставляли тару под струйку зерна. Так мы наполняли свои котелки или консервные банки. Затем зерно смешивали со снегом, разваривали и ели. Попадались нам и вагоны с замерзшей до каменной твердости сахарной свеклой. Мы приносили ее в вагон, оттаивали, нарезали и варили. Наконец, через Рязань и Владимир, мы доехали до поймы Оки.

Во Владимире изрядную часть ночи простояли на большой товарной станции. Нам довелось наблюдать совершенно незнакомую систему формирования составов. Грузовой поезд ставили на холме, от которого вниз расходились несколько перекрещивающихся рельсовых путей, и там, где был ровный участок местности, формировались новые составы. От поезда на холме поочередно отеплялись отдельные вагоны локомотив подавал ^аждый не юю чазаа вагон ехат

лод лсм без яко по< рочиейс^ іі лну перевод и присоединяясь к новому составу 1 орможение достигалось силой трения и устройством, имеющимся в каждом вагоне, и таким образом вагон останавливался там, где требовалось. Чтобы избежать столкновения, на рельсы устанавливали тормозные «башмаки». Так постепенно вагоны перекатывались из одного состава в другой.

5 декабря, совершенно измотанные, мы прибыли на конечную станцию Вязники в 300-х километрах от Москвы и 120-ти от города Горького и покинули свои вагоны. Нам открылся великолепный зимний пейзаж, глубокие снега, лес вокруг и яркое солнце в синем небе. От вокзала предстояло пройти несколько километров пешком к поселку, расположенному в небольшой низине. Мы уже не чувствовали холода: пригревало солнце, да и от ходьбы становилось теплее, хотя под ногами скрипел снег. Мы вспомнили о том, что на родине сейчас празднует день Крампуса — спутника Деда Мороза, это — праздник первого снега, одно из самых дорогих впечатлений детства многих из нас. Но здесь зима уже вошла в полную силу. Нас привели в какой-то дом и покормили. Нам выдали по 20 г сала, 200 г хлеба и немного сахара. Не слишком богато, но все же еда. Низенький сутулый старший лейтенант в больших валенках сказал нам, что мы попадем в лагерь, где будет и тепло, и достаточно сытно, но туда необходимо идти пешком. Он пойдет впереди, а мы должны следовать за ним. Мы спросили его, далеко ли до цели и узнали, что 45 км. Тут нам стало понятно, что для некоторых из нас это может быть последним походом. Вилли взял свою клюку, и мы отправились в путь. Сначала перешли по льду реку Клязьму, приток Оки, и через некоторое время миновали первую деревню с настоящими русскими избами, на крышах которых лежали толстые снеговые подушки; все тонуло в глубоком снегу. Некоторые из нас остались в деревне, так как уже не могли идти. Но мы, Вилли и я, решили двигаться, вернее, тащиться дальше. Стемнело, наступила ночь, было, вероятно, около 10 часов, когда мы добрались до следующей деревни. От усталости мы едва переставляли ноги, двигаясь, как во сне.

Те, кто еще не обессилел окончательно, пошли вперед, а многие стучались в дома, просясь на ночлег, но им не открывали: узнав, что мы военнопленные, хозяева стали опасаться, как бы не подождгли их дома. Наш русский офицер добился наконец разрешения переночевать в помещении сельского совета. Этот дом, как и прочие, был деревянным. В комнате площадью примерно 30 кв. м трудно было поместиться шести десяткам человек, но, тесно усевшись на полу, мы все же смог-

in как-то передохнувь за ночь и набрахься новых сил для остатка пути.

Вилли опустился на пол в углу Там было отверстие в деревянном полу для стока воды при мытье полов, оттуда очень дуло. Он закрыл дыру своим котелком. Помещение, видимо, давно не протапливалось, только живое тепло наших тел кое-как согревало воздух. На улице стоял двадцатиградусный мороз. На следующее утро нас подняли и повели дальше. Необходимо было преодолеть еще 25 километров. Снаружи нас опять ждал ослепительный, прекрасный зимний день. Путь проходил через еловый лес по просеке, заснеженные ветви свисали до земли. Мы шли и шли за нашим русским проводником. 25 километров — это дальняя дорога. Мы уже давно не ели по-настоящему, ночью толком не выспались, прошедший день отнял у нас все силы, и тем не менее приходилось как-то шагать, вытаскивая ноги из сыпучего снега. Ни я, ни Вилли не были готовы к такому переходу. Два месяца тому назад нас чуть не отправили домой в числе больных, мы смахивали на скелетов. А теперь перед нами лежал путь, который в таких условиях и здоровым-то одолеть не просто. Но русский бодро шагал вперед, а за ним шли те, что покрепче. Остальные тащились растянутой цепью. Все понимали, что если не дойдем до лагеря, исход один — умереть от голода или замерзнуть в снегу.

Один из наших товарищей, венец Мидлер, просто валился с ног. Шатаясь, он свернул с протоптанной дороги, заметив покрытый глубоким снегом стожок сена. Мидлер отгреб снег и зарылся в сухое сено. Ему повезло: на следующий день его нашли еще живым и отвезли в лагерь. На розыск была выслана целая поисковая команда. Мы с Вилли тоже совершенно обессилели и сами не понимали, каким чудом приводятся в движение ноги. Тут мне вдруг страшно захотелось сесть на голый темный пень у дороги, который словно манил к себе. Вероятно, еще до меня на нем уже сидел кто-то из наших. Солнце пригревало так ласково, что нельзя было отказать себе в передышке. Вилли с тревогой смотрел на меня, он не садился, так как знал, что потом не встанет, и продолжал стоять, опершись на клюку. Я же сел и мгновенно забылся. Несмотря на все увещания, Вилли не удавалось меня поднять. Но это было необходимо, иначе я определенно замерз бы. Тогда он ударил меня несколько раз клюкой, с которой не расставался из-за своей негнущейся ноги. Как опытный альпинист он знал, что нужно делать в таких ситуациях. Я по сей день ему благодарен за то, что в тот миг он оказался настоящим другом, заставил меня встать и вернулся к жизни Ударов я, правда, не ощущал, но все-таки как-то

ожил, и мы, шатаясь, двинулись дальше. Наступили сумерки, и страшно было подумать о ночи, которую предстояло провести в этом лесу.

Вдруг мы услышали уже знакомый нам звон бубенцов. Мы вышли на санный путь. С обеих сторон к нам приближались типично русские санные повозки, порожние и с дровами. Маленькие косматые лошадки бодро бежали рысью под звон бубенцов. На облучках саней сидели румынские пленные в высоких меховых шапках и коричневых румынских шинелях. Ехавшие нам навстречу сани были без груза, а загруженные дровами двигались в одном направлении с нами, но проезжали мимо. Тут Вилли сказал, что теперь можно сделать привал: кто-нибудь нас подберет. Какое-то время мы сидели на снегу и махали возницам, но никто не остановился, и нам пришлось подняться, чтобы снова идти, так как сумерки сгустились. Вскоре лес расступился, мы увидели рубленые дома с мерцающим светом маленьких окон и повеявшими теплом дымящимися трубами, лагерный забор и ворота с ярко освещенной площадкой перед ними, словом, отрадную картину. Мы прибыли в лагерь № 165, ранее — лагерь для малолетних преступников, который был распущен в начале войны и переоборудован в лагерь для военнопленных. Все беды кончились. Нам предстояло пробыть здесь более полугода. Шатаясь, мы двинулись к воротам, но охранник нас не впустил, а велел идти вдоль забора мыться в бане. Мы толкнули дверь, и нас обдало волной жаркого пара, мы сделали еще пару шагов и упали на ближайшую скамейку. Встать уже не могли. Банщики, тоже пленные, подняли нас, раздели, затем, как обычно, помыли горячей водой из деревянных шаек. За это время наша одежда освобождалась от вшей в дезинфекционной печи. Потом пришлось идти к ней за одеждой, каменный пол вокруг был так горяч, что жгло ноги. Мы получили свою одежду. После этого нас отвели в рубленый дом без освещения. В свете прожекторов, проникающем через маленькие окна, мы разглядели стоящие вдоль стены деревянные нары. Мы бухнулись на те, что были поближе, и погрузились в полное забытие.

1946 год

Жизнь в антифашистском лагере

Когда мы проснулись, было уже совсем светло. Не успел Вилли открыть глаза, как услышал возглас: «Это же Вилли Харрер!» Он уставился на говорившего, но не узнал его и удивленно спросил, откуда тот его знает. Оказалось, что перед ним стоял Генрих Сейзер. Его Вилли помнил полуживым дистрофиком, почти скелетом, которых мы называли «кандидатами в покойники». Из нашего лагеря его отправили в Урюпинск на реабилитацию. Там его откормили, и он стал весить уже 80 кг. Оттуда Генриха перевезли в этот лагерь. Поэтому не удивительно, что Вилли его не узнал, зато Генрих узнал Вилли, остававшегося таким же худым, как и прежде.

На завтрак мы получили добавку за вчерашний ужин, за которым были не в силах идти, — полный котелок слегка подслащенной каши и немного хлеба. Наконец-то мы опять сыты. Теперь, после тяжелых испытаний на выносливость в последние дни, все у нас было в порядке. Мы жили в теплых помещениях среди лесов с чистым воздухом, достаточным количеством еды и имели возможность отдохнуть. Это был лагерь N¹ 165.

Наступило очень интересное время, и, думаю, для всех нас. Мы перестали размышлять о том, был ли у нас, больных, шанс раньше отправиться домой, если бы мы остались в лагере Красноармейска, хотя все наши помыслы были связаны с возвращением. Мы строго соблюдали распорядок: половину дня отдавали работе, половину — занятиям. Они проходили в форме семинаров. Мы были распределены на 4 группы по 15 человек в каждой. На групповых занятиях каждому предлагалось высказаться по обсуждаемой теме, хотя речь заходила и о личных вопросах. Постепенно мы начали уяснять, как живет и функционирует общество, основанное на коллективных началах, например колхоз — своего рода общий жилой дом Теоретически — ег^тш коллектив

СОСТОИТ ИЗ И/ГСП ЫГЫ\ ПО/И' 'т fb< НК,\ >тф^х ' ' " ^ Т! ' ЫХ

условиях — он представляет собой одну из лучших форм демократии. Но как быть, если люди не заинтересованы в обобществлении и решении проблем коллектива? Тогда дом, в котором они живут, начнет со временем разрушаться, все будет портиться, так как принадлежит государству, народу и никому конкретно. Управление сосредоточено в руках бюрократов и является для них прежде всего источником личного дохода. Они не вникают в проблемы конкретных живых людей, но лишь ожидают указаний из центра. Однако центральные инстанции слишком неповоротливы и не могут своевременно уяснить насущные потребности людей. Другая крайность коллективного существования состоит в том, что некоторые честолюбивые, слишком самоуверенные и драчливые субъекты превращают жизнь общего дома в настоящий ад, особенно если их подталкивают извне, используя партийные рычаги. В авторитарном государстве коллектив может стать орудием подавления всякого рода нелояльности. Коллективный дом — это маленькое чистилище. Однако и нам вначале пришлось вкусить коллективистской закваски. На занятиях каждому предлагалось говорить о себе, своем прошлом, профессии, деятельности на производстве, взглядах на войну и плен, о собственных планах на будущее, о послевоенных путях общественной жизни. От каждого добивались активного участия в обсуждении. Тем, кто умел думать своей головой, было ясно, что эти разговоры должны служить не только для преодоления боязни многих людей высказывать свое мнение в более широком кругу, но и для оценки руководителем группы.

Сам я выслушал не один упрек в свой адрес, когда рассказывал, как в качестве руководителя строительства бункеров для нашей зимовки в большой излучине Дона обращался с русскими пленными. На строительстве бункеров, осуществляя общее руководство, для каждого бункера я выбрал руководителя из круга своих товарищей, которым предстояло жить в них. Сам же я руководил строительством подземного гаража для наших автомашин, для чего в качестве основной рабочей силы получил военнопленных. В своем рассказе я упомянул и о том, как заботился об их регулярном питании, о том, как распорядился привезти с нашего продовольственного склада пшеницу и гречку, которые не употребляли немецкие солдаты, а затем — конины, о снабжении пленных табаком, о том, как ходили в лес валить деревья и сопровождал пленных >f один и без оружия. Я отметил, что во время моей болезни, когда моими преемниками стали немецкие офицеры, русские пленные умирали, как мухи, так плохо с ними обращались, лишая еды, курева, заставляя работать без пере-

рыва. Вспомни[^] я и о скандале с немецким офицером, когда решил положить этому конец по возвращении из лазарета.

Мой рассказ не удостоился ни похвалы, ни признания со стороны руководителя, я действовал против интересов Советского Союза, создавая у пленных ложное представление о том, что и среди врагов, пособников капитализма, есть люди, которые хорошо к ним относятся.

Другой упрек я услышал от товарища, который прошел со мной войну и плен. Мне было сказано, что я сторонюсь других и веду себя вопреки духу коллективизма, не занимаюсь самокритикой. Слово «самокритика» мы слышали часто, она была чем-то вроде исповеди у католиков, очень удобным способом самооправдания, если возникло противоречие с общим коллективным мнением. Надо только вовремя набраться храбрости и получить отпущение грехов, чтобы потом снова замкнуться.

В третьем случае, уже в конце учебы, нас призвали поделиться своими планами на будущее. Тот же товарищ спросил меня, почему я не говорю, что дома примкну к коммунистам. Это был, конечно, каверзный вопрос, ведь я давно уже знал, что из нас хотят сделать активных коммунистов, несмотря на то, что семинары назывались просто антифашистскими курсами. Меня же просто интересовало, как в коммунистической стране представляют себе коммунизм и чем обосновывают материализм и атеизм.

Спрашивали и о моем отношении к войне. Я говорил, что всякую войну считаю величайшим из заблуждений человечества и вижу нашу первоочередную задачу в том, чтобы сделать невозможной любую войну в будущем. К своему удивлению, я услышал, что это ошибочное мнение, оно ведет к ослаблению мобилизационной готовности граждан, что войны необходимы для свержения власти капиталистов и создания «передового социалистического» общества во всем мире.

А на каверзный вопрос я ответил, что на курсах узнал много новых аргументов, которые должен всесторонне изучить, так как все знают, что я выходец из семьи ревностных католиков и от меня требуют большего усилия, чем от большинства других. Кроме того, в настоящее время я военнопленный и согласно Женевской конвенции мне нельзя делать политические заявления. После этого меня оставили в покое, кстати, и дома тоже не приставали.

То, что к людям с дипломами присматривались особо, подтвердил случай с преподавателем из Граца, это произошло в начале нашего пребывания в этом лагере, когда нам поручили не очень легкую физическую работу. Некоторые делали вид, что работают, не жалея с in, и их с ^тшли в

пример маленькому и щедедушному преподавателю, коюрый был еще и учителем физкультуры, но очень ослаб в плену. На это учитель неосторожно заметил, что не всякий, кто пыжится, работает по-настоящему, и часто за притворных активистов приходится работать другим. Этого замечания, как он сам мне возмущенно рассказывал, было достаточно для серьезного упрека со стороны руководителя группы, а затем и перевода в другой лагерь, кажется, куда-то в Сибирь.

Руководителями в нашей группе чаще всего были австрийцы из рабочих семей. В феврале 1934 года со своими родителями из социал-демократов, а некоторые и без родителей, они вынуждены были бежать в Советский Союз. Здесь они получили среднее образование, а некоторые закончили высшую школу. Во время войны они, убежденные антифашисты, действовали как пропагандисты и агитаторы. Некоторые участвовали в гражданской войне в Испании против Франко и после ее окончания вновь бежали в Россию. О наших лекциях и семинарах будет рассказано позже.

Нам было приятно, что на кухне работало много австрийцев, что придавало еде из обычных для лагеря продуктов, так сказать, австрийский привкус. На масленицу были приготовлены настоящие масленичные пышки. Как всегда была каша, но она стала разнообразнее, готовилась не только из пшена, но и из сои. Правда, соевая каша немного отдавала керосином. В моей группе был настоящий «сталинградец», крестьянин из лесного района Австрии, он делился со мной оставшимися порциями соевой каши. Вместо селедки мы получали соленую кильку. Многие отказывались и от нее. Эти небольшие - 10—12 см - рыбешки были очень соленые и горчили от желчи, а иногда при еде на зубах хрустел песок. Я и «сталинградец» съедали по несколько порций неочищенной кильки с головами и хвостами. Ведь она была почти единственным животным белком нашего рациона. Эта пища помогла нам восстановить силы и даже сыграла с нами вот какую шутку: когда мы прибыли в Вену и люди искали «сталинградцев», нас никто за таковых не принимал, их старались найти среди тех недавних пленных, которые отказывались есть соевую кашу и кильку и выглядели очень истощенными, как их представляли себе на родине. А мы уже приходили в норму. К завтраку часто выдавался небольшой кубик масла, как на родине в пансионе для иностранцев.

Жили мы в бревенчатых рубленых домах, отделанных внутри штукатуркой и, конечно, не без клопов. Помещения отапливались громадными кафельными печами, в которых мы сжигали большие охапки поленьев, поэтому даже суровой зимой наслаждались теплом. Но клопы гнездились в каждой

трещине, по йочам они не давали нам покоя, и мы вставали опухшие. Стояла настоящая русская зима. Все было заметно снегом, солнце появлялось в небе лишь к полудню и вскоре заходило. Зимой почти весь день уходил на семинарские занятия. Снег часто сыпал на протяжении целых часов при температуре 20—25° ниже нуля, и всюду лежал его пышный пуховый покров. Это затрудняло подвоз продовольствия, грузовые машины вязли на занесенных дорогах. Все сильнее ощущался недостаток продовольствия. Порции хлеба постепенно сокращались и наконец достигли только 100 г в день. Это означало, что если мы хотим получать нормальное довольствие, то должны сами привезти его на санях со станции, находящейся на расстоянии 20 км. Лошадей не было, тащить сани надо было своими силами, для этого требовался десяток крепких и выносливых парней. Мы с Вилли были в числе добровольцев. До обеда мы тащили пустые сани на станцию, а во второй половине дня везли оттуда тяжелый груз. Сорок километров пути по снегу. Мы знали, что другого выхода нет, никто не хотел умирать от голода. На станции нам погрузили 5 мешков отрубей по 80 кг, и мы тащили сани в лагерь по глубокому снегу. Было очень морозно, но тихо, и мы чувствовали себя хорошо. Сани шли легко, сухой воздух приятно бодрил. Эта поездка на лоне природы имела для нас и психологический стимул. Протащить сани десятки километров по снегу — дело нелегкое, но мы добровольно взялись за дело, важное для всех. И это ощущение испытывали не только мы, десяток добровольцев.

Однообразное питание и недостаток витаминов нередко приводили к куриной слепоте. В домах нового лагеря не было туалетов, и мы должны были бегать в уборную, а по ночам стояли сильные морозы. Уборная по санитарным соображениям была построена подалее от домов, чтобы в теплое время года оттуда в жилые и кухонные помещения не летели мухи, разносчицы эпидемий. Дальше 25 м мухи не летают, поэтому как минимум на таком расстоянии от домов должны находиться уборные, но они стояли намного дальше. Это было неудобно, особенно зимой и тем более для больных куриной слепотой, затруднявшихся найти дорогу ночью при единственном фонаре над входной дверью. Они ждали у входа, пока не появится кто-нибудь с нормальным зрением и не проведет больного под руку в оба конца.

Плохое питание ослабляло и зубы. Некоторые Яленные заболели цингой, среди них был и Вилли. Его зубы стали такими шаткими, что он, не чувствуя боли, раскачивал их, будто они торчали из резины Я, правда, цингой не страдал

Эту болезнь пытались одолеть американскими витаминными таблетками. К сожалению, они слабо помогали, кроме того, их было слишком мало. С наступлением весны, в конце апреля, ситуация сразу улучшилась. Уже начал таять снег, но мы, к нашей большой радости, успели завезти на санях дрова для топки печей и приготовления пищи.

1 мая состоялся спортивно-художественный праздник на свежем воздухе. В лагере были большие возможности и для подготовки культурной программы, взять хотя бы наш хор с 40 австрийскими и 80 немецкими певцами. На праздновании 1 мая он произвел большое впечатление. Я пел вторым басом, мы на четыре голоса спели: «Проснитесь» из «Мейстерзингеров», а затем под управлением штирийца Фреда Штайнмасля вальс Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Мы разучили целую оперетту и имели большой успех у русских. И хотя наши деревянные кулисы не блистали красотой, концерт прошел в настолько теплой атмосфере, что мы чувствовали себя людьми, а не пленными. Работа в лагере не требовала от нас чрезмерных усилий, мы могли уделять время интеллектуальным и творческим занятиям и уже не боялись за свою жизнь.

В бревенчатом клубе нам показывали иногда русские кинофильмы. Эти черно-белые ленты рассказывали о русской истории, например, о Борисе Годунове или о поражении Наполеона в России. Мы сидели в кино вместе с русскими. А когда загорелся свет, забавно было видеть, как весь пол усыпан шелухой от жареных подсолнечных, тыквенных и арбузных семечек. Если некоторые наши кинозрители любят сосать конфеты, то у русских была привычка грызть жареные семечки. Они с улыбкой называли их «русским шоколадом», так как настоящего шоколада почти не было и они научились обходиться без него. Кое-кто из наших товарищей перенял эту привычку.

В лагере очень беспокоились о нашем здоровье, особенно в отношении недостатка витаминов. Весна наступила быстро и дружно, солнце светило и грело весь день, снег растаял. Световой день здесь в это время долгий, быстро зазеленели побеги, появилась весенняя трава. Это было именно то, в чем мы так нуждались. Лагерное начальство снаряжало так называемые «витаминные команды» с одним конвоиром, которые приносили в наволочках съедобную зелень: черемшу и крапиву.

С Вилли, когда ему разрешили тоже пойти с командой, произошло приключение. В первый раз они принесли мало, так как держались рядом и бродили вблизи лагеря, где уже прошли до них. На второй день они разбрелись в разные стороны у какой-то реки. Вилли один перешел по мосту через

реку. Сначала бн искал только крапиву, к которой приохотился еще дома как к замене шпината. А вот черемшу в Австрии считали просто сорняком и вроде бы даже ядовитым. И только от «фольксдойчей» мы узнали о его ценных свойствах. Сбор крапивы осложнялся тем, что она в основном росла вблизи деревни, находившейся примерно в 5—6 км, но там были собаки, которые никого не подпускали. И Вилли перешел на сбор черемши, обильно произраставшей в лесу и на болотах. Он вытащил первый корень, очистил его от земли и с большим аппетитом съел. Затем, переходя от одного места к другому, набил полную наволочку. Тут он вспомнил, что в полдень должен быть в условленном месте, где всех ожидал охранник. Часов у него, конечно, не было. Вилли вышел на полянку и, забравшись на накренившееся дерево, посмотрел на солнце. Оно было уже в зените. И Вилли испугался, он уже опаздывал. К своему ужасу, он не знал точно, где находится, так как при поиске травы постоянно обходил воду, забредая в глубь болота, и терял ориентацию. Он начал соображать и вспомнил, что, перейдя через речку, шел вдоль берега вверх по течению, поэтому, ориентируясь по солнцу, надо попытаться найти реку. Вскоре он ее нашел. Теперь надо было идти вниз по течению, но как долго, он не знал. Быстрое продвижение затрудняли береговые кусты и промоины. Оставалось бежать прямо по воде, хотя она была еще очень холодной. Он стоял на берегу и думал, что предпринять. Тут он увидел на берегу несколько бревен, которые прибило при сплаве. Он наломал ивовых прутьев и связал примитивный плот, положил на него свой мешок, снял одежду, оставшись в одних кальсонах, положил ее на мешок, вошел в воду и поплыл вниз по реке, толкая плот перед собой. Угнетаемый страхом перед наказанием, он почти не чувствовал холода воды. На пути оказалась мель, через которую он с трудом протолкнул свой плот. Тут на берег выбежали собаки и, оскалив зубы, яростно залаяли на него, деревня была рядом с берегом. Но в воду собаки не сунулись, видимо, для них она была слишком холодной. Вилли стремился двигаться побыстрее, он вновь, не мешкая, переволок плот через мелководье и поплыл дальше.

Тут он услышал доносившиеся издали крики, его искали. Вилли заметил бегущие вдоль берега фигуры. Он вышел на берег со своим мешком и тут же натянул одежду, прямо на мокрое тело. Он боялся* что охранник ударит его прикладом, но тот стоял спокойно, зато отругали товарищи. Я тоже был там и очень беспокоился, ведь Вилли опоздал больше, чем на час. Охранник уже успел пригрозить, что пока пропавши[^] ^{т>} появшся, пик го не получит еды До-

ждавшись Вилли, мы пошли обратно в лагерь. Охрану у входа несла воинственного вида женщина с револьвером на боку, но занятая вязаньем. Она открыла лагерные ворота, пустила нас и вновь принялась вязать. Холодная вода не повредила здоровью Вилли.

Охрана этого лагеря вообще была очень гуманной. Позже со мной произошел такой же случай. Нас с охранником часто посылали в лес спиливать засохшие деревья, обрубить ветки, а потом распиливать ствол на метровые поленья. Норма была 10 кубометров на человека. Мы легко ее выполняли и оставшееся время часто использовали для сбора ягод в лесу и на болоте. Мы находили клюкву, голубику и чернику, которые у нас тоже растут на болотистых местах. Голубики было много, она выглядит как более крупная черника, но мякоть ягод у нее светлее. Этой ягодой мы часто заполняли свои котелки, но не осмеливались много есть, так как говорили, что она немного ядовитая и от нее пьянеют. Я частенько съедал по целой горсти, но никогда не пьянел. В лагере мы делили ягоды между теми, кто не выходил на рубку дров. Случалось, что в лесу мы находили настоящую красную смородину, такую же, как в наших краях, но она была немного мельче.

Однажды после заготовки дров мы пошли искать ягоды. Моим спутником был Альфред Ратцек из Вены, сбитый русским летчиком. Увлечшись сбором, мы забыли про время, а когда удосужились посмотреть на солнце, поняли, что уже давно пора быть в условленном месте у моста, но мы потеряли ориентацию. Я, как ранее Вилли, ориентировался по солнцу, да и чутье меня никогда не обманывало при выборе направления. У моего товарища совсем сдали нервы. Будучи летчиком, он привык ориентироваться с помощью приборов или по карте. Ему не верилось, что я могу найти дорогу, полагаясь на интуицию. Мы шли уже никак не меньше часа, наконец увидели реку и услышали крики наших товарищей, которые уже построились, чтобы идти в лагерь. Мы опоздали на 20 минут. От товарищей нам досталось не меньше, чем Вилли, но охранник не сказал ни слова, только подал команду к уходу. Мы узнали от него, что уже не раз кто-нибудь из пленных забредал в дебри и целыми днями блуждал в поисках обратной дороги. Но никто еще не убежал. Да и пытаться не стоило, это грозило бы голодной смертью, тут не спасли бы ни ягоды, ни черемша, ни крапива.

В этом лагере, как и в предыдущих, нас сразу зарегистрировали. Я все указал правильно, но на вопрос о профессии ответил: «Подсобный рабочий». Мне казалось, что в таком случае меня раньше отправят домой. Специалистов могли

задержать, а подсобных рабочих у русских было достаточно. Правда, как подсобному рабочему мне пришлось выполнять много примитивных работ, но с этим приходилось мириться, чтобы раньше попасть домой. Кое-кто говорил мне, что слышал, будто я дипломированный инженер, но не хочет этому верить, так как сам, будучи таковым, работал бы по специальности. Насколько я оказался прав, доказал случай с одним товарищем из Линца, тот с гордостью говорил, что до войны работал инженером, и получилось так, что я попал домой намного раньше. В Австрии я объяснил ситуацию его близким. Но мы, конечно, не знали срока отправки хороших специалистов.

Весной некоторое время мы работали в ближнем колхозе, где сажали овощи и ежедневно их поливали. После этого я попал в команду, которой было поручено доставлять к месту укладки (путь составлял многие километры и проходил через высохшее болото) стальные трубы длиной 5 м, диаметром 50 см и толщиной 7 мм с фланцами на обоих концах. Каждая весила минимум 400 кг. Вначале мы не знали, для чего русским нужны эти трубы. Для перевозки одной трубы выделяли десяток пленных. Это была очень тяжелая и утомительная работа. Подсохшая поверхность торфяного болота изобиловала неровностями и щетинилась сухостоем и пнями. В первый день мы вернулись в лагерь вконец обессиленными и не знали, выдержим ли такую нагрузку на следующий день.

Душной ночью не давали спать клопы, которые падали на лицо и бегали по лбу и щекам. Я вынужден был хлестать себя по щекам и, едва уснув, вновь просыпался от укусов. Так прошла ночь, сопровождаемая видением проклятых труб. В минуты бодрствования меня осенила идея, что сами трубы можно использовать как рельсы. Затем я заснул, несмотря на укусы клопов, а утром проснулся весь искусанный, с опухшими веками.

Когда мы опять прибыли на склад труб, я сказал, что трубы надо катить по стальным рельсам, это будет намного легче. Меня спросили: «Где мы возьмем рельсы?» Я ответил: «Ими будут сами трубы». Сначала их надо укладывать продольно, хотя бы одну, а затем катить по ней другую, следя за тем, чтобы верхняя сохраняла равновесие. Когда в конце она упадет, надо повернуть ее в направлении первой и присоединить вплотную. Мы быстро освоили этот метод и теперь, играючи * справлялись вчетвером вместо прежних десяти. Трудно было только поднять и накатить трубу на трубу. Русские вскоре подняли норму, но ее мы успешно выполняли, не очень напрягаясь

Однажды, во второй половине дня, мы увидели, что надвигается гроза: сверкали молнии, гремел гром и вскоре хлынул дождь. Укрыться было негде. Тут я снова подумал о трубах, об их использовании в качестве укрытия. Хотя нельзя было исключить опасность удара молнии. Я предложил быстро развернуть трубы поперек и спрятаться в них. Так мы переждали грозу и дождь и остались почти сухими. А те, кто не рискнули залезть в трубу, промокли насквозь.

Доставив первые трубы к месту назначения, мы узнали, для чего они нужны русским. В торфяном болоте был искусственный пруд. На берегу работала гидравлическая пушка, под давлением в 15 атмосфер она выбрасывала со дна пруда торф вместе с водяной струей. Этот торф по почти километровому трубопроводу поступал в большой котлован, дно которого покрывало слой крупного песка. Вода просачивалась через песок, а сверху оставался чистый торф, который затем высушивался. По котловану ездила гусеничная машина и своими траками вырезала куски торфа в форме кирпичей. Торф сжигался на ближайшей электростанции, и таким образом вырабатывался ток. Наши трубы служили для расширения всей этой системы.

Вилли и многие пленные были заняты другими работами, например, приходилось чистить отхожее место и вскапывать землю при отсутствии плуга. Нормой было 180 кв. м пахотной земли или 100 кв. м газонов. Нечистоты использовались как удобрение для полей. Занятие не из приятных, но никто от него не отлынивал. Как это ни удивительно, совместная жизнь в коллективе и идеалистические лозунги коммунистов существенно смягчали суровые нравы плена.

Однажды во время завтрака вошел староста нашей казармы и сказал, что лесничий просит дать ему помощников для тушения пожара на торфяном болоте. Идти вызвался Вилли, к нему присоединилось еще несколько человек. Они взяли деревянные ведра, кирки, лопаты и сразу отправились к месту пожара. Шагать пришлось около двух часов. Огня не было видно, только кое-где поднимались маленькие облака дыма. Высохшее торфяное болото горело под землей, надо было очень осторожно двигаться, чтобы при ходьбе не провалиться в горящий торф. Сначала требовалось выкопать скважины, а затем залить их водой. Потом прокладывали траншеи с водой для локализации очагов. О еде, конечно, нечего было и думать, и лишь поздним вечером, вернувшись домой, «пожарные» получили разом завтрак, обед и ужин.

В эти дни Вилли заболел тяжелым бронхитом с лающим кашлем и попал в санчасть. Ночью в его палату из соседнего рабочего лагеря привезли больного, у которого бы,¹о пробо-

дение желудка, Утром его, несмотря на недостаточное хирургическое оснащение, оперировали, но спасти больного не удалось. Сам Вилли оставался в лазарете, пока не прошел бронхит.

Мы знакомимся с утопией

Заведовал антифашистскими курсами русский майор Исаков, и проходили они в приятной атмосфере. Если бы не клопы, тогдашняя жизнь почти не оставила бы неприятных воспоминаний. В нашем распоряжении была большая библиотека на немецком языке, и я был ее усердным читателем. Некоторые книги я читал второй раз, например, «Капитализм и социализм за 20 лет» Евгения Варги. В ней приводились умело подобранные сравнения в пользу социализма, что выражалось в процентах, но редко в сопоставимых величинах. Статистика давала возможность любого маневра, особенно при сравнении совершенно разнородных явлений. Было интересно читать брошюру Сталина, которую он вроде бы писал в Вене, и его рассуждения о том, почему австрийцев следует считать нацией, это было еще во времена монархии. По определению Сталина, многонациональные страны, например, Россия или Швейцария, населены одной нацией, в противоположность господствовавшему в те годы мнению, согласно которому единство нации обусловлено общим языком. Определяющим условием, по Сталину, является не язык, а воля народов, желающих жить на исторически сложившейся территории и иметь общую историю. Он вполне допускал, что люди с одинаковым языком образуют различные нации, как, скажем, англоязычные народы образуют английскую, американскую, канадскую нации, в то же время швейцарская нация состоит из населения, которое говорит на четырех разных языках. Для пробудившегося в нас австрийского самосознания это была благотворная идея. На занятиях мы также узнали, что быстро развивавшийся в прошлом веке национализм тесно связан с усилившейся индустриализацией. Так как предприниматели, капиталисты искали для своей продукции защищенные рынки сбыта, они выдвинули принцип, по которому носители определенного языка являются одной нацией, должны жить вместе и создавать свое национальное государство. Это государство образует затем рынок сбыта продукции при исключении конкуренции со стороны других национальных государств. Идеальным состоянием, согласно этой логике, была бы автаркия. В качестве последствий указывались: быстрое образование

национальных государств и национальной промышленности в Европе, а также — первая и вторая мировые войны. Нас учили, что благодаря второй мировой войне промышленность скачкообразно достигла нового уровня развития и стала такой мощной, что капиталистам потребовалось расширение рынка, поэтому время национальных государств и стремления к автаркии уже прошло и капиталисты якобы ратуют за объединенную Европу. Так преподносилась новая форма империализма. Меня заинтересовала теория Карла Маркса о скачкообразном развитии капитализма, поскольку новые отрасли промышленности основывались на опыте более ранних отраслей. В то время, как старые производства были склонны как можно дольше использовать существующее оборудование, новые использовали и более совершенные машины и технологии, вытесняя с рынка старые индустриальные страны. Это привело к первой, а затем и ко второй мировым войнам.

Если проследить за ходом Второй мировой войны, участниками которой были мы сами, то этот взгляд будет более или менее понятен. Европа лежала в руинах. Германии была уготована участь аграрного государства, из всей Европы выгоняли «фольксдойчей» и переселяли их в Германию. Французы и англичане явились победителями; они демонтировали самые современные немецкие заводы и устанавливали станки в собственных странах. В Германии находились оккупационные войска, которые могли бы служить рабочей силой у себя дома, но обеспечивали спокойствие и порядок в побежденной стране. Немцам запретили иметь собственные вооруженные силы. Германия была обескровлена и оставлена без капитала, она созрела для революции. Но этому препятствовали оккупационные силы западных стран. Однако в Германии остался тот «капитал», который слишком часто упускают из виду: высокий образовательный уровень и прилежание немцев, особенно согнанных обратно в свою страну «фольксдойчей». Каждый радовался, что закончилась война, и довольствовался минимумом. Инженеры начали поднимать из руин производство, развивая более экономичные технологии, изготавливая более совершенные машины и восстанавливая разрушенные заводы. Создавалось совсем новое производство, основанное на военном опыте.

Это относится и к японцам. Их прежние враги чувствовали себя победителями и почивали на лаврах. Они забыли, что после такой войны в Европе могли быть только побежденные. Последствия можно видеть на примере развития национальных экономик и валют. Американцы не повторили политических ошибок, имевших место после первой мировой

войны, они не дали немцам умереть с голода, а помогли им в восстановлении экономики и сделали их своими друзьями.

С нами беседовали о предыстории и причинах второй мировой войны, об истории России, об австрийском национальном характере и народных восстаниях, например, о крестьянской войне 1525 года под предводительством Михаэля Грубера и Гейсмайера, которого по своему значению можно сравнить только с Мартином Лютером, о вожде крестьянской войны 1626 года Стефане Фадингере, об ополчении, силами которого Михаэль Штерцингер нанес поражение баварцам в 1709 году при Финстермюнце, о восстании тирольцев в 1809 году под руководством Андреаса Хофера против баварцев, союзников Наполеона, о двух битвах у горы Изель, о битве австрийцев при Асперне и Ваграме против Наполеона, а также о новых выступлениях тирольцев в 1812 и 1813 годах и изгнании последних баварцев из Тироля. Нельзя забывать, что тирольцы — горный народ и никогда не знали крепостничества. Нам напоминали о революции 1848 года и освобождении крестьян Кудлихом, что, как и все предыдущие восстания, закончилось контрреволюцией, потому что мятежники хотели лишь облегчить свое тяжелое положение, но не помышляли об изменении угнетающего их режима. Таков уж якобы австрийский национальный характер: австриец любит, чтобы им управляли, готов многое стерпеть, но до определенной границы, и когда теряет терпение, дает волю гневу, идет напролом, но затем опять стремится к покою, так как по своей натуре австриец миролюбив и покладист. Когда его вынуждают взяться за оружие, он готов даже самыми примитивными средствами сопротивляться до тех пор, пока не добьется мало-мальски сносных условий. Так как правители часто не считались с этим австрийским качеством, то подобные взрывы возмущения происходили постоянно. События 15 июля 1927 года, завершившиеся пожаром Дворца правосудия, и то, что произошло 12 февраля 1934 года, очень характерны для Австрии.

Наши политнаставники весьма положительно оценивали Бабенбергов и очень отрицательно — Габсбургов, кроме Марии Терезии и ее сына Иосифа II, который много сделал для блага широкого населения, хотя и потерпел неудачу из-за того, что в глазах верноподданных был слишком радикален и скор в осуществлении своих реформ.

Мы услышали объяснение причин антисемитизма в среде австрийской мелкой буржуазии, который возник как реакция на предпочтение иностранного капитала при индустриализации Австрии в конце прошлого века, поскольку инвесторами были чаще всего евреи, а мелкие собственники пытались со-

хранить свои предприятия. Как как ^апиталистам требовалась защита от этой мелкой буржуазии, они вошли в союз с дворянством и стали раболопными подданными Габсбургов.

При обсуждении истории нам вновь и вновь указывали на различия путей Австрии и Германии: нельзя говорить, что у Австрии была немецкая история, следует считать, что австрийское прошлое долгое время являлось предметом немецкой историографии. Этот аспект был для меня новым, так как на уроках истории нам преподносили только немецкую и совсем редко - австрийскую историю. На занятиях в лагере делалось все, чтобы внушить нам: мы, австрийцы, всегда были особой нацией, хотя в 1918 году в федеральной конституции мы провозгласили себя составной частью Великой Германской республики, поскольку думали, что маленькое государство с 6,5 миллионами населения не может существовать самостоятельно. Однако державы-победительницы запретили это присоединение и в марте 1931 года воспротивились созданию таможенного союза, в результате чего начался острейший экономический кризис в Австрии, приведший затем к вводу немецких войск и к Второй мировой войне. Но нам также напоминали, что в Австрии всегда находились политики, ратовавшие за два немецких государства, правда, в основном это были деятели христианско-социалистической партии, как, например, Зейпель с его концепцией независимости в едином антисоветском блоке с Италией, Венгрией, Германией, при этом Австрии отводилась роль форпоста Германии. «Один народ, два государства!» Затем Дольфус провозгласил лозунг: «Австрия — австрийцам!» Он запретил национал-социалистическую партию и выдворил из страны немецкого представителя Табихта. В своей политике Дольфус опирался на фашистскую Италию, управляемую Муссолини. После убийства Дольфуса во время национал-социалистического путча в июне 1934 года его преемник Шушницг мог проводить свою политику только до тех пор, пока Гитлер не объединился с Муссолини и не передал ему Южный Тироль. Затем последовало вступление Гитлера в Австрию и Вторая мировая война.

Мне были очень интересны исторические прогнозы русских. В 1946 году они предсказывали, что вскоре наступит конец колониализма в результате сопротивления национальных сил в отдельных колониях; так оно и произошло. Основной задачей своей внешней политики они считали поддержку этих национальных сил, даже если их составляют выходцы из среды мелкой буржуазии, так как вначале должно быть покончено с колониализмом. Если это удастся, придет время решать вторую задачу — привести массы к социа-

лизму. Б ОТВСТJ на наш вопрос, какая разница между социализмом и коммунизмом, мы услышали, что социализм — это только полдела, так как он не решает вопроса отмены эксплуатации рабочего класса капиталистами, а коммунизм приведет к ликвидации частной собственности на средства производства и землю и, стало быть, к отмене всякой эксплуатации человека человеком. Но это не значит, что все люди будут иметь одинаковый доход, особые достижения надлежит и вознаграждать особо, это касается, например, изобретателей, архитекторов, артистов и, конечно, также политиков, внесших большой вклад в развитие общества. Поэтому, вполне возможно, что кто-то будет жить на широкую ногу и иметь прислугу. Однако ее труд можно использовать только для себя, но не для извлечения прибыли. Это же распространяется и на ремесленников, имеющих собственное производство. Извлекать прибыль они могут только из результатов личного труда, но не труда наемных рабочих. Поэтому ремесленничество возможно только в индивидуальной или кооперативной форме.

Коммунизм приведет даже к ликвидации государственной власти, так как она станет излишней. Человек будет получать материальные блага не по произведенной работе, а по потребностям. Это нам показалось особенно нереальным, так как о потребностях лодырей мы можем судить и по жизни нашего общества. Преподаватели говорили нам, что при коммунизме все будет иначе, так как путем постоянного повышения производительности труда на народных предприятиях возможно сокращение рабочего времени, и тогда у трудящихся возникнет -потребность в деятельности, например, в занятиях спортом. Мы говорили, что не можем себе представить, что каждому бесплатно выдадут, скажем, автомобиль. Нам отвечали, что этого и не нужно, что стремление иметь для езды собственный автомобиль типично для капиталистического общества, тогда как при необходимости его можно взять напрокат в специальном учреждении.

Всячески подчеркивалась важность воспитания молодежи: в организациях, во всех школах, особенно в высших, так как новое общество требует нового человека. Ботаник Трофим Денисович Лысенко в своей новаторской теории яровизации (творческий дарвинизм) утверждает, что приобретенные свойства передаются по наследству. Поэтому Сталин считает его крупнейшим из ученых, хотя эта теория противоречит результатам исследований всех прочих специалистов. Он не верит в перевоспитание «стариков». Однако теперь мы знаем, что молодые поколения совместно со здравомыслящими «стариками» почти во всем мире свергли коммунистич< <

кие диктатуры. Ни один, даже самый жестокий диктатор не может на длительное время заставить своих подданных жить вопреки человеческой натуре. Такого испытания на прочность не выдержит никакой «человеческий материал», природа возьмет свое.

Новые наставники не могли преодолеть наш скепсис. Мы говорили, что они как материалисты обещают человечеству рай на земле, а это нереально, так как противоречит самой природе человека, недаром христианство и другие религии обещают это только после смерти. Обещания материалистов даются за счет ныне живущих, и очень мало вероятности, что они когда-нибудь будут выполнены, так как предполагают наличие совсем иного рода людей. Другая же сторона обещает новую, лучшую жизнь после смерти как награду за его хорошие дела, или ад как наказание, в зависимости от того, как прожил он на земле, и судьей тут будет не сам человек, а всезнающий, милосердный Бог. Религия дает по крайней мере веру, и верующему легче, чем материалисту.

Мы слушали также лекции по материалистической теории о возникновении Вселенной и жизни на земле, но внушаемые нам представления нельзя было обосновать теоретически, они тоже требовали веры. Наука и накопленные знания не позволяли материализму обойтись без веры.

В качестве высшей ступени общественного развития человечества нам, исходя из идей Маркса и Ленина, называли социализм и коммунизм, так как капитализм вследствие своих противоречий обречен на отмирание. Приводимые доводы не могли развеять моих сомнений, но и не помешали мне сделать доклад в нашей группе о том, почему социализм и коммунизм везде победят капитализм. Задача не представляла особой сложности, поскольку я не должен был, да и не мог высказывать собственные взгляды, требовалось лишь точно воспроизводить тексты апостолов марксизма, ведь малейшее словесное отклонение сразу критиковалось как «уклонизм». Это облегчало работу и, кроме того, учило меня лучше понимать словесные приемы наших политиков, которые, добиваясь вторичного избрания, приспособляются к господствующему мнению потенциальных избирателей, даже если знают, что это может или будет иметь губительные последствия.

Дискуссии о победе коммунизма затрагивали, естественно, и вопросы будущего Европы и мира. Нам говорили, что с окончанием эпохи колониализма Англия и Франция потеряют свои колонии и передадут власть национальным правительствам. И в начале 1946 года нам уже перечисляли вес государства в Европе, которые вскоре после этого или не-

сколько лет спустя попадут под коммунистическое господство, но не путем революции, не через Коммунистический Интернационал, который уже прекратил свое существование. Они отметили, что он стал ненужным, так как все коммунистические страны и без того в будущем признают руководящую роль СССР. Новый путь к победе коммунизма лежит поэтому не через мировую революцию, но может быть достигнут легитимно, низвержением власти капиталистов с помощью их же демократических институтов. Коммунисты как активнейшая часть граждан, даже если они составляют небольшую партию, должны использовать каждый шанс для образования коалиций с социалистами, представителями крестьянства, а также с другими политическими силами, пока они могут служить в качестве попутчиков. Нужно только постоянно подчеркивать их политическую несостоятельность при решении важных и наиболее острых для народа проблем, возбуждая тем самым недоверие к этим политикам. Их партии обязательно должны сохраниться, но утратить всякое влияние в силу их дискредитации. Таким образом, можно достигнуть «мирного вращающегося в коммунизм» в форме «народной демократии». Столь «мирным» путем Сталин сделал коммунистическим весь «восточный блок». Нам объясняли, что бороться надо не только с нацистами, но и с «захребетниками», и тут вся надежда только на молодежь, которая больше не позволит собой манипулировать и делает это невозможным подобно тому, как в западном мире когда-то были изжиты пытки, инквизиция, процессы над «ведьмами» и преследования еретиков. Нашим преподавателям, правда, почему-то казалось, что этот путь не вполне вероятен для Франции и Италии, но почему, они не говорили.

Конечно, мы спрашивали, будет ли Австрия также коммунистической? Они отвергали такую возможность, приводя следующие причины: отсутствие резкого напряжения в имущественных отношениях, малая доля крупной буржуазии и наличие крепкого среднего слоя, малая доля настоящего пролетариата, а также крупного землевладения и безземельных крестьян, при значительном преобладании середняков. Подчеркивалось, что менталитет австрийцев побуждает их к борьбе лишь в крайних обстоятельствах. Кроме того, указывалось на политическую слабость функционеров австрийской компартии. Мы интересовались также мнением русских об итогах первых австрийских выборов. Нам отвечали, что выборы*вообще-то соответствуют ожиданиям, но в России все же разочарованы неудачей австрийской компартии, так как рассчитывали, что она получит голосов на несколько процентов больше.

Общественные процессы после Второй мировой войны подтвердили многое из сказанного нам; даже во Франции и в Италии никто не знает, что произойдет дальше, хотя острые социальные проблемы в этих странах не разрешены.

Антифашистские курсы дали возможность каждому заинтересованному слушателю посмотреть на историю не только как на чередование событий и войн, которые подчас непостижимым образом развязывались власть имущими. Нас побуждали также заглянуть за кулисы событий, обратить внимание на социальные контрасты и не просто восторгаться художественными памятниками народа, но и задуматься над тем, являются ли они истинными проявлениями высокой культуры или служили и служат только для прославления немногих сильных мира сего и бесконечно далеки от бедственной жизни большей части народа. Я должен сознаться, что не могу предаваться бездумному созерцанию пышных строений, будь это светские или культовые здания. При этом меня не оставляет мысль о нищете большей части населения в эпоху создания этих художественных произведений, да и в наши дни в этом отношении мало что изменилось.

Афоризм «*Primum vivere deinde philosophare*» не выходит у меня из головы. Энтузиасты искусства мне часто возражали. Я не знаю, кто прав, но думаю, что римляне: «Сначала жить, потом философствовать!»

Однако вернемся к жизни в лагере и дальнейшим событиям. Рядом с нашим лагерем за забором была летняя дача для детей сотрудников близлежащих предприятий, в котором работали молодые, милые воспитательницы. Я уже писал, что женский пол в долгом плену нас не очень интересовал; большинство было озабочено просто выживанием, но достаточно сытное питание в новом лагере дало нам возможность со временем окрепнуть. Один из наших товарищей выяснил, что рядом с нами живут хорошенькие воспитательницы и что нас отделяет от них только ограда, хотя и высокая. Он вновь почувствовал себя мужчиной и решил, как водится, перелезть через нее. Он уже приближался к девушкам, но тут его поймали и на два дня посадили под арест. Тогда он понял, что с девушками надо подождать, все же они были русские, а он — военнопленный. Земляки его стыдили за недисциплинированность, а русские ограничились недолгим арестом. В этом отношении НКВД оказался здесь великодушнее, чем в Красноармейске, вероятно, потому, что не возникало подозрений в шпионаже или попытке к бегству.

Наступил жаркий июль, солнце садилось поздно, и до одиннадцати часов можно было читать газеты на свежем воздухе. Но летнее тепло имело и оборотную сторону: клопы

стали особенно проворны и кусали нас всю ночь, находя любой открытый участок кожи. Особенно неприятны были укусы в подошвы, так как вызывали неукротимый зуд, как и укусы в ладони.

Курсы были закончены, и мы все чаще стали поговаривать о близкой перемене нашей участи. С момента окончания войны прошло больше года. Все время приходили вести о событиях в мире. Мы слышали от русских о плененной англичанами немецкой армии, которую те держали в Шлезвиг-Гольштейне и которая очень беспокоила русских, опасавшихся, что англичане и американцы совместно с этой немецкой армией будут воевать против них. Этот слух тревожил и нас, потому что мы прежде всего думали о возвращении домой.

Возвращение домой

Однажды, около 20 июля 1946 года, на лугу перед лагерем приземлился маленький военный самолет. Вышло несколько мужчин в военной форме, они направились в лагерь. Нас построили. Один из прибывших вынул из планшета список и начал зачитывать фамилии. Одним приказывали становиться справа, другим — слева от него. Мы сразу сообразили, что отделяют тех, кто поедет домой, и оказались правы. Нашей группе, стоявшей слева, сказали, что нам разрешено ехать домой. Надо быть наготове, нас позовут сменить одежду. Другая группа должна была еще оставаться в лагере. Мы спрашивали, почему? Любопытно, что каждый из нас считал себя виноватым в том, что во время плена при многочисленных регистрациях не говорил правду и, конечно, при следующей регистрации уже не помнил точно, какие данные он сообщал ранее. Русские очень не любили, когда кто-нибудь говорил неправду. Я на себе испытал, как положительно восприняли на допросе НКВД мое открытое признание после попытки к бегству в мае 1943 года. Тут пригодились мне и книги о русской юстиции, которые я читал еще до войны. Поэтому я всегда предпочитал говорить правду, хотя и порой не очень приятную для русских. Но это они уважали. Мы получили чистое белье, чистые словацкие мундиры, обмотки, русскую обувь, немецкую посуду, вафельные полотенца и фуражки военного образца, на которые нашили австрийскую красно-бело-красную эмблему. Так мы в первый раз смогли внешне обозначить себя как австрийцев. Для многих это было необходимо, так как ускоряло процесс подобного осознания Русские тоже делал** все, чтобы рашить наше

национальное чувство, потому что хотели создания австрийского государства. Поэтому Государственный договор о восстановлении независимой Австрии, подписанный в 1955 году, был, несомненно, следствием целенаправленной политики русских.

Раньше я пользовался для еды самодельным медным котелком. С тяжелым сердцем мне пришлось его отдать. Русским он казался недостаточно благообразным, слишком примитивным. А жаль, он был бы таким прекрасным сувениром.

Всю короткую, светлую ночь мы ждали под открытым небом следующего дня, который должен был стать началом нового этапа нашей жизни. Я до сих пор в подробностях помню эту безлунную нежную звездную ночь, было прохладно, и мы лежали вплотную друг к другу, но почти не спали. Мы были слишком возбуждены. Около двух часов уже стало светлеть небо, а когда красное солнце взошло над лесом, мокрые от росы, мы начали собираться в путь. Будь я циником, я бы сказал: «Первая ночька без клопов за долгие годы. Правда, их не было и в ледяном вагоне по дороге в лагерь и в те ночи, когда клопы выгоняли нас на улицу, а меня укусил малярийный комар». Но я был настроен романтически.

После нашего отъезда лагерь закрыли, и помещения вновь передали исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних преступников.

Нам дали завтрак, вскоре мы увидели въезжающие в лагерь тяжелые грузовые машины и определили, что это американские трехосные «студебеккеры». Мы сели в них и начали сорокакилометровый путь, как нам сказали, к железнодорожной станции. Автомобильной дороги не было, и мы ехали напрямик через лес и болота, через валежник и частый кустарник, через обмелевшие речки при сияющем солнечном свете. Мы все время держались за доски скамеек, машина, казалось, вот-вот опрокинется, однако это не умаляло радости возвращения домой. Наконец мы прибыли на станцию Вязники на железнодорожной линии Горький—Москва.

Мы погрузились в закрытые товарные вагоны, в которые уже было заботливо уложено сено, и началась поездка в сторону родины. Поезд сделал остановку на Киевском вокзале в Москве. Рядом с нашим поездом стоял другой, загруженный русскими танками. У всех у нас было радостное настроение, мы вышли из вагона, наша яровая капелла построилась для исполнения, и мы запели наши родные песни. Это произвело на русских большое впечатление. Затем мы обогнули Москву по окружной дороге, и нам удалось увидеть бчестевшие юлотом бдшни Крем <я. Проехан немного по до-

роге на Киев; поезд попал под сильную грозу с ураганом, и движение сильно замедлилось. Это было 25 июля 1946 года. Ураган сорвал крыши с многих вагонов, опрокинул телеграфные столбы, порвал и спутал провода. Казалось, наступил конец света. И до самого Львова мы ехали в вагонах без крыш. Там мы простояли весь день, появился повод для беспокойства, так как прошел слух, будто мы должны остаться на Украине и помочь в восстановлении хозяйства. Состояние неопределенности крайне напрягло нервы, успокоить их помогало пение.

На ближайшем к нам пути стоял поезд с открытыми товарными вагонами, в одном из которых, широко расставив ноги, стоял русский полковник, рядом с ним на полу сидела его жена и болтала голыми ногами, подставив их горячему солнцу. Наш хор возле вагона пел вальс «На прекрасном голубом Дунае». Русские внимательно слушали. Когда мы закончили петь этот вальс, женщина, примерно лет пятидесяти, спрыгнула с вагона, подбежала к нашему капельмейстеру, взяла его за руку, погладила ее и растроганно на ломаном немецком произнесла: «Это было прекрасно, пожалуйста, еще немного Штрауса!» При этом слезы текли по ее щекам. Мы исполнили ее желание.

Затем мы, наконец, узнали, почему мы стоим и почему не идет дальше военный эшелон. Предполагалось, что мы должны ехать через Южную Польшу на Краков. Но это оказалось невозможным, на этой дороге на русские военные поезда якобы нападали польские партизаны. Дорога была небезопасна. Поэтому нас повернули на юго-восток на Коломыю и Яблунковский перевал в лесных Карпатах. Ландшафт становился все красивее, мы ехали в вагоне без крыши, как в открытом туристском вагоне через богатую лесами, холмистую местность при безоблачном небе и сияющем солнце. Остановливаясь на какой-нибудь станции, мы сразу бежали к ближайшей водоразборной колонке (железная дорога была ориентирована только на паровую тягу немецких типовых локомотивов, которые стояли на каждой станции в большом количестве), открывали затвор, и на нас лилась толстая струя подогретой солнцем воды. Это давало чувство легкого охлаждения. Такие стоянки под палящим солнцем часто длились часами, но еще чаще приходилось стоять по ночам. Наш поезд двигался, вероятно, без расписания, и лишь когда освобождался участок пути. Прошло уже две недели, а мы все еще были на советской территории.

На питание не жаловались, но горячей пищи не было ни разу. На вокзалах брали «кипяток». Питание составляли черный хлеб, мяс * гг консервы и, примерно на три -e< " ка ч*

ловек — ко і елок (1,5 л) ашлийского соленого масла, которое русские накладывали из большой деревянной бочки. Оно немного горчило, но мы были рады и такому. Трудности возникали только при распределении. Как можно разделить масло на столько одинаковых порций?

В нашем вагоне эту задачу поручили мне, сказав, что мне больше всех доверяют и что я все сделаю, как надо. Я согласился и решил проблему математически. Я знал, что немецкий котелок имеет емкость 1,5 литра, разделил это на число едоков и получил рацион масла в кубических сантиметрах. Затем из консервной жестянки своим самодельным, к счастью, уцелевшим ножом я вырезал полоску, свернул ее, а концы отогнул под прямым углом и соединил в виде ручки. Получился полый цилиндр, объем которого мне был известен, так как высоту и диаметр его я предварительно высчитал. Оставалось только положить цилиндр на смоченную столовую доску, заполнить его маслом и таким образом отмерять равные порции. Это удалось наладить с первого дня, голодные товарищи обычно наблюдали за моей работой. Так прошло две недели. Мы ехали в основном днем, а ночью стояли, но были и дневные стоянки. Однажды сделали остановку на небольшой станции. Тут мы увидели, что наши охранники разговаривают с тремя женщинами, после чего те зашли в караульный вагон, где находилось и наше довольствие, и стали попутчицами. Вначале это не вызывало беспокойства, но потом мы стали получать не столь полноценные котелки, сверху они казались полными, а внутри были пустоты. Масла уже не хватало, и я должен был уменьшать размеры цилиндра. Товарищи ворчали, мне приходилось каждый день менять порции, так как всякий раз недостаток масла был больше или меньше. Все возмущались, я говорил, что моей вины тут нет, что я могу только распределить то, что дают. Со мной соглашались, но упрекали охранников, обкрадывающих нас, видимо, из-за женщин. Я отвечал, что надо пожаловаться русским, ругань бессмысленна. Но на это не решались. Тут я сказал, что если нет смельчаков, я сам попрошу объяснений у часовых.

На следующий день, принимая масло, я сказал русским, что мои товарищи жалуются на уменьшение количества масла в течение нескольких дней. Пусть нам объяснят, уменьшилась ли норма масла и должны ли мы его экономить. Караульные утверждали, что это неправда, что мы по-прежнему получасу полный котелок масла. Это убедило меня в сознательном обмане, о чем я и сказал всем своим товарищам, которые очень возмущались. Но все же мое заявление имело свои последствия.

На следующей сюанке к нам пришло несколько участников наших курсов, желавших быть на хорошем счету и соответствующим образом переменивших убеждения, они сказали, что русские охранники на меня в обиде за то, что я утверждал, будто они сократили паек масла. Я их, мол, оскорбил, упреком в воровстве. Я объяснил, как обстояло дело, но они пропустили это мимо ушей, хотя и сами сталкивались с тем же, а сказали, что если я не откажусь публично от своего обвинения, то часовые позаботятся, чтобы меня отправили обратно. Я пообещал сделать публичное заявление, так как не был упрямым Михаэлем Кольхаасом и хотел вернуться домой. Услышав это заявление, каждый поймет, что оно сделано под давлением, потому что уменьшение порций масла возмущало всех.

На следующей остановке мы вышли из поезда и построились. Затем мне предложили всеуслышание заявить, что мы, как и прежде, получаем котелок масла. Слово «полный» я сознательно упустил. Все меня поняли, и русские были довольны. Со следующего дня они потребовали, чтобы мы сами заполняли котелки маслом из бочки. Мы следили за тем, чтобы не было пустот, и опять получали полный паек.

Поездка проходила дальше через Станиславов до Коломыи. Там поезд опять остановился, нам приказали выйти и построиться. Появился русский офицер с большими звездами, а рядом встали три наших охранника, как раз напротив меня. Офицер на безукоризненном немецком языке обратился к нам с речью, он сказал, что мы покидаем Советский Союз, страну социализма, где иные условия, чем у нас, на капиталистическом Западе. Мы долго находились в плену, много пережили и хорошего, и плохого. Русское правительство желает, чтобы дома мы рассказывали о коммунистической России как о стране, где живут люди, а не изверги, как утверждали нацисты. Правительство дало указания, предписывающие хорошее обращение с пленными и надлежащее их обеспечение едой, чтобы домой они вернулись здоровыми. Если же с ними в плену кто-нибудь плохо обращался, может, даже бил, или по вине охраны они не получали положенной нормы питания, об этом надо сказать сейчас, чтобы виновные были наказаны. Наши три охранника, побелев, как полотно, уставились на меня. Я, конечно, ничего не сказал, так как они уже были достаточно наказаны страхом и вряд ли в дальнейшем рискнут обворовывать военнопленных.

Теперь наш маршрут пролегал по прекрасной, покрытой лесами долине реки Прут вверх к Яблунковскому перевалу в Карпатах, на высоте 931 м. Все было, как у нас дома — леса, бурные реки, горы высотой более 2000 метров, затем мы

двм^лчсь вдс-ii-, iv^'igepCKOii границы вниз к Сигетул-Марма-
циею, и все время была прекрасная погода. На русско-румын-
ской границе перед этим городом наш поезд долго ждал сиг-
нала к отправке. Мы стояли рядом со сторожевыми вышками
пограничников. Сразу за железнодорожной насыпью видне-
лась река, манящая прохладой. Некоторые из наших не ус-
тояли перед соблазном, выпрыгнули из вагонов, сбежали вниз
по насыпи и плюхнулись в воду. Они увидели, что поезд в
это время тронулся. Охранники кричали, ругались, но купаль-
щики не сумели догнать поезд. Им пришлось бежать нагишом
по шпалам два километра до вокзала. Там уже все переполо-
шились. Но торжественное появление голых взмысленных от
пота людей подействовало успокаивающе.

На этой станции был затем сформирован новый состав из
восьмидесяти вагонов, он пересек венгерскую границу и при-
был в Дебрецен. Там на вокзале стояли платформы венгер-
ского Красного Креста с дымящимися полевыми кухнями,
девушки-поварихи принялись кормить нас, как родных. Каж-
дый получил полный котелок гуляша с лапшой, но все бы-
ло такое горячее, что рот обжигало. А мы спешили впервые
за многие годы насладиться родной пищей. Поезд тронулся.
Мы осторожно размахивали котелками, пытаясь их остудить,
чтобы как следует насладиться лакомым блюдом.

Нас тронуло теплое внимание венгров. На станциях они
выходили к нашему поезду и бросали нам буханки хлеба, так
как с быстротой молнии распространилась весть о поезде,
который везет домой пленных. Одному из нас не повезло:
буханка угодила ему в лоб и нанесла глубокую рану.

Мы увидели разрушенные и обгоревшие, еще недавно
столь великолепные здания Будапешта на нижнем берегу
Дуная и с тревогой подумали о том, какой предстанет перед
нами Вена и что ждет нас дома. Живы ли моя жена, сын,
теща и ее мать, которой должно быть больше девяноста лет,
если она, конечно, дожила до этих дней. А моя мать, мои
братья и сестры? Как они? О гибели одного из братьев в
«котле» у Бабуркина я знал. Но что стало с двумя другими
братьями? Пять лет меня не было дома, более трех с поло-
виной я считался без вести пропавшим. Только дважды мне
разрешили написать из плена, но дошли ли мои открытки,
написанные в марте 1943 года и в марте 1946? Мы этого не
знали.

С такими мыслями мы ехали дальше через австрийскую
границу и внезапно очутились на Восточном вокзале Вены,
от которого остались лишь развалины, рельсовые пути и ба-
раки. Никто нас не встречал, никто не предложил нам что-
либо поесть, а ведь мы были уже дома, а не в Венгрии.

Родина встретила нас равнодушно, только солнце светило ласково. Нам велели остаться в своих вагонах, пока не будут выполнены все формальности. Австрия была поделена на четыре зоны, и в Вене стояли войска всех четырех держав, что усложняло дело. Шли томительные часы ожидания. Вначале не было никакой еды, кроме одной буханки хлеба.

Затем к концу дня пришла группа мужчин, и нам предложили пойти с ними. Перед вокзалом стояли грузовые машины, мы сели и поехали по улице Берггассе. Говорили, что мы гости коммунистической партии и нас угостят в ее штаб-квартире. Меня немного удивило, что коммунисты были единственными, кто позаботился о нас, но я знал, как были встречены возвращенцы после Первой мировой войны. Агрессии и явной неприязни теперь, правда, не было, мы чувствовали лишь пренебрежение. Но это нас не особенно задевало, так как мы хотели только одного: как можно быстрее попасть домой. Коммунисты нас накормили, и в первый раз за многие годы мы сидели на настоящих стульях и ели настоящими столовыми приборами из фарфоровых тарелок.

Поев, я вышел из зала и направился к выходу, но вдруг услышал, что меня позвали. Я спросил, в чем дело, и мне сообщили, что со мной хочет поговорить какая-то женщина. Я посмотрел на входную дверь и к своему большому удивлению увидел свою двоюродную сестру. «Вот это неожиданность»,— сказал я.— «Никто же не знает, что я здесь! Как ты меня нашла?» Она ответила, что случайно проходила по улице и увидела перед зданием людей в несколько странном обмундировании. Тут она подумала, что это возвратившиеся домой военнопленные, и спросила, если ли среди них «сталинградцы». Когда ей ответили утвердительно, она заинтересовалась, слышали ли они мою фамилию, и узнала, что я тоже здесь. Тогда она попросила меня позвать. Затем она спросила у нашего руководителя, сможет ли взять меня с собой. Тот разрешил при условии, если она живет в русской зоне. Так как ее квартал находился в русской зоне, я получил увольнительное свидетельство и мог идти.

Я остался у кухни на ночь и узнал, что происходит в Вене. Буханка хлеба, которую я привез, нам очень пригодилась. О моих родных в Линце она в последнее время ничего толком не знала, но могла посоветовать, что я должен предпринять как возвращенец, чтобы получить билет до Линца. На вокзале в Хюттельдорфе есть специальная служба для возвращенцев, где мне окажут всяческую помощь. На следующий день я поехал на трамвае в Хюттельдорф и зарегистрировался. Мне выдали документ для приобретения про-

ездного биле га до Санкх-Валешлна, но вылепилось, чо поезд будет только вечером.

Стена в помещении вокзала пестрела объявлениями о розыске без вести пропавших, очень часто с фотографиями. Я все их внимательно просмотрел и обнаружил несколько знакомых лиц и фамилий. Некоторые были мертвы, двое должны были остаться в последнем или предпоследнем лагере. Я дал свои показания в ведомстве по розыску пропавших и этим смог помочь семьям покойников в получении извещения о смерти и пенсии по утрате кормильца.

Затем я посетил знакомого кондитера в Мейдлинге, брат которого жил через дом от нас и с которым мы еще до войны были в дружеских отношениях, и узнал, что мои жена, сын и теща живы, что дом цел, только бабушка умерла на 93-м году жизни в сорок пятом. Его брат с семьей, хотя и живы, но в конце войны в результате бомбежки потеряли все. О моей матери, братьях и сестре он ничего не знал. Я сообщил в полицию, что возвратился из плена и вечером в половине девятого уеду из Вены, но не знаю, когда прибуду, так как передвижение мне разрешено только в пределах русской зоны и я должен буду сойти с поезда в Санкт-Валентине, направиться в Маутхаузен, а там уж сообразить, как попасть в Урфар.

Так прошел день, а вечером я отправился на вокзал, взял билет и пошел к вагону, но поезд был уже переполнен, хотя до отправления оставался еще целый час. Кондуктор никого больше не сажал. Я ему сказал, что вернулся из плена и являюсь «сталинградцем». Тогда он меня кое-как втиснул, хотя не было даже стоячих мест. Наконец, я проник в проход между двумя вагонами и весь путь' проделал, устроившись на железном листе над сцепкой.

Так я доехал до Санкт-Валентина, последней станции перед Энсом, являвшимся границей между русским и американским секторами южнее Дуная. Севернее Дуная и в Верхней Австрии находилась русская зона. Я, как и многие другие, сошел с поезда и узнал, что нужно идти пешком по железнодорожному мосту через Дунай в Маутхаузен. Оттуда можно автобусом доехать до Урфара. В толпе прибывших я перешел мост и попал на ярко освещенную базарную площадь.

У одного молодого человека я узнал, когда и откуда отправляется автобус на Линц.

Он показал мне остановку, но объяснил, что сегодня автобуса не будет по случаю праздника - Дня Усдения Богородицы. Правда, иногда удается доехать на попутном грузовике. Мне он показался приятным парнем. Я сел на скамью, так как в поезде все время стоял и очень устал. Он сел рядом

и спросил, о́ куда я и что мне нужно в > рфаре. Я в двух словах объяснил, что со мной произошло. Тут он поинтересовался, ел ли я что-нибудь. Я ответил, что нет, но это для меня привычно. Тогда он открыл свою большую сумку, лежавшую у него на коленях, достал полбулки и кусок крестьянского сала, поделил на две части и сказал: «Поешь-ка, ты наверняка голоден». Так мы ели хлеб с салом, он даже вынул бутылку молодого вина и угостил меня. Это было первым настоящим приветом моей родины. Я спросил парня, чем он занимается. Выяснилось, что он — «мешочник»: приобретает у крестьян масло, сало, яйца, привозит продукты в Вену и продает по тамошним ценам. Австрия сейчас бедна, мало работы, и она плохо оплачивается, на зарплату не проживешь, приходится торговать.

Между тем рассвело, я с ним распрощался, потому что не надеялся на попутку и хотел побыстрее отшагать 20 км от Маутхаузена до Урфара и по пути посетить мать товарища, которая жила в Лангенштайне, расположенном на этой дороге, и обрадовать ее тем, что сын жив и скоро вернется домой. По возвращении он в течение многих лет работал электромастером в Маутхаузене. Угостивший меня парень остался ждать оказии, он по опыту знал, что на это можно рассчитывать.

В Лангенштайн я пришел под колокольный звон, так как был праздник. Отыскал небольшой дом и увидел, что из трубы, несмотря на раннее время, уже идет дым, поэтому решил постучать. Дверь открыла милая пожилая женщина, я ей представился и передал привет от ее сына. Она чем-то напомнила мне его самого. Еще в австрийской федеральной армии он был фельдфебелем роты, как говорили, «ротной мамашей». Женщина очень обрадовалась, получив первое известие о том, что ее сын жив. Она угостила меня кофе с пирогом. Я вышел на залитую солнцем дорогу и двинулся дальше до Санкт-Георгена, а в Люфтенберге свернул на более короткий путь, где дорога крутыми изгибами спускается к долине Дуная. Тут я увидел облако пыли, поднятой съезжающей вниз машиной, из которой мне кто-то кричал и оживленно махал руками. Машина остановилась. Я быстро подбежал и увидел несколько приветливых лиц и среди них — лицо ночного друга-торговца. Меня подняли в кузов, и я был очень благодарен этим людям за возможность проехать часть пути.

Я уже слабо ориентировался, так фкак там, где раньше были поля, теперь стояли большие жилые дома. Но тут я узнал свой квартал и наш дом. В это время из него вышла женщина, это была моя жена, рядом с ней чинно шагал

мальчик школьного возраста в синем матросском костюме, с бескозыркой на голове, такой, каким я его так ясно видел во с не 2 мая 1941 года в казарме. Мы побежали навстречу друг другу, сын бросился мне на шею и поцеловал меня. Он так ждал возвращения отца, мать ему постоянно говорила, что отец вернется и будет с ним играть, когда он спрашивал, почему у него нет папы, а у других детей есть. Через две недели ему предстояло идти в школу, ранец у него уже был собран.

Жена рассказала, что месяц тому назад она получила две моих открытки, одна шла три с половиной года, вторая — полгода. Она все время меня ждала и на радостях поспешила в отдел кадров земельного правительства к моему работодателю, чтобы сообщить, что я жив, ведь там я уже не числился, моя зарплата была аннулирована, жена получала совсем маленькую пенсию как вдова погибшего воина. Но ответственный служащий сказал ей, что открытки не имеют для него значения, так как последняя отправлена еще несколько месяцев назад и я мог уже умереть. Таким образом до моего возвращения все хлопоты были напрасны.

Оставленные мною в Вене товарищи переночевали на полу в помещении компартии, и Вилли на следующий день смог поехать домой в Штирию, в Грац. Но на перевале Земмеринг был пограничный пункт - между русской и английской зонами. Харреру пришлось предъявить свою русскую справку об освобождении, а затем держать путь дальше в Штирию. Он с радостью обнаружил, что к ней по-прежнему приложим эпитет «зеленая» и ее природа не пострадала, всюду буйствовала зелень, и поля наливались зрелой силой лета. Затем был Грац. Уже в пригороде он видел страшные следы разрушений и пришел в ужас от превращенного в руины вокзала. Ни одно из вокзальных зданий не уцелело, только пути были исправные. На них стояли поезда, платформы кишели озабоченными людьми. То же было и на лежащих в развалинах улицах города: люди, пережившие войну, как и прежде, куда-то спешили. «А мертвые лежат в холодной земле» - от этой мысли у него сжалось сердце, и он подумал о том, живы ли еще его близкие? Уцелел ли дом? Три года полной неизвестности. Не так просто прийти и сказать: «Вот и я». Он многое пережил, а сейчас начал колебаться.

Но уже совсем близко от дома Вилли пришла в голову спасительная мысль: он может зайти к хорошим знакомым, мимо варты которых как раз проходил, и узнать о своих. На его счастье, они оказались дома, с радостью встретили его и охотно рассказали о его семье, тем более, что все обстояло благополучно. Все близкие были живы, здоровы, и

дом тоже уцелел. Теперь Вилли действительно почувствовал себя на родине, так как вновь обрел дорогих ему людей 15 августа навсегда останется для него самой важной датой в жизни, так он решил для себя.

Я был одним из немногих военнопленных, перенесших сталинградскую катастрофу и вернувшихся домой в числе «здоровых», для меня началась новая, мирная жизнь. Своим особым долгом я считал сообщить все, что знаю о судьбе товарищей их родственникам. Большею частью это были австрийцы. Несколько адресов я знал, но чаще имел приблизительные данные о месте жительства. В таких случаях я мог обратиться только в Красный Крест. Кстати, письма туда были освобождены от почтовых сборов. О некоторых товарищах я еще в Вене дал сведения в здании вокзала Хюттельсдорфа, На этой станции, как уже говорилось, были вывешены соответствующие объявления. Там, в пункте розыска, служащие взяли мой адрес, и между нами возникла активная переписка. Чаще всего я мог сообщить только о смерти разыскиваемого или предполагать его гибель.

Но известие о смерти приносило родственникам тоже облегчение, так как приходил конец многолетней неопределенности. Конечно, часто существенную роль играли материальные интересы. Многие пропавшие имели жену и детей, и мое известие давало возможность получения пособия на семью, а также ренты и ссуды. Некоторые женщины фактически уже вступили в новый брак и были рады прояснению обстоятельств, поскольку могли наконец узаконить отношения со своими новыми мужьями, с которыми жили не один год.

Посещая семьи погибших в Верхней Австрии и особенно, в Линце, я столкнулся с самыми различными ситуациями. Через несколько дней после моего возвращения я посетил мать товарища, который дал мне ее адрес до того, как он умер от голода и болезни в начале плена. Адрес я легко запомнил, так как ее квартира была недалеко от моей. Когда я представился как бывший солдат, попавший в плен под Сталинградом, она отнеслась к этому весьма сдержанно. Я старался как можно деликатнее подготовить ее к печальному известию. А когда все же произнес страшные слова, она продолжала молчать. Как мне показалось, эта простая женщина глубоко переживала смерть сына, но повела себя вдруг немного странно, печаль неожиданно оставила ее. Она молчала и слушала. Потом посмотрела мне в лицо и задумчиво > сказал: «Может быть, для него лучше, что он умер сразу и от многого был избавлен, дома его ничего хорошего не ожидало, а его жена уже давно живет с другим». Меня это поразило, я простился и ушел

Затем я посетил родственников молодого веселого товарища из нашей роты радиосвязи. Он был очень приятным, жизнелюбивым парнем лет двадцати. При каждом удобном случае он доставал свою гармонь, играл на ней и при этом пел. Его любимая песня:

Ты — быстрая лань, но тебе невдомек:
свинец браконьера быстрее твоих ног.
Так знай, что над Рейном
с припасом ружейным
охотник идет,
он тебя упасет.

Он был слишком молодым и мягким для войны, и его настигла ранняя смерть, это случилось при нашем бегстве в центре Сталинграда. Мы часто друг с другом разговаривали, и его адрес я легко запомнил, так как знал мастерскую его отца, она была недалеко от дома, где я вырос. Я знал, что у него было несколько братьев. Когда я пришел в мастерскую, то встретил молодого мужчину, который был на него похож, вероятно, брата. Я спросил об отце и узнал, что его отец и мать уже умерли. Однако родной брат убитого остался равнодушным к моему рассказу. Неужели тот молодой весельчак никому не был нужен, или только на фронте он казался таким веселым? А может быть его родственники так изменились за время войны?

Необходимо было выполнить еще одну, особо тяжелую задачу: сообщить моей собственной матери о смерти одного из ее сыновей, который в то же время, как и я, был в Сталинграде и погиб там в бою. О третьем сыне она тоже ничего не знала, он, кажется, воевал в районе озера Ильмень. Только один единственный из четырех сыновей был теперь рядом с ней. Лишь в конце войны его призвали в армию и направили в запасную часть в Брно, он остался жив. Брат, считавшийся пропавшим у озера Ильмень, вернулся домой раненым в конце войны. Только мы, два «сталинградца», оставались без вести пропавшими, но я вернулся. Я не раз деликатно пытался объяснить матери, что брат погиб и у меня об этом есть точные сведения. Но она не верила и ждала его еще 36 лет, до самой своей смерти, ей было тогда уже более 90 лет. Шестерых детей она с большими лишениями подняла на ноги, вывела в люди, но она любила каждого так, словно он был ее единственным сыном.

Особой проблемой для всех нас было вхождение в нормальную жизнь на свободе. Не все с этим справлялись. Я уже упоминал о Зеппе из Штирии, моем былом помощнике на

1
электротехнических работах. Он не смог преодолеть пагубную слабость, стал алкоголиком и умер от цирроза печени. Другой из наших «сталинградцев» был мясником в окрестностях Линца. Вскоре после возвращения он женился на девушке, хозяйке гостиницы и мясной лавки. Я читал об этом в одной местной газете. Самого его я больше не видел, но слышал от знакомого, который с ним часто встречался, что он теперь наслаждается жизнью, хочет «наверстать потерянное». Позже я прочитал в газете некролог, посвященный «видному члену» местной общины, речь шла о нем. Потом я узнал от того же знакомого, что от благополучной жизни бывший пленный раздобыл, отяжелел, и смерть наступила совсем неожиданно. Такая судьба казалась мне непостижимой. Я сам страдал от трудностей адаптации, у меня была, например, повышенная чувствительность к соли и алкоголю. Я вынужден был сильно ограничивать употребление соли и ежедневную еду солить только по необходимости, иначе опухало лицо, особенно вокруг глаз. Тоже самое происходило, если я выпивал хотя бы немного шнапса, который мне часто предлагали радушные крестьяне во время моих геодезических работ. После своего возвращения я *явился* для устройства на работу к своему прежнему работодателю в правительстве земли Верхняя Австрия. Меня направили к референту, ответственному за строительство. Он служил в этом качестве еще до нацистского времени и знал меня с тех давних пор. Этот человек принял меня, как сына, зачислил на работу и послал в командировку для геодезической съемки грузовых дорог. В этот период все товары, особенно продукты питания, продавались по карточкам, а рационы были недостаточными. При съемке дорог почти всегда приходилось жить у крестьян, которые сами были заинтересованы в дорожном строительстве и особенно в обмерах дорог, чтобы земля, отданная под строительство, значилась таковой в кадастре, что избавляло их от налога на эту землю. Кроме того, одновременно могли быть бесплатно оформлены все земельные обмеры, связанные со строительством. Геодезисту все это давало определенные выгоды: он был всегда сыт и в конце недели мог привезти своей семье немного еды. Жить, конечно, приходилось без всяких удобств, но с этим надо было мириться. Наш политический референт считал съемку грузовых дорог очень важным для крестьян делом, так как многие дороги были построены более 10 лет тому назад, но не были промерены.

Мое первое задание касалось грузовой дороги в Мюльфиртеле, севернее Линца, в русской зоне на левом берегу Дуная. Эта дорога была проложена уже несколько лет намд,

однако среди владельцев земли возникли разногласия. Дорога проходила по крутому западному склону и вела из долины вверх к вытянутому по обрыву селению, которое состояло из типичных для этой местности трехсторонних крестьянских дворов. Электрического света там еще не было, его туда провели только через 10 лет. Люди использовали керосиновые лампы, свечи, часто даже сосновые лучины, которые не так быстро гасли на ветру. Дорожный кооператив разместил меня в одном из верхних крестьянских дворов. Хозяйство вели высокий, потрепанный жизнью крестьянин и маленькая, по-матерински заботливая крестьянка, им помогал долговязый подросток лет двенадцати и одна работница. Узнав, что я недавно вернулся из русского плена в Сталинграде, хозяйка со слезами на глазах рассказала мне, что потеряла четырех сыновей в районе Сталинграда. Остался у нее теперь только самый младший. Кстати, сейчас он бургомистр Зонберга.

Эта крестьянка стала особенно заботиться обо мне, хотя для «сталинградца» я выглядел совсем неплохо, но по ее понятиям все еще очень нуждался в поправке. Я боялся, что она закормит меня до смерти. Крестьянская пища с большим количеством масла, сала и мяса была для меня слишком жирной. Глаза вдруг пожелтели, лицо распухло, я почувствовал себя больным. Работа шла туго. Я очень попросил ее умерить рацион еды, сделать попостнее завтрак, не давать ничего между обедом и ужином, и поменьше всякого жира. Она старалась, хотя ей это давалось с трудом. И лишь со временем я стал привыкать к сытной крестьянской, пище. Дома у меня такие проблемы не возникали, так как севернее Дуная, в русской зоне, где я жил, все товары выдавались по карточкам и было слишком мало продуктов питания. Американцам, согласно приказу Сталина, не разрешалось снабжать нас пакетами с продовольственной помощью. Неприятие обильной и жирной пищи сохранилось у меня на многие годы, и до сегодняшнего дня я не страдаю от лишнего веса.

На следующий год геодезический маршрут вновь свел меня с этой семьей, я застал их за работой в поле, высоко над долиной. Помню, был прекрасный день, виднелся весь альпийский хребет, горы слепили белизной, а в низине все зеленело. Мы разговорились с хозяйкой, тут я увидел идущих в гору военных. Это были явно русские, и я спросил у нее, что бы это могло значить? Женщина пожала плечами и ответила, что, наверно, для празднования 1 мая им требуется скотина, но у них нет письменного разрешения от комендатуры, а без разрешения ничего не получится, потому что

весь домашний фсКОТ переписан. В крайнем случае при наличии разрешения можно дать быка из общинного стада, так как это не ее собственность. Я вызвался поговорить с русскими, на это моего знания языка еще было достаточно. Я приветливо поздоровался и спросил, что им нужно. Они, как и ожидалось ответили, что им поручили привезти одну корову на мясо к праздничному столу. Я им объяснил, что это возможно только при наличии письменного разрешения от комендатуры («пропуск»). У них его не оказалось. Я еще раз объяснил, что крестьянка не может дать скотину без документа, иначе будет наказана. Они стали требовать напористее, но я пригрозил им, что если они не уйдут подобру-поздорову, я пожалуюсь в комендатуру и пойду в НКВД. Военные отступились, бросив сердитый упрек в том, что мы ничего не хотим им давать, потому что они русские. Я ответил, что сам провел пять лет в России и знаю: там такое тоже не разрешено.

Я часто разговаривал с русскими солдатами, так как у меня сложилась весьма интересная ситуация: я жил в русской зоне, место службы было в американской, а работы производились в обеих зонах. Я больше любил русских, чем заносчивых американцев, потому что они были разговорчивее и радовались, когда я по-русски приветствовал их и спрашивал о здоровье, интересовался, откуда они родом и кем работали дома. Частенько они рассказывали о своих близких и своей тоске по родине. Как-то на переправе в Раннаридле они меня задержали на полтора часа. На улице стоял мороз, а в караульной будке, где мы находились, было тепло и уютно и между нами завязался душевный разговор, какой ведут просто люди с обычными человеческими чувствами и заботами, забыв о приказах и инструкциях начальства.

На войне и в плену мне часто приходило на ум сравнение невзгод и лишений с испытанием строительного материала. Эта мысль подкрепилась последующим опытом. Если, например, стальной стержень закладывают в машину для испытания на разрыв и все больше растягивают, то он переходит через предел упругости, понемногу нагревается, изменяет сечение и в середине становится все тоньше. Это называют пределом текучести. Если затем прекращают растягивание, то он не принимает старую форму, а остается в полуразрушенном состоянии. Но если растяжение увеличивают, то стержень разорвется. Этот порог называется пределом прочности на разрыв. По пределам текучести и прочности судят о качестве материалов. Но нельзя забывать, что испытываемый стержень будет поврежден или даже - в зависимости от нагрузки — разрушен и что его нельзя больше использовать.

Точно так же, порой жестоко и бессмысленно, обращались с нами во время войны «сильные мира сего». Не подвергались ли мы, люди, на фронте и в плену тяжелейшему испытанию на прочность? Удалось ли выжившим перенести это тяжелое состояние без изменений самого естества? Я думаю, что каждый из нас, возвратившихся из Сталинграда, был травмирован, но наше счастье в том, что мы не были мертвым материалом — просто молекулами, подвергнутыми испытанию, мы были живыми существами, организмом, способным регенерироваться, если возникает возможность и если на него не продолжают давить. Решающую роль играла, конечно, психика. Ведь все помыслы устремлены к свободе и родине как «потерянному раю». О том, что на родине у кого-то были проблемы — порой неразрешимые — никто не хотел вспоминать. Почти никто не говорил о своих проблемах. Зато некоторые жаловались, что война и плен украли у них лучшие годы жизни. Поэтому после возвращения из плена многие решили возместить потерянное. Я же всегда был убежден, что все невзгоды войны и плена являются частью нашей жизни. Жизнь состоит из непрерывных взлетов и падений, ставя нам все новые задачи, и тем самым дает нам возможность развивать свои способности.

Тяжело было почти всем вернувшимся: неженатые хотели создать семью, но испытывали недостаток почти во всем. А тем, кто возвращался к жене и ребенку, часто приходилось нелегко потому, что годы разлуки оставили свои следы, жизненные пути уже разошлись, люди отвыкли друг от друга. Между некоторыми супругами стена возникла еще до разлуки, но они не хотели этого замечать. Каждый нуждался в близком человеке, но думал только о себе, особенно женщины, так как инстинктивно искали защиты. За время долгой жестокой войны женщина тоже хлебнула горя и хотела своего рода возмещения. Но муж возвратился искалеченным телесно и душевно, ему требовалась чуткая помощь. Многие находили женщин, но среди них были и такие, которые думали только о себе. Общая нужда вначале еще как-то способствовала сохранению брака, но затем он все же рушился, так как взаимопонимание сменялось разладом. Обо всем этом я глубоко задумался много лет спустя после возвращения, когда во время одного конгресса встретил товарища, с которым был вместе в плену, хотя и не в последнем лагере. Мы сразу друг друга узнали, несмотря на то, что он немного пополнел. Мне показалось, что он чем-то угнетен. Мы радостно приветствовали друг друга и, азяв в буфете холодной закуски и по бокалу вина, сели за свободный столик в углу. Естественно, мы поинтересовались самочувствием друг друга

и понемногу разговорились о своей жизни и годах, проведенных в плену. Огг вслух размышлял о том, что тогда мы мало говорили о своих личных довоенных проблемах. Действительно, мы мало что знали друг о друге, я, например, не знал, что он тоже был дипломированным инженером. Я рассказал ему о наиболее характерных ситуациях при встречах с родственниками и близкими умерших и поделился размышлениями о том, как необходима бывшему пленному чуткая женщина, которая помогла бы ему вновь встать на ноги и что такое бывает далеко не всегда. Я сказал, что знаю немало негативных примеров, когда женщина носится со своими правами, не желает даже вникнуть в состояние мужа и учитывает лишь формальные вещи.

Он не ответил, принес еще бокал вина, выпил и сказал: «До чего же ты прав! Я сполна испытал это, дошел до конца, до точки. Я хочу уйти от нее, но это невозможно».

Он был из Вены, до войны изучал машиностроение, воевал в авиации, его самолет-разведчик сбили за Уралом. Когда ему удалось приземлиться с парашютом, местные жители встретили его удивленно, но отнюдь не враждебно, хотя все же препроводили его к властям. Все это он рассказал за столиком в буфете. Может быть, я вообще был первым, кому он излил душу.

Его отец умер еще молодым, когда сыну было десять лет и он посещал среднюю школу. Мать выбивалась из сил, чтобы поставить детей на ноги. Но он все же сдал экзамен на аттестат зрелости, а высшее образование получил без отрыва от производства. Однажды в школе танцев он познакомился с девушкой, которая произвела на него очень приятное впечатление, так как она была не только хорошенькой, живой, мастерицей танцевать, но и интересной собеседницей, много читавшей и имеющей свой взгляд на современные проблемы. Однако он не почувствовал себя созревшим для более серьезной связи и не решился сойтись с ней поближе.

По истечении некоторого времени он увидел ее на прогулке в городском саду, опираясь на костыль, она ковыляла к скамейке. Оправившись от шока, он заговорил с ней. Она его сразу узнала. Сначала беседовали об общих знакомых. Затем он все же спросил, что за несчастье произошло с ней. Она рассказала, что вместе с отцом и братом они пошли на лыжах в горы и попали под лавину. Отец и брат погибли. Ее же поместили в больницу с тяжелыми переломами и повреждением позвоночника, при этом уже обнаружили симптомы паралича. Было несколько операций, врачам удалось залечить ее многочисленные переломы, но по поводу позвоночника не могли обещать, что травма обойдется без

последствий. Она никогда не простит отцу этой авантюры с лыжным походом.

Они продолжали встречаться и беседовали на разные отвлеченные темы, не касаясь никаких личных моментов. Она понемногу выздоравливала, для ходьбы ей теперь требовалась обычная трость, но паралич еще не прошел окончательно. Он познакомил с ее матерью, спокойной, хозяйственной женщиной, державшей квартиру в образцовом порядке. Ей было очень тяжело, так как с дочерью приходилось жить на маленькую вдовью пенсию, потому что муж имел небольшой трудовой стаж. Ей приходилось также обеспечивать свою старую мать, которая жила с ними. Муж вырос в богатой семье, где хватало и прислуги, и денег на сладкую жизнь, но инфляция отняла почти все. Мать девушки, воспитанница монастырской школы, была отличной хозяйкой. Ему как-то показали бельевые ящики,— стопки безукоризненно выглаженного белья, перевязанные синими лентами. Вещи были переложены лавандовыми ветками или душистым мылом. Молодого человека часто приглашали на кофе, усаживали за образцово сервированный стол. Бабушка почти не появлялась. Она производила впечатление строгой дамы.

За две недели до оккупации Австрии войсками Гитлера он закончил высшую школу и быстро получил работу по специальности. Работать зачастую приходилось сверхурочно и в разных местах, потому что на инженеров-машинистроителей был большой спрос.

С этого момента девушку будто подменили. Ходить она уже могла хорошо, но временами становилась вдруг очень нервной и даже агрессивной. Тогда, правда, многие люди были беспокойны, так как боялись возможной войны. Несмотря на то, что неожиданная нервозность и пессимизм подруги угнетали его, они все-таки поженились. К тому же он надеялся, что она станет такой же отличной хозяйкой, как и мать. Но как только они поженились, почти каждый день стали возникать разногласия и ссоры из-за того, что она требовала безусловного подчинения в домашних делах. Примером служил дедушка с материнской стороны, находившийся под каблуком своей властолюбивой жены. Работа моего товарища была связана с разъездами, и поздними вечерами он приходил домой усталым. Ей же постоянно хотелось на люди, а муж нужен был прежде всего для вечерних выходов. Вначале они занимали комнату в квартире ее матери и бабушки, в то время с жильем было туго. Ежедневный крик действовал на него ужасно, и после двух недель брака он готов был просто сбежать. Но он не мог этого сделать, так как дискредитировал бы себя в глазах своих близких и

знакомых. Г̃ ут^ началась война, жена высказала пожелание иметь ребенка. Он думал, что, может быть, это принесет ей успокоение. Родилась девочка. Но отношения не улучшились, ' более того, теперь к крикам жены добавился плач ребенка. Ее мать стала затем забирать ребенка к себе, у нее он не плакал. Поскольку дома не было покоя, он искал отдохновения на вольном воздухе, занимаясь планеризмом, чему научился в клубе. Порой он, покрытый испариной, вскрикивал по ночам. Призыв в вермахт казался избавлением. Правда, война в России еще не началась. Прежде всего надо было пройти военно-медицинскую комиссию. Там его спросили, на что он жалуется. Он рассказал врачу о своем состоянии по ночам. Врач ответил, что это от нервного утомления и при смене окружения скоро пройдет. Как инженера-машиностроителя и планериста его призвали в военную авиацию, он прошел летное обучение и был послан в Россию пилотом авиаразведки дальнего действия. В нашем лагере, как и Хар-рер, он находился на положении пленного офицера. Но как офицеру ему разрешили поехать домой только годом позже. Когда, наконец, вернулся домой, то ребенок его, конечно, не узнал, но с девочкой удалось установить нормальный контакт. С женой, однако, возникли те же трудности, что и раньше. По малейшему поводу она поднимала крик, вечно настаивая на своем. Ничто ее не устраивало, домашнее хозяйство не интересовало, все домашние дела она возложила на мать, а сама почитывала книги, часто после полуночи. Она не могла понять, что такое настоящая совместная жизнь. Для нее это было чем-то слишком примитивным. Она всегда только жаловалась, что он приносит домой мало денег, хотя зарабатывал он неплохо и почти все отдавал. Когда ее мать постарела и стала менее работоспособной, он видел, как его жена все больше запускает домашнее хозяйство. Но неряшливая жена у каждого мужчины вызывает отвращение! Он готов был терпеть до той поры, когда ребенок вырастет и больше не будет так нуждаться в отце. Между тем, у жены развилась невероятная тяга к мучным блюдам и сладостям, из-за чего она очень располнела, ей вновь стало трудно ходить, появилась сильная отдышка. В довершение всех бед при поездке за границу она сломала ногу, так что теперь могла ходить только с костылями. И он тем более не мог покинуть ее: это вызвало бы всеобщее осуждение. Кроме того, из-за большого веса у нее начался сахарный диабет и нарушилось кровообращение. Он ей всегда, по возможное^, помогал в домашней работе, но ни разу не встретил понимания или благодарности. Жизнь стала пыткой, но выхода он не видит. Она категорически отклоняет всякую консульта-

цию у психолога или психиатра и недавно вновь прогнала вызванного им на дом специалиста. Подростающая дочь тоже очень страдает от такой жизни. Она хорошо учится в школе и дома очень много помогает. Девочка становится приятным человечком.

Я посоветовал ему поразмыслить о том, как много людей, посланных на войну, вернулось домой искалеченными физически и душевно, с нами тоже могло случиться такое. Кто знает, сколько родственников и близких должны страдать от их неуправляемых настроений, потому что эти человеческие реликты войны не могут смириться со своей судьбой. Война не решает жизненных проблем, а только создает новые для людей, которые по своей сути не становятся другими. Мы и наши товарищи многое перенесли, но все же вернулись домой достаточно здоровыми. Я сказал ему, что он всегда должен думать о том, сколько мы пережили и что нас всегда ожидают новые, еще не решенные задачи. Он справится со своими семейными трудностями, потому что жизнь продолжается. Позже мы еще несколько раз виделись, и у меня сложилось впечатление, что он справился.

В целом многие товарищи после возвращения домой выдержали тяжелый груз пережитого, нашли в себе силы спокойно решать самые тяжелые проблемы, стали более зрелыми людьми, так как «испытание на прочность» войной и пленом не разрушило их. Требовались ли им для этого война и плен? Вряд ли.

Вместо послесловия: через 50 лет после катастрофы под Сталинградом

Во время бесед с заинтересованными читателями моей книги «Сталинградский пленник» я часто слышал один и тот же вопрос: был ли Гитлер действительно таким свирепым диктатором, каким его сейчас часто представляют, или же о нем можно сказать и нечто позитивное? К сожалению, история еще не дала на него полного ответа. К тому же, люди старшего поколения не хотят говорить про то время. Я же отвечал, что для уяснения процессов, приведших ко второй мировой войне и гитлеровскому режиму, нужно кратко рассмотреть последствия первой мировой войны (1914—1918 гг.). Только после этого можно выносить соответствующее суждение.

Германия, Австрия и большевистская Россия после Первой мировой войны столкнулись с большими экономическими и политическими проблемами. «Победители» не хотели этого понимать и даже дали волю своей ненависти на Генуэзской международной конференции по экономическим и финансовым вопросам в 1922 году. Тогда Германия и Россия 16 апреля подписали в небольшом итальянском городке Рапалло, что недалеко от Генуи, договор о восстановлении дипломатических и торгово-экономических отношений. Большая заслуга в этом принадлежала немецкому министру иностранных дел Вальтеру Ратенау. Вскоре он добился снижения военных репарационных выплат для Германии, но, несмотря на это, во время еврейской травли, устроенной правыми радикалами, он был объявлен предателем и убит в Париже в 1922 году.

Германия помогала Советскому Союзу в строительстве тяжелой индустрии и даже развивала там свою запрещенную мирным договором военную промышленность, особенно авиастроение, и занималась военными исследованиями. Вскоре установилось тесное сотрудничество представителей не-

мецкого командования с маршалом Тухачевским и группой советских офицеров по строительству и организации Красной Армии. Однако в 1937 году Тухачевский вместе со многими высшими военачальниками был казнен по приказу Сталина, подозревавшего их в шпионаже и использовании своего влияния в армии для подрыва единоличной власти. За два года до начала второй мировой войны Советский Союз потерял своих самых талантливых военачальников и командиров и лишь отчасти мог наверстать упущения в военной промышленности. Она сильно отставала от западной, потому что полностью зависела от слабо развитого тяжелого машиностроения, энергетики, угольной и сталелитейной промышленности. Автомобильные и железные дороги требовали коренного улучшения, техническое снабжение было неудовлетворительным.

Тем временем в Германии после так называемого мюнхенского «пивного путча» в 1923 году Адольф Гитлер был осужден на пять лет и посажен в тюрьму в Лансберге, но вышел раньше срока, через один год. В тюрьме он написал свою «библию», книгу «Майн Кампф» («Моя борьба»), в которой указывал, что война на два фронта и «удар в спину» явились причиной поражения в Первой мировой войне. Он, как и другие национал-фанатики, не хотел признавать, что фронт уже давно развалился. Читателю внушается, что Гитлер мог бы добиться успеха в той ситуации. Вместе со своими единомышленниками он создал СА — штурмовые батальоны, СС — охранные отряды, организовал разнузданную пропаганду, чтобы добиться сильной политической власти.

Его НСДАП (Национал-Социалистическая Рабочая партия) в 1932 году не получила большинства на выборах в рейхстаг. Несмотря на это, он, используя голоса других партий, кроме коммунистов, пришел к власти легальным путем, и 31 января 1933 года президент генерал-фельдмаршал Гинденбург утвердил Гитлера рейхсканцлером Германии. Это случилось потому, что другие партии не видели выхода из фатального экономического кризиса, они полагали, что и Адольф Гитлер тоже будет посрамлен. Для выхода из экономического кризиса Гитлер потребовал немедленного принятия закона о «чрезвычайных полномочиях» в сфере экономики. Только коммунисты голосовали против. Но 27 февраля 1933 года вдруг возник пожар в рейхстаге, сразу был найден «поджигатель», им стал голландский коммунист. Он был осужден и казнен. Тотчас была запрещена коммунистическая партия Германии. Злоупотребляя законом об экономических полномочиях, Гитлер при помощи СА и СС установил жестокую диктатуру. Все граждане, вызывавшие подо-

зрения у новой" государственной полиции, особенно депутаты, помещались в концентрационные лагеря. Затем он расправился с бывшим рейхсканцлером, генералом Шляйхером, основателем и шефом СА Эрнстом Ремом, которого прежде сделал членом правительства, но заподозрил в предательстве. Гитлер действовал по сталинскому образцу и сходными методами. В ответ на убийство немецкого советника посольства Э. фон Рата евреем Гринспаном нацисты в «хрустальную ночь» с 9 на 10 ноября 1938 устроили по всей Германии «спонтанные» еврейские погромы; сколько при этом погибло и пострадало людей, никто не знает. Повсюду горели синагоги и громились еврейские магазины, многие евреи были отправлены в концлагеря.

Технические и военные специальности были объявлены важнейшими профессиями. Главной задачей экономики становилось вооружение. Значительно возросло производство стали, расширилась военная индустрия, на новых авиазаводах строились сконструированные в России современные самолеты, а в это же время во Франции министр Пьер де Кот начал в соответствии с мирным договором сокращать авиацию. В Англии стараниями премьер-министра от лейбористской партии Мак-Дональда начался демонтаж военно-морского флота. Одновременно Гитлер вел переговоры о возвращении Германии земель, принадлежавших некогда рейху. Все вопросы он привык решать силой или угрозой силы. Планировались и строились автострады как стратегические транспортные артерии, развернулось широкое жилищное строительство. Всюду всем была работа, причем деньги не играли особой роли. Этого удалось достичь вновь назначенному имперскому министру экономики Хьяльмару Шахту (1934—1937). Он умело проводил гитлеровскую политику «постоянной занятости населения». В то же время он регулярно увеличивал печатание рейхсмарок, объясняя этой защитой «рабочей силы немецкого народа», (до и после этого Шахт имел другие правительственные поручения, а в 1944 году из-за участия в заговоре против Гитлера он был арестован и по этой причине оправдан на процессе над военными преступниками в Нюрнберге). Гитлер пообещал тогда сделать немцев «народом автомобилистов». Для этого требовалось построить новый большой автомобильный завод. Кто внесет тысячу марок, тот вне очереди получит сконструированный Фердинандом Порше автомобиль «Фольксваген». В качестве примера он приводил поточно-автоматическую линию Стоу-Б[^]би-Кляйнавто в Австрии по производству малолитражек в Штейре, которые можно было купить за 5000 шиллингов, то есть за 2,1 годовой зарплаты каменщика. Многие немцы внесли по 1000 марок.

Конечно, счастливыми обладателями «фольксвагена» могли стать лишь немногие, потому что его производство работало на воину. К 31 ому прибавились новые заботы: новые деньги (рейхсмарки) за пределами Германии не принимали, что вызвало затруднения с приобретением сырья (железа, нефти и т. д.) и продовольствия, особенно мяса, жиров, масла, кофе, чая, какао и других нормированных товаров.

Для решения этих проблем пришлось обратиться за помощью к немецким гражданам, имеющим иностранную валюту, ценные бумаги или золото. Все это нужно было обменять на немецкие «бумажные марки». Много немцев в течение многих лет жили за границей. Они были вызваны обратно, «потому что в них нуждался народ». И когда началась война, им пришлось вернуться, иначе они предстали бы врагами, были бы интернированы и попали бы в концлагеря за колючую проволоку. Свой зарубежный капитал и золото они должны были под угрозой суровых наказаний обменять на бумажные марки. Некоторые при возвращении набирались смелости и вкладывали деньги и другие ценности в швейцарские банки, несмотря на то, что в случае доноса им грозили суд и наказание. После войны они узнали, что их ценности им будут возвращены с большими процентами. Однако большинство немцев потеряло все. В «Великой Германии» правил «горшок с похлебкой», но еще не голод, пока война была относительно далеко.

Чтобы выйти из трудностей со снабжением, Гитлер отдал приказ без объявления войны 22 июня 1941 года широким фронтом двинуться на Советский Союз, в то время как его не подозревавший предательства друг по имени Сталин продолжал доставлять ему вагоны обещанной пшеницы. Гитлер «вынужден был» использовать Украину как зерновую базу и дорогу к нефтяным источникам Баку. Сначала Сталин был не в состоянии организовать мощный отпор. Это стоило ему больших потерь, особенно людских, и прошло немало времени, пока с помощью Запада он сумел оказать настоящее сопротивление. Это привело к катастрофе под Сталинградом и к поспешному отступлению немцев. Союзники поставляли Сталину современное оружие и технику, которые он заказывал по «ленд-лизу». Для них это был хороший бизнес. Война закончилась совместной оккупацией Германии союзниками, и тут уж не могла сработать легенда об «ударе в спину», потому что в Германии существовала только одна партия — национал-социалистов со всеми рычагами государственной власти, во главе с верховным и всемогущим фюрером Адольфом Гитлером, которому удалось овладеть умами своих легковых фанатиков до горького конца их веры в «оконча-

тельную победу*. В гитлерюгенде, СА, СС или на фронте они вдохновенно горланили строки «остроумной» песни: «Ничто нас не удержит, мы страшный оставим след, сегодня пас родина слушает (понимай как «слушается»), а завтра — весь белый свет». И какими отрезвевшими, разбитыми и разочарованными возвращались они домой! Сколько они потеряли друзей! Сколько людей было убито и покалечено! Сколько преждевременно состарилось! Сколько жертв обмана и жестоко одураченных, среди которых остались еще до сих не образумившиеся фанатики!

С самого начала Австрия имела свою собственную историю. После свержения Габсбургской монархии уцелела только одна маленькая, немецкоговорящая часть. Почти все жители нового государства, насчитывавшего 6,5 миллионов человек, не верили в возможность суверенного существования. Национальным советом было принято решение присоединиться к Германии, но это запрещалось мирным договором. Австрия рано вступила в Лигу наций и, чтобы выйти из инфляции, получила для развития своей экономики солидную ссуду. Для контроля за использованием этой ссуды был назначен комиссар — Циммерман. В 1924 году шиллинг был переведен в новую, подлинно золотую валюту (10 000 крон равнялись 1 шиллингу). Ипотечные банки платили за золотой вклад по 6,7 и 8% дохода. После окончания гимназии в июне 1930 года я поступил на службу в ипотечный банк в Линце и удивлялся, когда кассир при выдаче денег в 100 шиллингов спрашивал, вам бумажными деньгами или 100 шиллингов золотой монетой? В те времена вследствие биржевого краха в США распространился мировой экономический кризис, и весь мир охватила безработица, тогда-то и пришли к власти в Германии — Гитлер, а в Италии — Муссолини. Вскоре повсюду возобладало мнение, что из кризиса может вывести сильное руководство. В Австрии в 1933 году бундесканцлер Дольфус использовал самораспуск парламента из-за отставки всех трех председателей парламента еще в 1932 году, применив соответствующие статьи закона и с помощью уже созданного «хайвера» учредил в стране партийно-политический «Отечественный фронт», в который должны были войти все австрийцы, настроенные против Гитлера, и на этой основе создать сильное христианское сословное государство. Враждующая армия - Республиканский союз - была запрещена. Между этими группировками, как и раньше, разгорелась острая борьба. Обе стороны имели оружие, получаемое отчасти из остатков имперских арсеналов. К тому же все больше и больше появлялось национал-социалистов. Я был тогда студентом, и многие мои однокурсники стали приверженцами новой партии.

Я уяснил ее взгляды и цели, для чего изучил книгу Гитлера «Майн Кампф», программу нацистской партии и сочинения Розенберга. После изучения этих материалов я стал убежденным противником Гитлера. Я ненавидел войну и считал, что страдающий манией величия фюрер хочет повторить мировую войну. Я ненавидел всякую диктатуру, а также всякую монархию, у меня вызывала отвращение любая униформа, хотя я девять лет был бойскаутом. Я с удовольствием ходил в походы, жил в палатках, но никогда не любил бойскаутской фуражки на голове. В Вене я был активным членом одной студенческой организации, но меня отнюдь не привлекала ее атрибутика: фуражки, пояса, надраенные сапоги и парадные сабли. Я горячо спорил в студенческих кружках с восторженными сторонниками нацизма, которые часто были авторитетами среди своих. Я не встретил среди них ни одного, кто знал бы программу нацистов или читал «Майн Кампф». Я цитировал основные положения из этих текстов, но меня не хотели слушать, так как считали, что каждый должен быть национал-социалистом. Затем, для полноты знаний, я прочитал двухтомную биографию, автором которой был журналист Конрад Хайден «Гитлер, путь к власти» и «Один против Европы».

Одну занимательную историю уже после вступления Гитлера в Австрию рассказали мне во время геодезических работ в 1938 году старожилы Леондинга, тогда мы прокладывали дорогу для автобусного сообщения между Леондингом и Линцем. При этом выяснилось, что надо снести старый развалившийся сарай. Оказывается, Гитлер со своими ровестниками многие годы часто использовал его для своих диких игр, в которых был заводилой. Вот почему нацисты берегут и сохраняют эту халупу. Увидев, что я не испытываю благоговения перед этим памятником, мне рассказали другую историю, как Гитлер задумал тогда устроить крушение экспресс-поезда на западной железной дороге между Унтергаумбергом и Арльбергом, рядом с каменоломней. С целью ограбления. Для этого он и его товарищи выкатили из каменоломни большой камень, положили его на рельсы и с нетерпением стали ждать. К счастью, локомотив был достаточно мощным и столкнул камень с рельсов. Гитлер был очень разочарован и, выходя из засады, сказал им: следующий раз возьмем камень побольше, а теперь надо уносить ноги, а то обходчик накостыляет. Леондингцы подумали, что если такой человек получит большую власть, он принесет много несчастья миллиона!^ людей. Как они были правы.

В Вене и других городах Австрии царили безработица и горькая нищета. На улицах не только городов, но и сел было

полно нищих. Люди опасались заходить в телефонные будки и магазины, принадлежавшие евреям, так как нацисты закладывали там бомбы. Австрийская сталелитейная промышленность находилась в руках немцев, но не получала от них никаких заказов. Иностраный туризм из Германии был блокирован и парализован тысячами препон и запретов, каждый немец, желавший провести отпуск в Австрии, должен был уплатить сумму, равную 40 000 теперешних шиллингов. Эсэсовцы стали нападать на сотрудников бундесканцелярии и при участии СА застрелили бундесканцлера Дольфуса. Но австрийцы не испугались. Новый бундесканцлер Шушниг поднял цену на золотой шиллинг на 25% и начал крупные строительные работы. Все это происходило под покровительством Муссолини, который, правда, впоследствии напал на нас и стал союзником Гитлера. Экономика стала приходить в себя. Правда, социалистический «шуцбунд» оставался запрещенным. Попытка достигнуть соглашения с социалистами не увенчалась успехом. Гитлер был возмущен сопротивлением Австрии и ответил вводом немецких войск (в середине марта 1938 года). 10 апреля Гитлер провел «свои всенародные выборы» при тайном голосовании. Вблизи избирательных участков были поставлены полицейские и функционеры нацистской партии, готовые без промедления вступить в действие, к тому же в избирательных бюлетенях вопрос был поставлен однозначно, голосовать можно было только «за», но не «против». В такой ситуации проголосовали «за», отрицательно голосовавших практически не было. Победив на выборах, Гитлер, как уроженец Австрии, надеялся на торжественную встречу, но она не получилась (в Вене было приблизительно 1,5 миллиона жителей, а встречать его вышло 150 000, и то больше из любопытства). В то же время Гитлер вступил в тесный контакт с Муссолини и договорился о судьбе Южного Тироля: эта область достается Италии, а каждый тиролец получил возможность свободно решить, где он хочет оставаться, в Германии или на месте, в Тироле, но под итальянским правлением. Лишь немногие пожелали уехать. Оставшиеся находились под гнетом, который закончился лишь в 1992 с принятием договора между Австрией и Италией под эгидой ООН. Для Гитлера 380 000 южных тирольцев не были достаточным поводом для вражды с Муссолини. После окончательной победы он собирался поселить их в новых восточных землях.

Успех «народно-демократических» выборов удался Гитлеру не только благодаря надувательству, но и с помощью прогермански настроенных социалистических политиков, таких например, как Карл Реннер, хотя в 1945 году по пред-

ложению Сталина он был избран федеральным президентом Второй Республики действительно демократическим путем. Имелось много и других знаменитых политиков этой партии, мыслящих, как Реннер. Была еще либеральная партия Великой Германии, правда, она и ее идеологи представляли себе это понятие уже иначе. Большую негативную роль сыграло политическое непостоянство кардинала Пннитцера, главы католической церкви: до вступления гитлеровских войск он энергично выступал за независимость Австрии, опираясь при этом на международный закон, но затем стал в своих проповедях советовать верующим голосовать за присоединение Австрии к гитлеровской Германии. Он утратил доверие папствы, что не сулило материальных выгод церкви, и дела ее решались тайно. По инициативе прелата и политика Игнаца Зайпеля был заключен конкордат между Дольфусом, Шушниггом и святым престолом, что гарантировало его права и обещало доход от церкви. При скоропалительном заключении договора Гитлер оказался достаточно хитер, чтобы заверить его стороны в своем одобрении. «Церковный налог» не вызвал удовольствия верующих. Но Гитлер распространил его на Германию, ведь это были не его деньги, их платили только католики, и это продолжается и по сей день, и не только в Австрии. То, что Гитлер не жаловал евреев, было в традиции католической церкви. В Страстную неделю их поминают как «убийц Христа». И так было за двадцать семь лет до второго собора в Ватикане, внесшего существенные изменения в церковную жизнь. Война Гитлера со Сталиным была для церкви «справедливой войной», потому что Сталин являлся для нее более опасным врагом. На протяжении всей истории католическая церковь часто сама вела жестокие войны и всегда находилась «теологи», которые объявляли эти войны «справедливыми». «Не убий» или «Возлюби врага своего» — верить в это предоставлялось простому люду, овцам, но не пастырям. Они сжигали на кострах всех, кто думал по-своему, объявляя их еретиками и ведьмами, а до этого изуевич их в своих пыточных застенках. И всегда это делалось «во имя Господа». Почему бы при всем этом не объединиться с Гитлером? И неудивительно, что за 2000 лет деятельности католической церкви человечество не стало действительно христианским. Всегда во главе угла были власть и собственность. Весь мир, стоявший над схваткой, дал Гитлеру неслыханную свободу, как теперь некоторым политикам в Югославии.

Западные страны проявили подобную же близорукость в 1938 году, когда Гитлер напал на Австрию и оккупировал

Судетскую область. Дело ограничилось тем, что к нему прилетел английский премьер-министр Чемберлен и за счет чехов, которые не могли сопротивляться, заключил с ним «Мюнхенское соглашение». Я еще до сих пор точно помню по газетным фотографиям, с каким гордым видом Чемберлен взмахнул этим «мирным договором» на трапе самолета при возвращении в Лондон. На следующий год пришел черед захвата Польши. Гитлеровская тактика «куска колбасы» вновь нашла себе применение. От диктатора нельзя ждать соблюдения правил и соглашений. Демократии всегда труднее развязать войну, чем диктатуре. Кто знает, как бы дальше стала развиваться история, если бы Австрия оказала сопротивление, а Чехословакия (в то время хорошо вооруженная) присоединилась бы к ней. Федеральный президент Миклаш и его окружение не отдали приказа сопротивляться, я всегда считал, что это было жестокой ошибкой. Австрия являлась членом Лиги Наций и имела документированное право на неприсоединение. И Гитлеру не удалось бы насильственно присоединить нас, как чехов, к милитаристской Германии. Конечно, не обошлось бы без жертв и разрушений, но их было бы значительно меньше, чем при немецком господстве.

После распада Габсбургской монархии в 1918 году на судетских немцев не распространялось право самоопределения, и они были принудительным образом присоединены к Чехии в 1919 году и ограничены в своих правах. Гитлер поддерживал их партийного вождя — Конрада Генлейна и его требования автономии, но вначале уклонялся от нападения на Судетскую область. В марте 1939 года, несмотря на «мирное соглашение», он оккупировал эту территорию и превратил ее в протекторат рейха во главе с беспощадным протектором. В 1945 году вновь созданная Чехословакия жестоким образом изгнала все 3,5 миллиона судетских немцев и всех венгров. В 1948 году в результате коммунистического путча была провозглашена Чехословацкая народно-демократическая республика.

В 1968 году ей пришлось выдержать введение русских танков после так называемой «пражской весны», и только в 1989 году она смогла освободиться от диктатуры, превратившей ее в бедную, «развивающуюся» страну. Процесс возрождения будет долгим и болезненным.

Я уже писал, что свой второй письменный эк'мшен я сдавал в середине марта 1938 года еще до нападения Гитлера, а устные — уже потом, при немцах. Я получил обещанную мне ранее должность. Правительство (правда не Верхней Австрии, а Верхнедунайской об'тасти) не настаивало на том,

чтобы я работал в качестве профессионального чиновника, иначе мне пришлось бы вступить в нацистскую организацию. В 1941 году я делал все, чтобы не стать офицером вермахта.

Конечно, я далеко не всегда был последователен, но моя позиция очень помогала мне пережить ужасные события войны и плена и избежать тяжелого физического и психического увечья.

После выхода в свет моей книги я получил много искренних благодарных откликов, из которых узнал, что мои читатели не считают те годы совершенно потерянными, и это помогло им освободиться от тяжелого груза прошлого. Я сам в течение сорока лет избегал об этом говорить, потому что боялся еще раз увидеть такое даже во сне. Первый толчок к написанию книги дал мне мой друг Харрер. Однажды, в 1983 году, он позвонил мне в полночь и напомнил о моем обещании написать книгу о том жестоком времени: то, что уже было написано, казалось ему слишком приглаженным. А ведь, действительно, сколько молодых людей было втянуто гитлеровской пропагандой в эту самую бессмысленную и кровопролитную из всех войн. Среди них было немало и девушек в самом цветущем возрасте — семнадцати—восемнадцатилетних. Можно представить себе, с какими травмами эти нежные создания возвращались домой. Некоторые даже искали спасения в алкоголе. С каким идеализмом, с какой жадной жаждой приключений шли они на войну! И какими безгранично разочарованными чувствовали себя после войны на родине, которая казалась им чужой.

Вопрос о том, извлекают ли люди уроки из страшных событий, остается без ответа. Да и есть ли ответ вообще? Большинство людей не могут его дать. Ведь они такие разные, а многие еще смолоду не могут и не хотят чему-либо учиться. Они становятся идеальными подданными для жаждающих господства и власти. Людям вообще необходимо знать и соблюдать основные законы и правила совместного общежития как добровольно, так и по принуждению. Они следуют общественной морали, признают чтимые на Западе основные права человека: достоинство, равенство, неприкосновенность личности, какой бы она ни была. Однако среди людей есть и такие, которые отступают от общечеловеческих норм, имеют специфические отклонения, готовы истязать и убивать. В нормальном обществе таких изолируют, судят и наказывают. Но при общественной системе, опирающейся не на человеческие ценности, а на угнетение, подчинение воле диктатора, все обстоит иначе. Диктатуры всегда ведут к войне против созданного ими образа врагов. Это шанс для рвущихся к власти. Они удивительно быстро делают карьеру и по-

лучают высокие посты. Тогда все средства хороши, но главное — обещание «победы» над сильно стилизованным «врагом». Случалось и так, что даже своих соотечественников такие типы преследовали на основе личной неприязни и безжалостно расправлялись со своими «врагами». Так разжигается гражданская война в мирном обществе. Общепринятая мораль превращается в собственную противоположность. Беззастенчивая пропаганда навязывает народу идею «справедливой войны» и ищет «врагов народа». В инакомыслии видят большую опасность. Так было при Гитлере, и это характерно для всех диктатур. Но никто не хочет признавать своей вины при поражении в войне. А «победители» говорят о праве сильного, забывая о том, что часто осуществляли это право вопреки моральным принципам.

На вопрос молодых людей, действительно ли Гитлер был таким извергом и не сделал ничего хорошего, я хочу дать возможность ответить им самим. Можно ли признавать позитивное начало после страшных ужасов, миллионов смертей, огромного количества разрушенных больших и малых городов, безграничного горя, которое Гитлер принес человечеству? А юноши, по существу, дети, посланные помощниками в зенитную артиллерию для защиты осыпаемых бомбами городов: юнцы, которые становились калеками или погибали? Можно ли найти всему этому хоть какое-то оправдание? Ведь извращения зашли так далеко, что люди из страха писали: «Мы с гордостью и скорбью сообщаем, что наш сын погиб на поле чести за нашего фюрера, народ и отечество». Кто этого не делал, тем занималось гестапо. С десятилетнего возраста в детских организациях начиналась тотальная, изощренная, приспособленная к психологии ребенка обработка сознания. Наивная детская болтовня могла стать очень опасной для старших, если доходила до ушей гестаповцев. С четырнадцати до восемнадцати лет юноши воспитывались в гитлерюгенде, а с семнадцати лет при воинской части получали начальное военное образование, вступали в армию и направлялись на фронт. Девочки тоже получали военизированное воспитание, с четырнадцати до восемнадцати лет состояли в БДМ (Союзе немецких девушек), а в двадцать один год их могли призвать в армию, кстати, многие из них попали в плен под Сталинградом. В одной хорошо известной мне семье было четыре сына. Когда двое старших погибли, отец обратился в призывной пункт с просьбой, чтобы не забирали хотя бы одного, оставили для продолжения рода. Его передали в руки гестапо. Проучив старика, его вечером отпустили домой. Но двух живых сыновей тут же отправили на фронт, где они пали «за фюрера, народ и отечество».

Я могу дать молодым людям только один совет: оставайтесь всегда любознательными и критически мыслящими даже в отношении самих себя. Думайте об этом. Помните, что люди по своей природе обладают способностью приспосабливаться к окружающей среде. Появившись на свет, ребенок прежде всего нуждается в людях, которые, кроме обычной заботы, могут дать ему тепло любви и чувство защищенности. Это впитывается с манерами и языком. Цвет волос или кожи, принадлежность к иной национальности для ребенка в этом случае не существенны. Ведь все это неотъемлемая часть его жизни. Национализм — ошибочное учение, и как многие ошибочные учения, он повлек за собой ужасные войны, так было в прошлом, так происходит и теперь (например, в Югославии). Перед нашими глазами снова возникает война между Востоком и Западом. Опять встает вопрос о том, что для кого существует: государство для народа или народ для государства? Гитлер позаимствовал правовую систему восточных народов, которых сам же готов был уничтожить как представителей «низшей расы».

Вторая мировая война, развязанная Гитлером и фашистской Германией под лозунгом борьбы за «жизненное пространство», принесла обратный результат. Проигранная Гитлером и Германией война повлекла за собой чудовищное выселение миллионов немцев с территорий, столетиями ими занимаемых, при этом было надолго потеряно Ю8 400 кв. км восточных земель с населением в 17 млн. жителей. Те, кто не мог бежать «домой в рейх», были большей частью убиты или попали под коммунистическое господство Сталина. Американцы и другие западные победители уже не совершили такой ошибки, как в 1922 году в Рапалло. Они сделали выводы из уроков истории. Своим «планом Маршалла» они помогли побежденному и уничтоженному врагу — Германии — в восстановлении ее экономики, стали ее другом, поддерживали и охраняли ее от возможных ударов Сталина. Конечно, это не делалось совершенно бескорыстно. Оккупационные власти США, Англии и Франции все вместе и каждая в отдельности получали возможность противостоять коммунистической оккупационной власти в восточной зоне. Одновременно они могли привести в нормальное состояние свою чрезмерно развитую за годы войны индустрию. Все оккупационные расходы несли, разумеется, немцы. Они не имели права создавать и содержать армию. Со временем немцы превратились в мирный народ, который с большим прилежанием восстановил страну, и теперь она относится к промышленно развитым державам. «Народ без жизненного пространства», как Гитлер называл немцев, несмотря на все потери,

быстро поднял продуктивное! в сельскую хозяйства, а прекратив гонку вооружений, добился продовольственного изобилия. Сейчас Германия является уважаемым членом ЕС (Европейского содружества) с самым высоким уровнем жизни. Когда коммунизм на востоке развалился из-за своей нежизнеспособности, 17 миллионов восточных немцев пожелали объединиться с западными немцами. Они полагали, что за короткое время все их проблемы будут решены, но каково же было их разочарование, когда они поняли, что придется ждать годы, прежде чем будут устранены все разрушительные последствия для 17 миллионов бывших жителей ГДР, и они уже не будут представлять внутривосточной опасности для всей Германии.

Активная политика Сталина по восстановлению независимости Австрии существенно изменила гражданскую атмосферу в стране. Никто уже больше не говорил о диктатуре рабочего класса и о муштре в частных армиях. Многие бывшие политические противники, отсидевшие в концлагерях, научились находить общий язык друг с другом и строить планы относительно новой, свободной, независимой Австрии. Вернувшись домой из концлагерей, с войны или из плена они воплощали в жизнь совместно выработанные планы восстановления Австрии. Это не обходилось без дебатов, но что касается отношения к четырем оккупационным властям, то в этом вопросе все были настроены одинаково отрицательно. Хотя коммунисты никогда не играли значительной роли в Австрии, австрийцы поверили Сталину, так как он признавал их западную ориентацию и стремление к полной независимости. Тут, конечно, сыграло роль и то обстоятельство, что нейтральные Швейцария и Австрия обозначали как бы водораздел между Востоком и Западом. После многочисленных настойчивых переговоров (а кое-кому они казались безнадежными) четыре державы заключили с Австрией государственный договор о восстановлении свободного и независимого государства, и после десяти лет оккупации войска покинули ее территорию. Три державы даже оставили ей свое вооружение. Национальный совет в 1955 году принял решение о соблюдении постоянного нейтралитета. Это понятие так сильно укоренилось в умах австрийцев, что политики не были уверены, проголосует ли большинство населения за вступление в ЕС (Европейское содружество), потому что ЕС может потребовать отмены этого постановления. Вопрос о былом аншлюсе даже не поднимается. Конечно, в Австрии, как и в других странах, есть еще не образумившиеся нацисты, но они уже давно сошли с политической арены и просто доживают свой век. За более чем пять десятилетий выросло новое

поколение людей, которые плохо лнают прошлое Многие из них не удовлетворены окружающей их жизнью и рвутся протестовать

Они поднимают много крика и используют громкие слова Тут пригождается и «Гитлер» с его терминологией и эмблематикой Надо помочь этим юнцам стать нормальными людьми, по крайней мере, слушать и воспринимать их все-ррез, даже если их критические суждения не очень приятны Политикам нужна критика, так как они часто совершают ошибки и порой - с тяжелыми последствиями Они должны вырабатывать и принимать ясные решения, а при необходимости отступить, если не желают неприятностей на выборах. Такова демократия

Знаменательная встреча пятьдесят лет спустя

Они получили приказ к вечеру пробиться на разрушенный бомбами тракторный завод и осторожно поползли через развалины. И тут вдруг совсем близко увидели множество русских. Началась яростная перестрелка. Они радировали о помощи, но никто не приходил им на выручку. Стало темнеть, стрельба прекратилась. Наступила полная тишина От усталости они уснули, хотя не имели понятия о том, ушли русские или нет Как только забрезжило, командир взвода связи Пруза встал на ноги и тут же в десяти метрах от себя увидел вооруженного до зубов русского Тот взмахнул обеими руками и крикнул- «Не стрелять! Иначе мы все погибнем!» Пруза тоже поднял руки, после чего и русские, и немцы разошлись без единого выстрела Они действовали, подчиняясь инстинкту, естественному стремлению выжить, а приказы требовали от них умереть.

На встрече в Сталинграде, посвященной пятидесятой годовщине тех военных: событий, австриец рассказал об этом эпизоде. И тут один из русских прервал его словами- «Дай мне досказать за тебя!» И точно воспроизвел дальнейшие события Это был тот самый русский На эту встречу он пришел в надежде повидаться со своим тогдашним «врагом» и поприветствовать его как «друга» Былые враги, ставшие таковыми по безумной воле Гитлера, австриец Виктор Пруза, служивший в вермахте, и ветеран Советской армии Александр Ракицкиц были безгранично рады столь невероятному свиданию

Содержание

Предисловие	5
Предыстория сталинградской катастрофы	7

Глава первая 1943 год

Испытание для выживших	9
31 января 1943 года мы — в русском плену	12
15 февраля 1943 года первая надежда на улучшение	17
Что было в нашей прошлой жизни?	21
Ужасные сцены	45
Неудачная попытка бегства	56
В трудовом лагере «Красноармейск 108/1»	63

Глава вторая 1944 год

Жизнеспасительное чудо	83
Подозрение в шпионаже	91
Пополнение из Граца	115
В русском полевом лазарете	136
Нормализация лагерной жизни	155
Под игом вредных насекомых	171
Покушение на Гитлера	175

Глава третья 1945 год

Конец войны близок	188
Пленные «капитулянты»	201
Борьба с клопами и малярия	213
Поездка на курсы антифашистов	230

Глава четвертая 1946 год

Жизнь в антифашистском лагере	235
Мы знакомимся с утопией	245
Возвращение домой	253

Вместо послесловия через 50 лет после катастрофы под Сталинградом	273
Знаменательная встреча пятьдесят лет спустя	286

Франц Запп
СТАЛИНГРАДСКИЙ ПЛЕННИК

Перевод с немецкого Л. Шварц
Редактор В. Фадеев
Технический редактор С. Раснюк
Компьютерная верстка А. Белокрылов

Подписано в печать 30.09.1998. Формат 60x90 1/16.
Гарнитура Pasma. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18 +вкл. Тираж 1000 экз. Зак.34<

Издательство «Петербург - XXI век»
ЛР № 063477 от 21.06.94.
196070, СПб., Московский пр., 163-2, офис 306.
Тел. 298-64-31

ГИПП «Искусство России»
19801X), СПб., Промышленная ул , 38/2.
Тел. 186-87-17